

МАРГАРИТА
ВОЛОШИНА

ЗЕЛЁНАЯ
ЗМЕЯ

МАРГАРИТА
ВОЛОШИНА

ЗЕЛЁНАЯ
ЗМЕЯ

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЖИЗНИ

Маргарита Васильевна Сабашникова-Волошина (1882-1973) - родственница книгоиздателей Сабашниковых и первая жена поэта Максимилиана Волошина, ученица Рудольфа Штейнера и участница строительства первого здания Гетеанума (Гетеанум - центр антропософского движения в Дорнахе, недалеко от Базеля), талантливая художница и поэтесса, истинный представитель русской интеллигенции начала XX века.

Изучение творческого наследия М.Сабашниковой вызвало рост интереса к жизни и творчеству этой необыкновенной женщины. Живописные произведения М.Сабашниковой представлены в картинных галереях как у нас в стране, так и за рубежом, хранятся в частных собраниях.

Воспоминания "Зеленая Змея", написанные по-немецки и широко известные западному читателю, впервые публикуются в русском переводе.

Глубинное познание собственной души и мира, ставшее лейтмотивом человеческой судьбы и творчества Маргариты Сабашниковой, пронизывает и ее Воспоминания. Судьба и Время тесно переплетаются, становятся действующими лицами книги, высвечивая красоту духовно-ищущей, творческой личности, являя тайны Бытия.

Маргарита Волошина * ЗЕЛЕНАЯ ЗМЕЯ



Маргарита Волошина

Зеленая Змея

Margarita Woloschin

Die Grüne Schlange

Lebenserinnerungen

Verlag Freies Geistesleben
Stuttgart 1968

Маргарита Волошина
(М.В. Сабашникова)

Зелёная Змея

История одной жизни

Перевод с немецкого
М.Н. Жемчужниковой

ЭНИГМА
Москва 1993

ББК 84Р6
В 68

*Издатели благодарят немецкую фирму
IN-BAU (Gesellschaft für Bauwesen
und Bauausführung mbH) за помощь,
оказанную при издании этой книги*

Книга издана при участии
Академии Эвритмического Искусства
(Москва)

В $\frac{4702010000-001}{4В6(03)-93}$ Без объявл.

ISBN 5-85747-001-3

© «Энигма», 1993 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Воспоминания Маргариты Васильевны Волошиной-Сабашниковой, первой жены поэта Максимилиана Волошина и племянницы книгоиздателей Сабашниковых, написанные по-немецки, впервые публикуются в русском переводе.

В Воспоминаниях, озаглавленных по образу героини Гетевской сказки "О зеленой Змее и прекрасной Лилии", предстаёт судьба необычного человека, одаренной художницы, переводчицы, поэтессы, настоящей представительницы русской интеллигенции начала нашего века. Перед нами проходят годы детства в дореволюционной России, встречи со многими замечательными людьми; ее разговор со Львом Толстым, изучение живописи под руководством Ильи Репина и Константина Коровина; дружба с Вячеславом Ивановым, знакомство с К.Бальмонтом, А.Белым, Н.Бердяевым, В.Маяковским, М.Чеховым и другими. Как живые встают перед читателем облики людей и событий, точно схваченные бытовые детали и картины больших исторических потрясений, свидетельницей которых суждено было стать автору этой книги.

Однако рассказ о внешних событиях, встречах, житейских ситуациях не является для Маргариты Сабашниковой самоцелью, как это часто бывает в мемуарной литературе. Они имеют для нее не просто личное или историческое значение, но прежде всего оказываются вехами, ступенями, а подчас настоящими испытаниями на пути интенсивного внутреннего поиска высшей правды, конечного смысла жизни; поиска, столь характерного именно для русского человека.

"Все преходящее - только подобие" - этими словами из финала "Фауста" можно было бы выразить основной настрой ее Воспоминаний, повествующих о непрестанных исканиях души, жаждущей обрести за окружающими нас повсюду в жизни многообразными "подобиями" и "личинами" высшую реальность просвечивающих сквозь них "непреходящих ликов".

Этот поиск внутреннего смысла жизни проводит Маргариту Сабашникову, с одной стороны, через испытания современным материализмом, а с другой - через мир утонченной, но питающей-ся скорее псевдоэстетическими, чем этическими идеалами русской художественной культуры начала XX века, наиболее характерным симптомом которой, быть может, была знаменитая "башня" Вячеслава Иванова в Санкт-Петербурге, где по вечерам собиралась своеобразная элита тогдашней русской интеллигенции.

Но ни современный материализм, ни эстетически утонченное обращение к великим эпохам прошлого, будь то мир Древней Греции или европейского Средневековья, не могут дать душе ответа на самые жгучие вопросы современного сознания, не могут удовлетворить ее духовной жажды. Ибо первый предлагает ей камни вместо хлеба, а второе способно лишь увести ее в мир прекрасной иллюзии, лишенный всякой связи с действительностью. Переживая эту раздвоенность и со всей силой ощущая задачи духа на ш е г о времени, душа начинает прозревать как единственный выход из кризиса - не бегство от него в мир иллюзий, а мужественный поиск синтеза двух главных полюсов современной эпохи: это, с одной стороны, развитое в последние столетия наукой о природе объективное познание внешнего мира, а с другой - неодолимое стремление души к разрешению вечных мировых загадок, к обретению высшего смысла бытия. Такое соединение возможно, лишь если обратить найденные наукой методы объективного познания - на духовную, внутреннюю сторону вещей, на саму духовную Вселенную. Образ науки высшего рода, науки о духовных мирах, истинной науки о духе (открывающей путь к сознательному соединению со сверхчувственной действительностью) начинает брезжить перед ищущей душой как некое, сначала еще смутное, предчувствие грядущего состояния человечества.

И, как бывает в жизни, на поставленный из сокровенных глубин души вопрос - в должный час приходит ответ. Этим ответом для Маргариты Сабашниковой стала встреча с современной наукой о духе, или антропософией, и ее основателем, австрийским философом, исследователем духа и Учителем жизни, Рудольфом Штейнером (1861-1925).

Отныне вся жизнь обретает для Маргариты Сабашниковой новый смысл и принимает совершенно иное направление.

Многочисленным встречам с Рудольфом Штейнером, впечатлениям от его лекций и личным беседам с ним, участию в строи-

тельстве первого Гётеанума, уникального архитектурного сооружения, возведенного антропософами под его руководством в горном швейцарском местечке Дорнах, около Базеля, наконец, рождению, на основе исследований Рудольфа Штейнера, нового искусства эвритмии, - посвящены многие страницы Воспоминаний Маргариты Сабашниковой, и еще тому, что в антропософии было для нее, без сомнения, самым важным. Ибо, благодаря антропософии, перед ней раскрылись основы новой христианской культуры, охватывающей и преобразующей в огне духа все без исключения области человеческого бытия и деятельности; впервые ей предстал образ христианства будущего, имеющего свои истоки не в историческом предании или традициях, а в живом и сознательном переживании Христа в мире собственно духовном.

А во внешнем мире уже шла страшная невиданная война. Отрезанная ею от родины и близких, Маргарита Сабашникова оставляет выпавшую на ее долю работу в построении основ этой новой духовности и "на несколько месяцев" отправляется в роковом 1917 году в Россию. Оказавшись в море хаоса, она стремится противопоставить все усиливающемуся здесь влиянию западного материализма деятельный труд, черпающий свой смысл из источников живого духа, из отвечающего нашему времени духовного познания.

Один за другим следуют необычайно трудные годы в большевистской России: голод, холод, тяжелая болезнь, постоянная опасность физического уничтожения. Несмотря на это, Маргарита Сабашникова все снова и снова пытается внести свет духа в свое окружение, все более подпадающее под гнет последовательно мертвящей душу идеологии большевизма. Чувствуя все эти годы внутренний призыв — закончить свою часть работы вместе с теми антропософами, которые стремились сообща создать в Европе новую исходную точку для одухотворения культуры, — она долго не решается выехать из России, предугадывая в этом окончательную разлуку со всей русской жизнью. Все же, принужденная обстоятельствами и невозможностью открытой антропософской работы на родине, в 1922 г. Маргарита Сабашникова покидает Россию. Судьба уводит ее в другую страну, где ей отныне предстоят новые испытания и новые труды.

Вернувшись в Среднюю Европу, она окончательно поселяется на юге Германии, в Штутгарте. Со смертью ее Учителя — доктора Рудольфа Штейнера — завершается важный период ее жизни. Отныне то, что она благодаря встрече с ним получила как

бы по милости судьбы, должно было стать в ее душе осознанной внутренней силой, должно было реализоваться в ее творчестве, иначе говоря, принести свои земные плоды.

"Лично я могу сказать, что для меня сознательная работа началась только после смерти Учителя", - пишет она в конце своей книги. Этому практическому осуществлению идей науки о духе в жизни и в искусстве была посвящена вся вторая половина ее жизненного пути. Об этом она хотела рассказать во втором томе Воспоминаний, который, к сожалению, остался незавершенным: Маргарита Сабашникова так и не успела переработать в законченное целое сделанные ею в течение лет записи и заметки, свидетельствующие, как и ее вдохновенная живопись, о многообразной и плодотворной деятельности в последующие годы.

Но в незаконченности этих Воспоминаний есть и свой более глубокий смысл. Жизнь духовно ищущей, творческой личности, в сущности, никогда не имеет внешнего завершения, поскольку такая жизнь являет собой изначальное устремление души к духу и служит свидетельством постоянного внутреннего становления, ведомого высокой целью: воплотить в конкретной земной жизни идеал "истинного образа Человека".

А именно такой духотворческой личностью и предстает для нас Маргарита Сабашникова со страниц этих Воспоминаний.

Отсюда и их особенное значение именно для наших дней. Ибо в роковое время, переживаемое ныне нашей страной, многое будет зависеть от людей, которые, несмотря на все трудности и препятствия, сохраняют в себе это изначальное свойство человеческой души: ее устремленность к Высшему, ее неодолимое стремление к разрешению главных вопросов бытия, без удовлетворительного ответа на которые невозможно никакое творчество, никакое положительное строительство.

Хотелось бы отметить прекрасный перевод книги, сделанный М.Н. Жемчужниковой, знавшей лично в начале 20-х годов Маргариту Сабашникову по Московскому антропософскому обществу. Глубокое уважение, чувство искренней любви и благодарности к ней позволили М.Н. Жемчужниковой перевести Воспоминания так, что, читая их, кажется, будто они с самого начала были написаны по-русски. Благодаря этому не только содержательная, но и художественно-поэтическая сторона этой жизненной повести может стать достоянием читателя.

Ноябрь 1991 г.

С.О.Прокофьев

Мотто

Храм построен ... Он покоится еще в глубинах земли, - сказала Змея. - Я видела Королей и говорила с ними... Я слышала великие слова, прозвучавшие в храме: "Время настало..."

(Из "Сказки" Гете)

Предисловие к четвертому изданию

Когда по желанию нескольких друзей я начала рассказывать о своей жизни и стала записывать свои воспоминания, я заметила, что для нашей эпохи великих перемен эта жизнь симптоматична. И при таком ретроспективном взгляде обнаружилась в ней до сих пор не осознававшаяся мной архитектоника, таинственно вложенная в нее более высоким Мастером. Поэтому я подумала, что этот рассказ, сначала вовсе не предназначавшийся для печати, может иметь более общий интерес.

Я назвала эту книгу "Зеленая Змея", заимствуя образ из Гетевской "Сказки" в "Разговорах немецких беженцев". Этот образ знаменует определенный путь. Кто бодрствующим сознанием взглядывается в черты нашей эпохи, может узнать в персонажах этой "Сказки" прообразы сил, действующих в нем и вокруг него.

Я закончила первую часть своих воспоминаний временем, на тридцать лет отстоящим от выхода в свет первого издания, не потому, что последующие годы были беднее переживаниями, но потому, что с этого времени начинается в моей жизни совсем новый период.

Мне пришлось бы говорить о людях, которых я встречала, которые еще жили и действовали. Для этого еще не было нужного отдаления. С тех пор многие из них переступили порог смерти. Их духовные облики в новом свете выступают перед нами. Так же и дело их жизни стало с тех пор частью культуры. Об этом, как я надеюсь, я смогу рассказать во втором томе.

Штутгарт
Март, 1968 г.

М.ВОЛОШИНА

КНИГА ПЕРВАЯ

Детство в старой России

Волк в египетском храме

В Москве, там, где Большая и Малая Никитские улицы клинообразно сходятся перед входом в церковь Вознесения, стоял наш дом – массивное двухэтажное кубическое здание светло-розового цвета, с садом и обширным двором, окруженным множеством служебных построек.

Я родилась в воскресенье, в полдень, как раз когда колокола нашей старой колокольни вместе с колоколами всех сорока сороков московских церквей звонили, извещая об окончании обедни. Был морозный солнечный день 1882 года.

В такие зимние дни снег на улицах и крышах Москвы искрился так, как будто он состоял из одних только звезд. На солнце сверкали золотые, серебряные и усеянные золотыми звездами синие купола церквей, их кресты и пестрые керамические орнаменты. Блистали сине-зеленые глазурованные кирпичи древних башен, и большие золотые буквы на густо-синем фоне вывесок, и золото калачей над дверями булочных, и солома, и свежий конский навоз на московских улицах. Морозный, пронизанный солнцем воздух дрожал от знаменитого московского колокольного звона: медленный, глубокий гул больших колоколов – и на этом фоне разнообразные тона и ритмы меньших колоколов всех сорока сороков московских колоко-

лен. Колокольный звон считался в России большим искусством, и по праздникам, кроме пономарей, постоянно являлись любители и мастера колокольного звона из простого народа и благочестиво православных слоев купечества, усердно занимавшиеся этим искусством. Санки легко скользили, снег скрипел под копытами, и крики «Эй-эй!» или «Право держи!» то и дело раздавались в морозной дымке. Над печными трубами на крышах неподвижно стояли облачка дыма, так что город казался покрытым белыми азалиями. Нарастающий колокольный звон достигал такой силы, что от него в груди что-то вздрагивало. Весь город как бы омывался свыше потоком ликующих ангельских вестников, свет и звук сливались в этом ликовании.

Подобно тому, как под действием звуковых колебаний песок, рассыпанный на пластинке, складывается в фигуры, так и впечатления, с которыми человек постоянно встречается, формируют его существо – особенно же еще полностью пластичное существо ребенка.

Из двух больших окон верхней залы была видна наша церковь. Она замыкала вид, открывавшийся из наших окон на восток; большая, белая, в стройных греческих формах, увенчанная сферическим серебряным куполом, она как будто вдвигалась к нам из вечности. Мне она представлялась продолжением нашего дома в другой мир. Церковь эта была так изначально родственна душе, как будто и она происходила из того же мира, откуда пришла сама душа, как будто она служила для земли залогом соучастия в небесном. Вид ее внушал ребенку чувство покоя и уверенности: здесь твоя родина. Колокольня, непосредственно примыкавшая к нашему двору и от старости покривившаяся, принадлежала к древнейшим памятникам ярославского зодчества в Москве. Два куба – один побольше, другой поменьше, на них – восьмиугольная башенка; высокая восьмискатная кровля опиралась на арочки и витые колонки и прорезывалась отверстиями, защищенными навесами; весь вид ее навевал чувство сердечной теплоты и благочестия. Если колокольня представлялась органически вырастающей из земли и устремляющейся к небу, то сама церковь в своих простых формах – сферический блистающий купол на белом кубе стен – победно соединяла то и другое: небо и землю.

Голуби и воробьи, сновавшие вокруг церковной паперти, весной купались в воде, скапливающейся на железной кровле под нашими окнами (это была крыша подъезда), и отряхивались, греясь на солнышке. Достаточно было пройти вдоль деревянного забора и мимо коричневого деревянного домика священника, чтобы очутить-

ся в ином мире: хоры подхватывали и уносили душу, как будто это звучали голоса небожителей. С купола вниз смотрели гигантские очи шестикрылых красных серафимов и синих херувимов; крылатые животные – лев, орел, телец – держали священныи книги. Светлые красочные чудеса с явлениями ангелов Благовещенья и Христова Воскресенья совершались на стенах, а в золоте иконостаса, мерцавшего во множестве свечей, темнели лики святых, Богоматери и Христа.

Этот мир входил и в наш дом. По большим праздникам, в суматохе приема множества гостей, в зале появлялись священники и дьяконы в золотых и серебряных парчовых ризах и, обратившись к иконе в углу, начинали петь удивительные слова. На Рождестве пели:

Дева днесь Пресущественнаго раждает,
И земля вертеп Непроступному приносит;
Ангелы с пастырьми славословят,
Волкви же со звездою путешествуют.

Всем присутствующим они давали приложиться ко кресту и кропили святой водой нарядные туалеты дам, шелковую мебель и все вокруг.

Страстную неделю я в раннем детстве переживала так непосредственно в настоящем, что никак не могла понять – почему же мы все не едем в Вербное Воскресенье в Иерусалим, где происходят такие чудеса? Я никак не могла понять, что это все произошло один единственный раз и очень давно. Пока мы с братом были еще малы, нас не брали в Страстный Четверг на «12 Евангелий» (очень длинная всенощная служба, когда читаются по три главы из четырех Евангелий о Страстях Господних, и все стоят с зажженными свечами в руках). Из окна залы мы смотрели, как по окончании службы народ с горящими свечами выходил из церкви – текла река огоньков – и каждый старался защитить пламя от весеннего ветерка, чтобы донести свечку до дома и зажечь от нее свою лампаду на весь год. Вокруг свечки устраивали бумажные ограждения. Люди останавливались, чтобы дать зажечь свечку тем, у кого она погасла. Также и нам кто-нибудь из домашних приносил горящую свечку в дом.

Таков был вид из наших окон на восток.

С южной стороны, за красивой решеткой сада, где росли китайские яблочки, рябина, сирень и большой вяз, лежала просторная элегантная улица – Большая Никитская. Отсюда через широкие ворота подъезжали к парадному portalу нашего дома. Барские

особняки самой разной архитектуры составляли эту красивую улицу. А прямо против нас располагалась пожарная часть со старинной каланчой. Часто я устраивалась на плоских подушечках, устилавших мраморные подоконники в нашей детской комнате, и смотрела на двух маленьких человечков: высоко-высоко в небе, на самой верхушке каланчи они ходили вокруг башенки друг другу навстречу – пожарные сторожа. Когда вечером где-либо в городе начинался пожар (а горела Москва часто, так как большинство домов были деревянные, в то время еще не было электричества, а часто и водопровода), тогда в небе над каланчой появлялись разноцветные, огненные шары. Это были сигналы для других пожарных частей. Три шара – то желтый, красный и синий, то два красных и один зеленый и т. д. «Сбор всех частей» называлась одна из таких комбинаций, на нее наши девушки смотрели с ужасом. Мне же они казались знаменьями чудес, явлениями, предостережениями небес.

С нашего наблюдательного пункта было хорошо видно, что делается за желтой стенкой пожарного двора. Из сараев выкатывали пожарные дроги, запрягали горячих коней; из ворот первым выскакивал всадник с горящим факелом в руке – курьер – и галопом мчался по направлению к пожару, чтобы поскорее узнать все на месте. За ним грохотали тяжелые повозки, на них неслись пожарные в золотых касках, стоя среди лестниц, насосов и бочек с водой. Грохот получался из-за крупных булыжников, которыми в те времена мостились московские улицы. Зрелище было жутко красиво, и я понимала моего маленького брата, который непременно хотел стать пожарным.

Весной, рано утром, на Большой Никитской раздавались звуки рожка. С каждого двора выпускали одну-две коровы, и пастух гнал свое стадо из города на пастбище. По той же Большой Никитской проводили и наших красивых коней. Однажды, – конечно, это было во сне – я видела ангела; в красной одежде и развевающимся синем плаще он медленно летел по Большой Никитской улице. Я позвала других, чтобы они его тоже посмотрели, но когда они пришли, ангел уже улетел. С северной стороны наши окна выходили на Малую Никитскую с низенькими белыми домиками. Прямо напротив стоял знаменитый дом графа Бобринского с двумя флигелями, расположенными полукругом. Ни травы, ни деревьев там не было – только громадный двор, усыпанный желтым песком. Раз в месяц на этом дворе собирались нищие со всей Москвы. Лакей в ливрее с большой сумой выходил из главного подъезда и бросал в толпу деньги. Люди падали на землю, хватая монеты, начиналась потасовка, драки, ругань. Калеки били друг друга костылями. Я с ужасом смотрела на

сцены, которые позднее находила на картинах Брейгеля. Малая Никитская всегда представлялась мне безжалостно ослепительной, белой и печальной.

На запад в нашем доме не было окон. Серая глухая стена большого соседнего дома затемняла наш сад. Я знала, что в этом доме жил врач. У него была дочка моего возраста, и я слышала, что он «кутает ее в вату». Я понимала это буквально и очень жалела девочку. Я надеялась как-нибудь встретить ее на улице, но никогда ее не видела.

Главный подъезд нашего дома защищался крышей, у входа стоял высокий фонарь. Тяжелая резная дверь открывалась в обширный вестибюль. Широкие ступени вели в «египетский храм»: на колоннах с капителями в виде цветков лотоса и с черными цоколями были вырезаны барельефные пестрые изображения и иероглифы. В глубине виднелись две двери, над каждой – изображение крылатого солнца; правая дверь была, собственно, рамой огромного зеркала, призрачно удваивавшего размеры помещения и число колонн; за левой дверью начинался длинный коридор, ведущий внутрь дома. Черная египетская скульптура на высоком постаменте стояла между дверями – строгий Страж Порога. Позднее в этом же вестибюле появилось чучело большого волка, убитого в наших лесах.

В нижнем этаже находились парадные комнаты – гостинные, в которых мы, дети, редко бывали. Столовая была выдержана в так называемом «русском стиле». Хорошо сочетались краски: синие-зеленые стены, пестро раскрашенные резные стулья и угловые шкафчики, вышитые занавески и накидки, пестрая посуда, расписанная русскими пословицами. Особенно при свете свечей в серебряных старорусских светильниках нежные пестрые краски мерцали сказочно. Но весь этот «русский» стиль родился из чистой фантазии немецкого архитектора Шмидта и не имел ничего общего с настоящим древнерусским стилем, который наши искусствоведы заново открыли лишь много позднее, в пору моей юности. Из «египетского храма» направо дверь вела в деловой кабинет, обитый темными панелями и выдержанный, как полагается, в темно-зеленых тонах. У тяжелого дубового письменного стола на мольберте стоял овальный портрет моей матери в широкой золотой раме. Белокурые, слегка волнистые волосы, очень большие серые глаза на узком милом личике смотрят печально. В этом лице еще никак нельзя было угадать черты энергичной общественной деятельницы более позднего времени.

На нижней открытой полке резного дубового шкафа лежало нечто, очень для меня таинственное: большой кожаный мешок с пес-

ком. Но не простым – в нем таилось золото. Это был золотой песок из сибирских золотых приисков моего отца. Широкая светлая лестница вела на второй этаж, где находились наши жилые комнаты.

Спальня родителей всегда настраивала меня на торжественный лад. Балдахин оливково-зеленого шелка на розовой подкладке увенчивал двуспальную кровать. Но с особым благоговением смотрела я на золотую фигурку, помещавшуюся между ножками швейного столика черного дерева с перламутровыми инкрустациями: сосуд, в нем пламя. Так я представляла себе душу в человеческой груди.

В нашей детской комнате висели занавески на толстой подкладке. Закутываясь в нижнюю их часть, собранную тяжелыми складками, я среди бела дня попадала в темную ночь. Однажды в этой темноте мои пальцы нащупали что-то чужое, бесформенное. Это был, верно, кусок войлока или ваты, вывалившийся из порванной подкладки. Но мне он показался каким-то противным существом, проникшим из своего страшного мира в наш. И все же я снова возвращалась в этот темный шатер, чтобы встретиться с жутким и безмянным пришельцем.

Я думаю, что все эти впечатления от предметов – резных флорентийских ларей и стульев, с их животнорастительными и человечески-животными формами, которые ребенок ощупывал, узоров ковров, которые его глаз постоянно прослеживал, – глубже формировали душу, чем любые обращенные к нему слова. Позднее, пускаясь с моими куклами в долгие путешествия, я открывала за бахромой дивана таинственные полуосвещенные гроты. Резные ножки столов и канделябров становились неприступными горами, ковры и звериные шкуры – удивительными ландшафтами, а паркетные полы, в которых, как в воде, отражались все предметы, – морями.

Никакие паркетные полы теперь не могут блестеть так, как они блестели тогда, потому что ремесло полотеров исчезло. Раз в неделю появлялись в нашем доме пять-шесть человек, босые, в широких черных бархатных штанах и красных рубахах, доходящих до колен и слегка придерживаемых на бедрах поясом. Перед ними все отступало: ковры свертывались, мебель отодвигалась. Уроки прерывались, когда появлялась эта компания. Каждый привязывал себе на правую ногу сандалию с прикрепленной к ее подошве навощенной щеткой. И затем, выстроившись в ряд, они двигались через всю комнату, скрестив руки за спиной, правой ногой описывая перед собой полукруг справа налево, слева направо, а левой проталкиваясь вперед. Волосы свисали на лицо и мотались в такт движениям. Время от времени то тот, то другой останавливался и усердно тер ногой вперед и назад. Все это происходило со стихийной силой и в

бешеном темпе. Так они протанцовывали залу за залой, комнату за комнатой. И когда они уходили, оставляя за собой запах пота, смешанного с ароматом воска и скипидара, наши полы блестели как зеркало. Цех полотеров исчез сам собой, когда дома были социализированы и паркетные полы по воле народа стали неузнаваемы.

Наши люди

Я была первым ребенком в семье; через год родился брат. Две племянницы моего отца – сироты – воспитывались вместе с нами, но тогда мы мало с ними общались, так как разница лет была слишком велика. Своих родителей в те времена я вспоминаю неясно, как бы в некоем величественном отдалении. Заботились же собственно о нас слуги. Они были нам ближе. Когда я родилась, прошло всего девятнадцать лет после отмены крепостного права и в состоятельных семьях сохранялись еще традиции многочисленной «дворни». Нашу небольшую семью обслуживали четыре горничные, камердинер, «белая кухарка», готовившая на господ, «черная кухарка», готовившая для слуг, «кухонный мужик», судомойка, кучер, конюх, две прачки, два дворника, дворовые работники, истопник. Две девушки, поступившие еще до моего рождения, прожили у нас сорок лет. Мы видели от них столько любви и преданности, столько терпения, что если бы я не верила в перевоплощение на земле, мне была бы невыносима мысль, что я никогда и ничем не смогу их отблагодарить. Заботы о нас были для них чем-то само собой разумеющимся, равно как и для нас было чем-то само собой разумеющимся пользоваться их трудом, их услугами. Когда мой брат, которого они обожали, вел себя с ними по-мальчишески грубо, они называли его ласково «наш строгий папаша». В двух солнечных детских комнатах и прилегающей к ним зале с видом на церковь вся наша жизнь проходила вместе с ними. Они шили и пели – порознь или хором – заунывные печальные народные песни, и слова этих песен слагали в моей душе целый мир первообразов, из которых я в течение всей моей жизни черпала настрой для своей художественной работы.

Моя кормилица Феклуша, крестьянка из Тульской губернии, жила у нас три с половиной года. Я хорошо помню ее красивое лицо. Низкий лоб, обрамленный темными пышными волосами, гладко причесанными на прямой пробор. Миндалевидные серо-голубые глаза, затененные черными ресницами, казались очень светлыми на загорелом лице. Узкий прямой нос, чистый правильный овал лица.

Ее здоровое крепкое тело, казалось, излучало силы жизни. В выражении лица – смирение и доброта. Кто знает, что пришлось ей пережить, прежде чем она стала моей кормилицей. Мне было, вероятно, два с половиной года, когда я увидела ее однажды в поле – она жала рожь. Я до сих пор помню ее движения: она наклонялась и срезала рожь серпом у земли; держа левой рукой срезанный пучок, а правой поддерживая серпом колосья, описывала руками высокую дугу и клала новый пучок на землю к прежде срезанным колосьям; потом связывала стебли и несла сноп над головой, опять поддерживая серпом шелестящие колосья; и она улыбалась мне из золотой ржи, как с небес, потому что я видела ее лицо высоко-высоко над собой в небе. В том же году однажды на станции железной дороги мы видели вагон с окнами, закрытыми решеткой, за ними – бледные лица. Это перевозили арестантов. «Кто это?» – спросила я в испуге. «Несчастные», – ответила Феклуша.

Есть русская поговорка: «Питай как земля питает, учи как земля учит, люби как земля любит». Когда я позднее слышала «мать-земля», я видела перед собой лицо, похожее на лицо моей кормилицы Феклуши.

И еще одно милое лицо склоняется надо мной в самом раннем детстве – Маша. Совсем молоденькой девушкой она была обучена моей бабушкой шить, стряпать, варить варенье и делать прически, чтобы затем последовать за моей матерью в виде некоего приданного при ее замужестве. Она была всегда с нами, спала с нами, шила все для нас. А когда мы болели, она особенно нежно за нами ухаживала. Я до сих пор вижу ее круглое лицо, широко расставленные и всегда как будто слегка удивленные глаза с белесыми бровями, маленький нос и полные, крупные, добрые губы; вижу, как она у моей кровати согревает в ложечке глицерин на свечке, горячей на стене в серебряном подсвечнике, и смазывает мне и брату ноздри, лоб и за ушами, потому что у нас насморк. Как охотно подчинялись мы этой торжественной процедуре! У нее была «легкая рука», как говорят в народе, она все делала хорошо. Она рассказывала нам всякие истории, чтобы при примерке платья мы стояли смирно. Ее чувствительная душа легко приходила в волнение. Когда она слышала какую-нибудь печальную или трогательную историю, у нее как будто озноб пробегал по спине. С нами она была бесконечно нежна. У нее было очень много родственников – сестер, племянниц и племянников – и они часто ее навещали; боюсь, что она оказывалась слаба перед этими родственниками, которые ее эксплуатировали. В ее распоряжении были все сундуки в кладовой с тканями, мехами, серебром, фарфором и прочим. Моя мать обо всех этих

вещак нисколькo не забoтилась. «Куда девались ковры бабушки Татьяны? Где голубой чайный сервиз? Где рулон розового китайского шелка?» – восклицала через сорок лет другая наша девушка. Когда Маша умерла, я видела сон, как будто она плакала о чем-то, прося прощения. Ах! Разве сорок лет прилежнейшего, самоотверженного труда не стоят какого-то сервиза, о котором никто и не вспоминал и не думал? И разве кусок шелка не стоит множества платьев, сшитых ею для моей матери, – а моя мать была элегантная дама и занимала видное положение в обществе. Маша сорок лет вела домашнее хозяйство, так как моя мать очень мало этим интересовалась. Летом, когда мы уезжали из Москвы, Маша оставалась одна и заготавливала не только для нас, но и для всей нашей родни сотни банок варенья – и какого варенья! А ее ромбиками нарезанные и посыпанные сахарной пудрой смоквы! И ее «тянучки»! Все эти домашние сладости поедались тогда в России в огромном количестве. И за весь этот труд у нее не было ни свободных дней, ни отдыха, и получала она девять рублей в месяц. Все принималось даже без благодарности, как нечто само собой разумеющееся. Она жила с нами до самой революции, голодала как мы, но продолжала работать до тех пор, пока в силах была стоять на ногах; тогда ее взяли к себе родственники, которым в то время жилось лучше, чем нам. Я не люблю, когда славянофилы называют русский народ «народом-богоносцем»: это звучит высокопарно. Но, вспоминая о наших слугах, я не могу не признать, что любовь, преданность, терпение, жившие у них в крови и излучаемые ими наподобие некой живой силы, оправдывают это название. Это была живая Христова сила. И как мы были окутаны этим теплом, в нем укрыты, как в лоне Божьем!

О горничной Поле я позднее расскажу больше. Она поступила к нам еще до моего рождения и жила у нас сорок лет до самой своей смерти во время революции. Когда она появилась у нас, ей было семнадцать лет. Цветущая, стройная, с правильными чертами лица, с черными пышными волосами, которые она заплетала в тугие косы, укладывая на затылке. У нее были темные глаза, строгий, красиво очерченный рот и волевой подбородок, шея круглая, как колонна. В то время она не умела ни читать, ни писать, да и позднее у нее никогда не хватало времени выучиться грамоте по-настоящему; хорошая память возмещала этот недостаток. Она была фанатически усердна в исполнении своих обязанностей и всеми силами старалась удержать уклад нашего дома на прежнем уровне, когда никто уже этого от нее не требовал и не ждал. Она была одарена таким организаторским талантом и энергией, что, наверное, могла

бы стать министром или военачальником. Страстный темперамент соединялся у нее с чувством справедливости. Она могла сражаться за правду. Судьба отвела ей в этой жизни положение прислуги, и в нем она не была по-настоящему оценена даже моей матерью, которая сама была властной натурой. Родные Поля были очень бедны, и она всю жизнь ради них постоянно себе в чем-нибудь отказывала.

В числе наших людей состоял также кучер Терентий. Он оставался в доме, пока у нас были лошади. Это был краснощекий красавец с черными густыми бровями и окладистой бородой. Синяя бархатная боярская шапка с бобровой опушкой, которую он носил зимой, шла ему великолепно. Закутанный в длинный кафтан (вероятно, даже не один, так как он казался очень толстым), он сидел на козлах неподвижно, как изваяние. Два конюха помогали ему одеваться: они держали его пестрый узкий шелковый кушак, а он поворачивался перед ними кругом, чтобы кушак, уложенный слоями, сидел на нем правильно. При выезде два конюха держали великолепную запряжку храпящих коней под уздцы, пока господа садились в экипаж или в сани, и тогда отпускали. И что это были за кони, наши рысаки! Мифические животные из конюшни графа Воронцова, удивлявшие ростом, красотой и дикостью. Сколько силы должно было быть в руках кучера, напряженно вытянутых вперед и одетых в белые перчатки. На московских улицах нередко были несчастные случаи, когда пронеслась подобная запряжка. Каждый наш выезд сопровождался чувством некоторой напряженности.

У нас было восемь таких коней, и мы часто заходили в конюшню, где я не без священного трепета рассматривала сквозь деревянную решетку их огненные глаза и слушала перестук подков по доскам. Позднее Терентий каждый день отвозил нас в школу, а еще позднее – в театр или на бал. В морозную ночь, нередко часами, он ждал нас на улице. Впоследствии он совсем спился.

В раннем детстве мы были «объектами» ухода и, как мне теперь кажется, очень удобными «объектами». Мы всему подчинялись без сопротивления. Во всем, что касалось внешних процедур, я чувствовала себя чем-то вроде маленького божка, над которым совершаются всевозможные торжественные церемонии. Все происходило медленно, вдумчиво – кормили ли нас, одевали или вели гулять. Уже процедура одевания на прогулку зимой – а нас водили гулять два раза в день – длилась очень долго. Прежде всего надевали теплые фланелевые панталоны, за ними следовали теплые меховые сапожки, доходившие до колен и застегивавшиеся целым рядом пуговиц.

На плечи надевался шелковый платок, а на него – ватное пальто, у меня еще и с пелеринкой, такое толстое, что рукава так и оставались растопыренными. На руки надевались варежки. меховая шапочка покрывалась еще башлыком – подобие капюшона из тонкой белой или палевой шерсти, как носят на Кавказе черкесы. Капюшон обшивался серебряным или золотым галуном, а верхушка украшалась кисточкой. Его длинные концы перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на спине. Так закутанные, мы едва могли двигаться и поневоле шагали медленно, торжественно; утром – большей частью по ослепительной от снега и белых домов безлюдной Малой Никитской. На вечерней прогулке мы шли на запад, мимо нашего сада по Большой Никитской до Кудринской площади. Нормальным шагом это расстояние можно пройти самое большее за семь минут, но нам требовалось для этого бесконечно много времени. Я думала, что все на этой улице, вместе с церковью, принадлежит нам. Все дворники и кучера, сидевшие у ворот, здоровались с нами почтительно, даже стоявший на углу городской, который в своем форменном мундире и с четырехугольной бородой выглядел почти как царь Александр III. В конце улицы помещалось красильное заведение Бавастро, на вывеске был изображен великолепный каскад лент всех цветов. Дальше этого угла мы никогда не ходили. Здесь была граница нашего мира. На другой стороне площади, через Садовую улицу, за большими оранжевыми зданиями Вдовьего дома и Кадетского корпуса, между черными стволами старых лип в парке Вдовьего дома видно было золотое и красное закатное небо. Эти краски пробуждали в моей душе чувства, невыразимые словами. Это было «по ту сторону» – там простирались пылающие поля закатного неба.

Возвращаясь в сумерках домой, я заглядывала в окна подвального этажа обычно столь недоступного дома доктора Сергеевского. Там в большой, освещенной керосиновыми лампами кухне, в дыму, белые повара орудовали медными кастрюлями.

Мы – мой брат Алеша и я

Реже ходили мы мимо церкви на площадь у Никитских ворот, где начинались магазины. Первым был магазин игрушек. Дверь увешана забавными куколками – «пеленашками», похожими на мумии с нарисованными волосами и двумя крестообразными голубыми полосками на животе. На тротуаре стояли серые

«в яблоках» деревянные кони и белые овечки на зеленых дощечках. Вспоминаю одну, более дорогую игрушку, купленную в том же магазине: совсем маленькие, пестрые, старомодно одетые деревянные куколки в широких юбочках – дамы и кавалеры. Каждая поддерживалась четырьмя щетинками, так что их подвижные ножки висели в воздухе. Стоило постучать пальцем по столу – и куколки начинали двигаться, вертеться, кружиться и иногда схватывали друг друга за руки и танцевали вдвоем или втроем.

На углу был магазин колониальных товаров, где продавались удивительные черные орехи, ананасы и другие диковины. Позднее здесь помещалась известная булочная Бартельс. В марте здесь пекли жаворонков с глазками-коринками. Они были такие вкусные и приносили с собой весть о весеннем солнышке. Краснощекая и желтоволосая дочка Бартельсов, несколькими годами меня старше, по праздникам помогала матери в этом большом магазине. Это мне импонировало, и мне очень хотелось с ней поговорить. Но это произошло лишь много позднее, когда она стала известной балериной Бартельс-Рабенек.

Начиная от Никитских ворот, люди, казалось, нас не знали. Правда, в этом направлении мы проезжали в экипаже по извилистым переулкам к бабушке. Но там уже все было чужое, тогда как до этого места простиралось наше царство, куда входила также и церковь. Разве церковный сторож не выносил нам тотчас же коврик и стулья, на которые мы могли время от времени присаживаться? И старушка просвирня не приносила ли просфоры нам на место, тогда как все остальные покупали их на прилавке у дверей?

В нашу жизнь вклинивался еще один чуждый, далекий и все же чем-то глубоко родственный мир – Китай. Мой отец был родом из города Кяхты за Байкалом и, как крупный чаесторговец, имел деловые связи с Китаем. Оттуда приходили чудесные вещи: разнообразнейшие рулоны китайского шелка, ватные куртки, халаты из черного атласа на красной подкладке с круглыми золотыми пуговицами, сосуды, разрисованные сценами из китайской жизни, фарфоровые статуэтки, вазы и т. п. У брата был китайский костюмчик: шелковые штаны невероятно красивого зеленого цвета и голубая вышитая курточка. У матери был утренний пеньюар с вышитыми на нем миниатюрными ландшафтами, обрамленными розами и морскими волнами с белой пеной. Приходили к нам и китайские гости. Они еще носили тогда свою национальную одежду и длинные косы. Мне они всегда были чем-то неприятны: как они двигались, бесшумно скользя на своих удивительных картонных подошвах, как с их маскоподобных желтых лиц раскосые глаза смотрели будто

из бесконечных далей и нельзя было угадать, о чем они думают, как они, придерживая свои широкие рукава левой рукой, правой внезапно схватывали что-нибудь на столе как будто когтями, потому что ногти их были невероятно длинные; также и их гортанные голоса – все было мне неприятно. Еще не нравилось мне то, что я для них будто вовсе не существовала; они смотрели на моего брата, спрашивали о нем, я же как девочка ничего для них не значила, вроде воздуха. И мой отец, всегда такой солидный, говорил с ними на их смешном ломаном русском языке. В течение всего своего посещения они катали между ладонями два шарика. Однажды они изготовили нам свои чисто китайские кушанья; мне запомнились какие-то водоросли и рисовая водка. Помню еще, как однажды придя к нам, – это было уже на другой квартире, – китайские гости прошли мимо наших окон, заглядывая в них один за другим; этот их проход наполнил меня ужасом. Вечером они закуривали трубки и в их дыму казались совсем уж призрачными фигурами.

Когда я, вспоминая раннее детство, говорю «мы», я имею в виду брата Алешу и себя. Помню, как он учился ходить, как его водили на полотенце, продевом под мышки. У него была круглая головка с белокурыми локонами, нежная шейка, большие доверчивые серо-голубые глаза, чуть намеченный носик и несколько полный ротик, всегда слегка приоткрытый. Он не был «красивым» ребенком, но таким прелестным и милым, что на улице чужие – и молодые и старые – дамы приходили в восторг и расспрашивали о нем нашу няню. Я любила его страстно, он же по каким-то, быть может, кармическим причинам меня не любил. Я думала, что я для него слишком безобразна. У меня тогда были совсем белые прямые волосы – позднее они стали виться – и меня дразнили, что у меня совсем нет бровей. Я ощупывала их пальчиками и находила, что они даже очень густые. Но что же я могла поделаться, если они были совсем белые и их не было видно! Мне говорили, что у меня зато «греческий» нос. Тем не менее я считала себя очень безобразной и огорчалась, что мой брат меня за это презирает.

Я восхищалась им. Едва научившись ходить, он пошел на разъяренного индюка, которого я ужасно боялась. Это было еще в нашем имении, проданном, когда мне было два с половиной года. Эти воспоминания похожи на сны. К ним относится также и такая картина: два пастуха ведут быка, привязанного за кольцо, продевом в ноздри. Он роет землю копытами и страшно ревет. Еще я вспоминаю поездку в лес. Вероятно, тут я впервые увидела лес, но я помню не отдельные деревья, стволы, я помню лес как зеленый свет, куда мы въезжаем. Мы вышли из экипажа, и взрослые пошли по грибы.

Вернувшись, обнаружили пропажу черной вязаной кофточки кузины и послали кучера назад к леснику. Кучер застал его, когда тот примерял кофточку своей дочери. По поведению взрослых я почувствовала в этом что-то нехорошее. И зеленое с черным осталось в моей душе как видение Злого.

Когда мне было четыре года, мы летом поехали в Крым. Все мои воспоминания об этой поездке окрашены в трагические тона. Я не хотела уезжать, потому что Маша оставалась в Москве. Я решила в момент отъезда так зацепиться за стул, чтобы меня не могли оторвать. Это мне, конечно, не удалось. Уже одно название «Черное море» производило на меня такое впечатление, что действительно, несмотря на ослепительное солнце, от которого глазам было больно, море показалось мне черным. «Турки», «татары», «греки» – новые для меня понятия, и сами эти фигуры были мне неприятны. По берегу моря у самой воды прогоняли скот на бойню; животные ревели, и мрачное облако пыли окутывало стадо. Моя любимая няня Феклуша брала меня с собой в купальню, я видела, как она уплывала, и мне было страшно. Я стояла на досках, между которыми просвечивала вода; все было ненадежно. Совсем невыносимо становилось, когда Феклуша, проскользнув между столбами купальни, уплывала в открытое море. Сами эти слова «открытое море» наводили на меня ужас. Я боялась, что она не вернется, что она утонет. Однажды мама сказала: «Ты знаешь, Феклуша от нас уходит». – «Совсем?» – «Да». Я не могла вымолвить ни слова, не могла просить. Как будто вырвали у меня сердце. Я видела небо над собой, такое далекое, стеклянное, и море, безбрежное, черное. Я хотела спросить: «Почему? Зачем?» – и не могла. На другой день, когда я проснулась, она уже уехала – не попрощавшись со мной – моя Феклуша!

Как-то раз мы с Полей стояли у дверей нашего дома на пригорке и видели, как около кухни гостиницы ссорились два повара. Вдруг случилось что-то неслыханное; я не могла рассмотреть, в чем там было дело; и не поняла, почему один вдруг бросился на другого с ножом. Их растащили. Я чувствовала только, что произошло что-то страшное, весь воздух сотрясаясь от ужаса. И я закричала изо всех сил. Поля внесла меня в дом, и я горько плакала. Что такое преступление – человек узнает не из опыта; есть какое-то знание, которое он приносит с собой в этот мир.

С детьми из соседней дачи мы играли в лошадки и галопировали вокруг холмика, подгоняя сами себя кнутиком. Помню при этом удивительное чувство свободы, я чувствовала себя полной хозяйкой, могла бежать куда хотела. Кнутики принадлежали соседским детям. Однажды маленький демон шепнул мне, что вовсе не надо

отдавать им кнутик. Я спрятала его под свою кровать. Но игра кончилась и радость тоже. Я избегала детей, которые ни о чем не догадывались и не спрашивали о кнутаке, была до смерти несчастна и все-таки не решилась вернуть вещицу.

Через день после нашего возвращения в Москву обе кузины заболели тифом. Моя мать ухаживала за ними, а меня и брата отослали с Полей к бабушке.

Бабушку – мать моей мамы – я с раннего детства глубоко почитала и любила. За все годы, пока я ее знала, – она умерла, когда мне было уже двадцать восемь лет, – она почти не изменилась. После смерти мужа, которого я не застала в живых, она носила только черные платья зимой и белые – китайского шелка – летом. Покрой ее платьев оставался неизменным. Всегда широкая шаль на плечах и маленький чепчик, оставлявший ее красивый лоб открытым. Ее правильное благородное лицо с нежной розовой кожей до конца жизни не потеряло своей красоты, темные глаза смотрели умно и оживленно, осанка – хотя она не была высока ростом – величественна. Она вышла замуж шестнадцати лет, мужу было восемнадцать. Из двенадцати детей от этого брака в живых остались десять. Овдовев, она продолжала вести дело мужа и воспитывала детей. Ее отец – московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев – первый купец, удостоившийся чести царского посещения. Царь Александр II – «Освободитель» – хотел этим перекинуть мост через пропасть между дворянством, обедневшим после отмены крепостного права, и купечеством.

Этот «исторический» момент увековечен на картине, изображающей моего прадеда, преподносящего хлеб-соль государю; сзади стоит тогда еще совсем молоденькая его дочь – моя бабушка – с двумя маленькими детьми: моей теткой Александрой и дядей Василием. Копию этой картины, оригинал которой находился в музее в Грузии, я видела в доме моей бабушки. Меня интересовал здесь не столько царь, сколько удивительная одежда моей тетушки: короткая широкая юбочка, а под ней очень длинные кружевные панталоны. По моим тогдашним понятиям панталоны были вещью неприличной, особенно при таком торжественном случае.

Так же, как я была убеждена, что наша церковь и вся Большая Никитская принадлежат нам, так я была убеждена, что асфальтированный переулок, где находился бабушкин дом, вместе с соседней церковью, принадлежит ей. Даже не только переулок, но и вся Тверская площадь с домом генерал-губернатора, казармами и большой гостиницей «Дрезден» с роскошным гастрономическим магазином внизу. Гостиница и магазин действительно принадлежали ей.

Дом ее стоял посреди обширного двора, усыпанного красным песком. Здесь же находилась конюшня и еще несколько небольших домов, отдававшихся «внаймы».

«Именитое купечество», проживавшее за Москвой-рекой, было тогда очень малообразованно. Царили патриархальные нравы старой Руси, почти средневековый семейный деспотизм, всемогущество денег, изображенные в драмах Островского. Бабушка, вышедшая из этой среды, едва умела читать и писать. У ее мужа, сына крестьянина, развозившего по домам уголь и воду, дело обстояло не лучше. Но ее дети – мои тетки и дяди – получили блестящее образование. Все четыре сына учились в Университете, шесть дочерей брали уроки у тех же университетских профессоров и в совершенстве владели тремя-четырьмя иностранными языками. Когда я была совсем маленькой, мои тети и дяди всегда встречали меня самым шумным и бурным весельем. Я была первой внучкой, поэтому меня баловали и захваливали. «Поклонение младенцу» — говорила моя старшая тетка Александра. Меня удивляло, что все они обращались к своей матери на «Вы», тогда как я говорила ей «ты», и она, так меня баловавшая, со своими детьми обходилась иногда очень сурово.

Так как дом первоначально предназначался для меньшей семьи, а с ее увеличением не раз расширялся и перестраивался, то теперь он представлял собой целый лабиринт комнат и комнаток, переходов и приступок. Три этажа соединялись разнообразными лестницами и лесенками. Две комнатки самой бабушки были совсем крошечные. Перед большим киотом в углу горели лампы, и в этом помещении всегда немного пахло оливковым маслом.

Поля вместе с нами жила у бабушки и ухаживала за нами. Она рассказывала нам сказки. Одна из ее сказок всегда производила на меня сильное впечатление: братец с сестрицей пошли в лес по ягоды. Братец кладет ягоды в кузовок, а сестрица – в ротик. Когда пришло время вернуться, сестрица убивает братца, хоронит его, а ягоды относит домой и говорит, что братец заблудился. Но на могилке вырастает тростник, идут мимо прохожие, вырезают из тростника дудочку. И дудочка поет:

Дудочка – потихоньку!
Дудочка – полегоньку!
Злая меня сестрица убила,
В лесу схоронила,
За ягодки, за красненькие.

Жалость к братцу заливала меня, и я чувствовала на себе вину сестрицы, потому что в ее лице я всегда видела себя, а в лице

брatца – своего брата Алешу. Как я после от него узнала, он тогда тоже видел во мне «злую сестрицу».

От времени, когда мы жили в бабушкином доме, память сохранила мне несколько странных переживаний. Мне подарили жестяную кукольную плиту, хотя в то время я еще не играла в куклы. Как-то я заглянула внутрь этой плиты, воображая себя совсем маленькой, а внутренность плиты обширным помещением. Стены этого помещения отражали друг друга и получалась какая-то унылая бесконечность. Я повторяла этот опыт, и каждый раз появлялось одно и то же чувство холода и одиночества. Это же самое ощущение бывало у меня много позднее, когда я силилась представить себе холод и одиночество Сатаны. Однажды, лежа на полу, я увидела все предметы опрокинутыми, люди висели вниз головой; и на какое-то мгновение я уже не знала – как правильно. Все было наоборот, и я нарочно снова и снова вызывала это состояние. Странное чувство испытывала я также, когда нас провозили по Большой Никитской мимо нашего дома, чтобы мама, не посещавшая нас из-за опасности заражения, могла бы хоть посмотреть на нас в окошко. Мы ее не видели сквозь стекла. Окна были заклеены по-зимнему, и только маленькая форточка наверху давала доступ свежему воздуху. Но я знала, что она нас видит. Было так странно видеть наш дом снаружи, как чужой. Он казался мне громадным, а окна мертвыми; существовало ли все, что было внутри, если я сама была снаружи?

Когда мои кузины выздоровели и мы вернулись домой, у нас все пошло по-новому. К нам поступила гувернантка швейцарка, и началось мое обучение умыванью, одеванью, поливке цветов и шитью. Мы теперь жили втроем: моя кузина Нюша, четырьмя годами старше меня, молчаливая и мечтательная девочка, гувернантка и я. Швейцарка, мадемуазель Шахер, добродушное малообразованное существо, как-то попробовала меня обмануть по какому-то пустячному поводу. Я в свои пять лет была этим так безмерно оскорблена, что всякому моему доверию к ней пришел конец.

В те годы мы проводили лето на даче под Москвой. Тотчас же за железнодорожной станцией рядами выстраивались деревянные домики, с просторными балконами, среди елок, довольно близко один от другого. Позднее эти дачи внушали мне отвращение: бездельная скучающая публика выставляла здесь напоказ всю свою банальность – на площадках в парке, где танцевали, и на станционной платформе, где барышни в псевдорусских костюмах кокетничали с гимназистами. Ничего деревенского не было вокруг этих дач. Настоящую русскую деревню я узнала лишь позднее, когда мы стали

ездить на лето в наше имение под Вязьмой. Но раньше, пока мы ничего лучшего не знали, мы радовались переезду на дачу.

Но мы радовались также, возвращаясь осенью в город. Каждый раз нас прежде всего оглушал ужасный грохот на улицах от булыжных мостовых. У вокзала, выстроившись в ряд, стояли извозчицьи экипажи. Извозчики все одеты одинаково: длинные до земли, синие армяки, подпоясанные красным кушаком, и смешные плоские шапки, надвинутые на самые уши. Предлагая свои услуги, они вопили дикими голосами, стараясь перекричать друг друга. Нас же в наш тихий милый дом отвозил Терентий.

Бабушка каждое лето нанимала себе дом в деревне, в каком-либо дворянском имении близ Москвы, куда можно было добраться только на лошадях. В этих великолепных усадьбах, со старинными липовыми парками, со множеством цветов, украшавших террасы, лестницы и цветники, сохранялись старые традиции. Обедневшему дворянству приходилось сдавать свои дворцы в наем буржуазии. Помню, как в имении князя Вяземского мне показывали комнату, где жил Александр Пушкин. Показали также пресс-папье — гроб, в нем труп, который едят черви. Пресс-папье принадлежало масонам, — сказали мне. Комнату Пушкина вместе с пресс-папье я рассматривала с величайшим почтением, хотя и не имела тогда ни малейшего представления ни о Пушкине, ни о масонах.

Бабушка была большой любительницей цветов. Каждый день рано утром, до завтрака, она шла в своем белом утреннем пеньюаре из китайского шелка в сад и срезала розы, еще мокрые от росы, и складывала в корзинку, которую я носила за ней. Каждый год я часть лета проводила у нее.

Все тети мои, при всем их различии, тоже казались овечьими ароматом цветущих роз. Цвет лица — нежный, как лепестки цветка, и такие же нежные руки. Блеск их глаз, очень разных, и звук их голосов излучали что-то волшебное-живое. Или это чистота крови раскрывалась в этих их тонких, благородных обликах? Я не могла бы сказать, каким органом чувств я ребенком воспринимала этот аромат, этот блеск. Но все другие люди представлялись мне сделанными из какого-то другого, более грубого материала. Откуда эти аристократические, чудесно смоделированные руки и ноги? Они ведь происходили из крестьянского рода. Младшая — Екатерина, только на шестнадцать лет старше меня, — из всех сестер самая красивая. Высокого роста, царственная осанка, овальное лицо, большие темные глаза, сиявшие как два солнца, под взлетевшими бровями. Летящими были также ее движения. Голос ее звучал

глубоким альтом. Когда она говорила, чувства опережали слова, она легко приходила в замешательство. Позднее она стала женой поэта Бальмонта; мне она была ближе всех. Старшая – Александра, помогавшая матери в воспитании остальных детей и в ведении дел, – была писательницей. Я помню ее большей частью за письменным столом или с книгой. Младшие тети вставали поздно, катались на лодке по речке, где я впервые увидела белые и желтые водяные лилии, читали романы и флиртовали со своими поклонниками. В этом семействе любили остроумные шутки, игру слов, поддразнивания. Все у них сверкало, как фейерверк.

Мы росли, как царевич Сиддхартха, не видя ничего печального и безобразного. Но однажды воскресным вечером, возвращаясь из бабушкиной летней резиденции домой, мы проезжали в экипаже по окраинным улицам города. Я видела грязные домишки, разбитые стекла в окнах, кое-как заставленных ящиками; грязные оборванные ребятишки бежали за экипажем, выпрашивая копеечку; я видела болезненного вида злобных женщин и пьяных мужчин, они валялись в пыли или стояли посреди улицы, ругались или орали песни. Всем этим я была глубоко потрясена. Я молилась Богу и давала обет помочь этим людям, когда вырасту большая. У нашего дома зимой сидел старик с двумя маленькими детьми и просил милостыню. Я решила обратиться к матери: «У нас чулан пустой, мы могли бы их приютить; пожалуйста, сделай так». Она ответила: «Мы не можем взять к себе всех бедных». – «Я не говорю обо всех, я говорю об этих». И я так и не поняла доводов матери против моего предложения.

Переулки, по которым мы проезжали от Никитской площади к бабушкиному дому, состояли из хороших домов. Но был один угол, где я всегда испытывала тяжелое чувство. Из маленьких окошек валил чад и пар, в них мелькали искаженные лица. Здесь помещалась небольшая прачечная, рядом были народные бани, а на углу – трактир. Нам встречались мужчины, нетвердо стоявшие на ногах, перед которыми я испытывала непреодолимый страх; однажды я видела пьяного, валявшегося на каменных ступеньках трактира. Другой раз я видела у подъезда дома женщину, лицо ее было багрового цвета; она хриплым голосом говорила что-то стоявшему рядом рабочему и смеялась так цинично и с таким отчаянием, что я испугалась до ужаса. Что-то в мире было неладно.

Начинаем учиться

Мне было семь, а брату шесть лет, когда мы начали учиться. Уже два года приходил к нам священник, рассказывавший по картинкам библейскую историю. Это относится к тому времени, которое я хочу назвать «мифологической эпохой» моей жизни, потому что все, что тогда вокруг меня происходило, я воспринимала еще в другом состоянии сознания. Сам священник, по-видимому, очень милый, хороший человек, в своей длинной одежде и с длинными волосами казался мне божественным существом, и его образы, и истории, от него услышанные, я вспоминала так, как вспоминаются сны. Эти библейские истории, древнейшие сны человечества, отражения высшей действительности в образном сознании еврейского народа, в истории которого реализовались эти прообразы, являлись душе ребенка как ее собственные воспоминания, как часть ее собственного существа. А когда затем мы играли в куклы, все эти образы: Ноев ковчег, переход через Чермное море, Скиния завета – снова выходили на сцену. Мать услышала однажды, как брат спросил: «Как мы их накажем?» (речь шла о куклах). — «Мы их накажем в их детях и в детях их детей», – ответила я.

Учение началось торжественно. Наша учительница – Катерина Кузьминишна – была еще очень молода. Она только что потеряла любимую подругу и сама перенесла тяжелую болезнь – оспу. Ее правильное лицо, с глубоко посаженными большими светло-серыми глазами и твердо очерченным ртом, можно было назвать красивым, если бы оно не было обезображено страшными следами оспы. Во время болезни пришлось обрезать ее красивые золотистые косы, и теперь она носила короткие волосы, что в те времена казалось очень странным и неженственным. Редко я встречала столь застенчивого человека. Когда мой отец, сам тихий и застенчивый, обращался к ней хотя бы с несколькими словами, она страшно краснела и терялась. Ходила она быстро и слегка нагнувшись вперед, а все движения ее как бы трепетали. Позднее мы называли ее Китти, а еще позднее – Киттики. Но во время урока она была спокойна, уверена, повелительна. К каждому уроку она готовилась часами, и каждый ее урок был произведением искусства.

Я хорошо помню первый урок. В качестве учебного помещения была выбрана большая длинная комната с двумя окнами на север. Здесь же спал брат. У двери был устроен турник, а в углу располагались наши игрушки. Во время занятий длинный стол ставился так, чтобы на ту сторону, где мы сидели, свет падал слева. Лакированная

поверхность стола по краям была оклеена зеленым сукном. Так приятно было время от времени отрывать от него кусочки, что в скором времени пришлось заменить сукно гораздо менее привлекательной черной клеенкой. Катерина Кузьминишна посадила нас за стол, под ноги поставила ящики, чтобы ноги на них опирались и локти легко лежали на столе. Вдруг она постучала снизу по крышке стола и спросила: «Что это?». Мы смотрели друг на друга, ничего не понимая. Она хотела, чтобы мы ответили: «Звук». Постепенно она подвела нас к нужному ответу. Затем мы обсуждали с ней различные звуки. Потом перешли к письму. Она показала нам гусиное перо и рассказала, как прежде люди писали такими перьями. Она принесла также золотистый песок, которым надо было посыпать написанное, чтобы чернила сохли. Это было, конечно, самым прекрасным во всем уроке. Затем мы писали палочки и крючочки, а она считала: «Раз, два, ...» То, что она делала, делают, возможно, все учителя, начиная обучение письму, но при этом важна была та серьезность, та любовь, которую она вкладывала во все эти маленькие приготовления; это внушало нам благоговейное настроение. Как я старалась красиво выписывать мои палочки и крючочки и держать перо так, чтобы оно не царапало бумагу! Наградой был золотой песок, превращавший черные чернила моих палочек в золото. Склонившись над тетрадами, мы писали, как вдруг – обе створки двери в коридор распахнулись, а там – целая толпа! Бабушка (ее посещение было редкостью и отмечало торжественность события), родители, обе кузины, вся прислуга – и кто еще? Моя милая Феклуша: она приехала к этому дню и заливалась слезами. На этом первый урок закончился. Все нас обнимали и поздравляли.

Книжка, по которой мы учились русскому языку, называлась «Родное слово». «Родное» – того же корня, что и родник, источник, но оно означает нечто близкое, дорогое. Мать называют «родная», отсюда и «родить». К сожалению, я ничего не знаю о педагоге, составителе этой книги; ему удалось дать детской душе почувствовать «Слово» в высшем смысле, а вместе с тем и «Родину», связывая маленькие истории, молитвы и стихи с временами года, полевыми работами и народными обычаями. Мы проходили времена года, и Китти умела пробуждать в нас чувство изумления перед мудростью природы. Свойственное ей преклонение перед бытием, перед творчеством природы и творческой деятельностью человека она передавала нам. Мы снова и снова возвращались к теме «хлеб». Она приносила нам семена разных злаков, мы высевали их в горшочки и наблюдали за их прорастанием; а так как мы были тогда чистыми горожанами, то она приносила нам картинки, изображавшие раз-

личные деревенские работы, модели сельскохозяйственных орудий и, насколько возможно, настоящие инструменты, например для изготовления кирпичей и т. п. Китти знакомила нас и с происхождением окружающих вещей, рассказывала о работе сапожника, столяра; таким путем мы учились осознавать окружающую нас жизнь и с чувством благодарности ощущать свою связь с природой и людьми. Все оживлялось картинками, сопровождалось стихами и сказками. Большое впечатление производили на меня особые книжки-картинки: когда их раскрывали, лежащие фигуры вдруг поднимались, так что изображение на плоскости внезапно становилось объемным; долго мне это казалось чудом, и я думала, что Китти умеет колдовать. С самого начала мы учили наизусть много стихов, осваивая их с разных сторон – звуковой, ритмической, красочной. Затем мы произносили их все вместе, хором, с большой выразительностью и музыкальностью, а Китти с помощью погремушки подчеркивала ритмы стиха. Ее любовь к слову пробуждала и в нас эту любовь. Стихи мне казались молитвами. Как-то раз, когда мы все: кузины, брат, я и кто-то из взрослых – как обычно, собрались перед иконой на вечернюю молитву и я должна была прочитать «Отче наш», я вместо этого прочитала стихи о дожде: «Золото, золото падает с неба» – т. е. дождь, озаренный солнцем, – «дети кричат и бегут за дождем». И дальше: «Полноте, дети! Его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба». Все засмеялись, а я не понимала – почему? Почему эти стихи – не молитва? Разве солнце – не Христово солнце, а хлеб – не тело Христово?

Каждый день я ждала уроков с нетерпением: что мы будем делать сегодня? Что она нам сегодня принесет? Может быть, нашу программу обучения можно упрекнуть за излишне ранний подход к естествознанию. Такова была тенденция эпохи. Но еще раз должна сказать: наблюдали ли мы кристаллизацию соли, проводили ли мы анализы почвы, осажая песок, растворяя глину и сжигая гумус, или заставляли кальций гореть в воде – все эти явления мы рассматривали с таким благоговением, что опасность слишком раннего пробуждения рассудочного мышления полностью устранялась чувствами восхищения и изумления. В передаче Китти все было интересным и живым, даже цифры в арифметике. И совсем не пустяк, если мы можем сказать, что в течение девяти лет учения ее уроки, даже при подготовке к экзаменам, никогда не были скучными.

Годом позже явилась мадемуазель Вилькен, из Риги, обучать нас языкам. Она показалась нам очень чуждой. Жидкие, гладко приче-

санные на прямой пробор волосы собраны сзади в маленький пучок. Серые глаза под нависшими веками смотрят добродушно, но становятся холодно-стальными, когда она нами недовольна. Большой нос, необычайно узкий у переносицы, с резко очерченными ноздрями; губы узкие и сжатые. В течение четырех лет, пока она была у нас, я не помню на ней другого платья, кроме серого, совершенно гладкого, застегнутого спереди множеством пуговиц. Вокруг шеи, похожей на шею черепахи, – белый воротничек. Перед первым уроком, когда мы уже сидели за столом, она, сложив руки и подняв глаза к небу, произнесла молитву. Это показалось мне чем-то невысказанным, я не знала, куда смотреть от стыда. Молитва была для меня либо культовым, совершенно внеличным делом, как все наши утренние и вечерние молитвы перед иконами, или чем-то совершенно интимным, разговором с Богом, возможным только в полном уединении, без свидетелей. Я со страхом ждала второго урока; однако она, вероятно, заметила произведенное впечатление и молитва не повторилась.

Мадемуазель Вилькен была очень честным, добропорядочным человеком, пропитанным протестантской моралью, которую она старалась внушить и нам. Она была очень начитана и много путешествовала. Но одного ей не хватало: русская нянюшка сказала бы, что у нее нет благодати. Ее педагогические методы были неудачны. Музыку я возненавидела потому, что большую часть урока приходилось ползать по полу, разыскивая пяточки, скатывавшиеся то с одной, то с другой моей руки. Ежедневно был у нас урок по изучению апостольских Деяний: этим она хотела убить сразу трех зайцев – французский язык, географию и религию. А мы в то время не имели ни малейшего представления о географической карте (правильное, конкретное введение в географию мы получили лишь два года спустя от Китти). Поэтому Малая Азия представлялась мне розовой танцующей девочкой, которую я не могла поставить на ноги, а должна была рассматривать в лежачем положении. А Эфес, Дамаск и т. д. были просто кружочками, весьма причудливо разбросанными по ее платью. Язык Библии был для нас тяжел, а библейская история в целом непонятна, так как и об Евангелии-то мы еще слишком мало знали. Не лучше дело обстояло и с уроками ботаники, которые тоже должны были служить упражнением во французском языке. Мы описывали форму листьев и цветов, считали тычинки и определяли растения по Линнею, учили их латинские названия, но ничего не узнавали ни о живой связи растений с ландшафтом, ни о метаморфозе растительных форм. Позднее, во

время наших путешествий с Китти, все, слава Богу, стало иначе, а то, чего доброго, мы могли бы и цветы возненавидеть.

Все, что мадемуазель Вилькен старалась нам дать, никак не укоренялось. Ежедневно занимаясь с ней четыре года, мы мало чему у нее научились. Она была педантична в соблюдении порядка. Если на нашем столе отсутствовала какая-либо книга или тетрадка, или она лежала криво, или была на ней пылинки – мадемуазель Вилькен сидела, сжав губы и уставившись в одну точку. Из урока в таком случае ничего уже не получалось. И целый час мы сидели друг против друга в давящем молчании. Результат такого воспитания порядка оказался прямо противоположным. Я получила отвращение к самому понятию порядка вообще; порядок стал для меня синонимом педантичности, и, когда мадемуазель Вилькен ушла от нас, я забросила всякий порядок и впала в хаос. Это было еще терпимо, пока у нас было много прислуги, которая все за нами убирала и приводила в порядок. Но в последующие годы мне приходилось уже самой перевоспитывать себя, избавляясь от своей нелюбви к порядку.

Не помню также, чтобы мадемуазель Вилькен, несмотря на всю свою образованность, рассказала мне что-нибудь захватывающее, а я ведь очень интересовалась жизнью. Помню только восхитивший меня рассказ о сборе винограда. Вот что произвело впечатление!

Вся наша детская жизнь была пропитана тогда религиозным чувством. Я была уверена, что Бог и ангелы видят все, что я думаю, чувствую и делаю. Когда я была совсем маленькой, мне захотелось из окна столовой взглянуть на нашу собаку – ее конура находилась у погреба под кустом бузины. Я старалась влезть на мягкую скамеечку под окном. «Подожди, я сейчас приду и помогу тебе», – сказала мама. Она вышла из комнаты; я сама влезла на скамейку и тотчас же упала с нее навзничь. Падая, я подумала: «Бог меня наказывает, потому что я не послушалась». Я ударились спиной о резную подставку канделябра и мне неделями пришлось лежать на пузыре со льдом, потому что была опасность остаться горбатой. Брат вспоминает, что он однажды хотел подбить меня на какую-то шалость. «Никто не узнает», – говорил он. – «А Бог?» – я подняла пальчик к небу. – «Бог – это только для больших; нам об этом нечего беспокоиться, если Он что-нибудь и увидит, Он нас не накажет». Мне было пять-шесть лет, когда каждый вечер перед сном меня занимала удивительная идея: мне хотелось устроить алтарь в нашей кладовке; я, правда, никогда там не бывала, потому что ключ от этой таинственной, завешенной сукном двери в конце коридора хранился только у истопника, который время от времени за ней исчезал. Но

каждый вечер передо мной вставала картина: я совершаю службу перед алтарем, который я сама построила в кладовке, а все домочадцы стоят вокруг в изумлении. Днем я не представляла себе, как я могла бы это практически выполнить, но по вечерам я все снова и снова воодушевлялась этой мечтой.

Еще одна странная идея меня занимала: я подозревала, что вещи не таковы, какими они нам кажутся; они вовсе не безжизненны, но только представляются, закрывают, так сказать, глаза в моем присутствии, а за моей спиной меняются; поэтому я старалась быстро обернуться, чтобы их «уличить»; но мне никак не удавалось захватить их врасплох, они тотчас же принимали свой обычный вид.

Как-то летом в деревне – мне было пять лет – я слепила из глины большую человеческую фигуру на белом камне. Я смочила свою скульптуру «золотой водой» – так мы называли раствор глины в воде, блестящий на солнце, как золото; и мое произведение стало таким прекрасным, что я сама была им совершенно захвачена. Подобное, наверное, испытал Бог Иегова, сотворив из земли человека Адама. Это было вечером, и, засыпая, я сомневалась – правда это или сон, что я сделала такую великолепную вещь; я с нетерпением ждала утра, чтобы снова ее увидеть. Однако ночью прошел дождь, и, когда я спозаранку поспешила к камню, на нем лежала только бесформенная глыба. Помню, как это меня ошеломило, и я никак не могла собраться с духом восстановить свое произведение, сомневаясь в возможности дважды пережить подобное чудо.

В другой раз мне пришло в голову, что я могла бы нарисовать распятие. Я взяла листок бумаги, пошла в комнату, где могла быть одна, и с бьющимся сердцем выполнила работу; увидев, что нечто получилось, что я действительно нарисовала распятого, я ужасно испугалась, дрожащими руками спрятала рисунок в ящик стола и не могла решить – было ли то, что я сделала, святым делом или большим грехом.

Мои кузины брали уроки живописи, и я усердно принимала в них участие, хотя мне было только семь лет. Учительница заставляла меня рисовать с натуры цветными карандашами вместо того, чтобы предоставить свободу создавать живописные формы красками. Поэтому я была слишком рано приведена к пассивному подражанию природе и стеснена в своей творческой инициативе.

Больше, чем искусство, интересовало меня тогда «естествознание». Я непременно хотела «наблюдать природу», быть естествоиспытателем. Когда как-то в доме поймали мышь, я выпросила ее себе. Мы купили большую мышеловку, такую, чтобы мышь могла в ней жить. Я выложила клетку газетной бумагой, чтобы легче было ее

чистить, а внутри устроила из картона домик, положила в него ваты. Всю первую ночь я слышала, как мышь что-то грызла, а утром увидела, что между домиком и узкой стенкой клетки устроено гнездышко из какой-то смеси ваты и жеваной бумаги. Таким образом, мой домик стал как бы прихожей в собственной квартире мышки. В этой квартире было даже окошечко, через которое я могла видеть ее черный глазок. Велик был мой восторг, а еще больше он стал, когда на следующий день я увидела в гнездышке двух маленьких, розовых, совсем прозрачных мышат, сосавших мамашу. Вот где можно было и вправду «наблюдать природу»! В моей тетради для рисования появилось очень точное изображение этой идиллии. «Ну, как поживает ваша мышка?» – спросил нас за воскресным чайным столом у бабушки гость-офицер. «Она родила», – торжественно ответил брат на весь длинный гостевой стол к великому увеселению присутствующих. Однажды ночью я проснулась, услышав писк. Я зажгла свечку и поспешила к клетке, и... не поверила своим глазам: один мышонок лежал мертвый, а другой пищал в лапах матери, которая тут же откусила ему голову. Меня трясло от ужаса. Что случилось? Как это возможно? Ведь у нее было достаточно еды. Клетка с детоубийцей исчезла из нашей комнаты, но в сердце ребенка осталась страшная загадка: почему она это сделала? Нет, что-то было неладно в этом мире, и сама природа не была так свята, как я думала.

Для моей старшей кузины родители время от времени устраивали бал. Сами приготовления были для нас полны поэзии. Задолго до назначенного дня в верхнюю залу приносили манекен, на нем примеряли светлое тюлевое платье, которое Маша шила Елизавете. Для котильона изготовляли шелковые ленточки с нежно звенящими колокольчиками; к бархатным подушечкам прикалывали золотые звездочки и бантики. Все было волшебно неземным. Мы, младшие, уже хорошо умели танцевать – уроки танцев мы брали вместе с другими детьми у француза-балетмейстера в нашей зале, – и в начале бала нам разрешалось присутствовать. Распорядитель танцев – дядя Сережа – выполнял свои обязанности с большим увлечением. Вот он провозгласил: «Les dames invitent leurs cavaliers!»* Я подошла к высокому смуглому господину, зятю моей тети Татьяны Бергенгрюн, который понравился мне тем, что говорил с иностранным акцентом и носил редкое для моего слуха имя Отто, и пригласила его на следующую кадрили. Он, казалось, был в восхищении, низко склонившись ко мне, провел меня под руку по

* Дамы приглашают кавалеров! (фр.)

залам и гордо представил всем, как свою даму. Я была на седьмом небе. Но тут меня увидела мама. «Ты еще здесь? Что это значит? Сейчас же в постель!» – «Но ведь ты позволила...» – «Марш в постель!» – «Но у меня кавалер!..» – «Сейчас же в постель!» Я побрела по лестнице на верхний пустой этаж. Какой позор! Как могла я знать? Теперь он меня ищет, вот начался танец... Я лежала как в лихорадке, слышала музыку и голос дяди Сережи: «Et à vos places, s'il vous plaît et balancez vos dames...»* Нашел Отто другую даму? Что он обо мне подумает? Я никогда больше не смогу с ним встретиться! При этом танце полагается мазурка, которую я особенно хорошо танцую... Стыд! Стыд и позор!

И снова: «Как могла я знать! Ведь совсем не так думалось!» Мне было тогда семь лет. И если я рассказываю эту маленькую историю, то только потому, что в ней я вижу что-то пророческое для всей моей дальнейшей судьбы. Как часто приходилось мне впоследствии в жизни повторять те же слова: «Как могла я знать это заранее, ведь думалось совсем не так!»

Однажды мои родители пригласили гостей прокатиться на тройках. Пока еще автомобиль не завоевал мир, быстрая езда на лошадях была страстью русских. Горожане нанимали несколько троек и выезжали за город. Сани с пестрыми полостями были так широки, что три человека могли удобно сидеть рядом, а четвертый – впереди на откидном сидении. Средняя лошадь запряжки – «коренник» – бежит рысью, на пестро размалеванной дуге над его головой – колокольчик. Боковые лошади – «пристяжки», – галопируя, натягивают постромки, сгибая шею наружу, что придает запряжке сходство с летящей птицей. «Тройка, птица тройка!» – восклицает Гоголь в своих «Мертвых душах», говоря о бешеной езде русских. На этот раз нас – младших – тоже взяли. Поездка лунной ночью! Счастье неопишное! К тому же оба брата Красовские – два красивых офицера, которых я ведь так «страшно люблю», – едут с нами. Никогда я еще не выезжала так поздно из дома, никогда не видела такой светлой лунной ночи, таких огромных снежных полей, такого множества звезд. Было очень холодно. В парке Петровско-Разумовское, у старого дворца графов Разумовских, мы вышли и пошли пешком мимо дворца; его выпуклые оконные стекла изумительно блестели в лунном свете. Гигантские ели окутаны снегом, и Федор Красовский, которого я так «страшно люблю», нарочно сбрасывает снег с их нижних веток на меня. Все вокруг меня искрится – снег и звезды, все пространство будто перекрещено

* Составьте пары Вашим дамам. Господа, балансé... (фр.).

алмазными лучами, все сказочно. Вероятно, благодаря непривычно позднему бодрствованию и полноте лунного света, в котором душа моя плавала, как будто вне тела, и в этом блеске и сверкании снега и звезд, я все воспринимала не так, как обычно. Я была безгранично счастлива. За елями я увидела свободную от снега ледяную поверхность пруда. В ней отражался лунный диск. Две сверкающие одинокие пирамиды возвышались на льду. Это были искусственные ледяные горы для катания на санках. Они показались мне грандиозными и таинственными. Бог знает, какие воспоминания из каких пра-времен и пра-миров поднимаются в душе ребенка! Вскоре мы поехали домой. Но этот краткий миг оставил во мне чувство вечности.

И мир расширяется

Мне было десять лет, когда дом наш был продан, и нам сказали, что мы поедem за границу. Элегантная дама в мехах – новая владелица дома – несколько раз приходила к нам со своим архитектором, обсуждая с ним перестройку комнат; нам, детям, она казалась врагом, желающим прогнать нас из нашего родного дома и безжалостно все изменить. Из наших комнат должны были получиться две квартиры, стену между гостиной и детской должны были сломать – чистое своеволие, немыслимые вещи, нас глубоко возмущавшие. Мы собирались выехать в начале февраля, но брат еще не поправился после бронхита, а работы в верхнем этаже не хотели больше откладывать; поэтому мы все переселились в парадные комнаты нижнего этажа. В большой зале и в красной гостиной прямо посреди пола стояли наши кровати и чемоданы. Все было так странно!

Сверху уже слышались глухие удары – там ломали стену. Нам не позволяли ходить по лестнице, и мы не видели опустошения. В нашем настроении смешивались горечь прощания и радость от всего необычного и нового, что мы уже видели и что нам еще предстояло впереди.

В день отъезда наша маленькая белая собачка выла душераздирающе. Девушки ходили с заплаканными глазами. К вечеру мы выехали. Все родные собрались на вокзал нас проводить. Отец, занятый делами, оставался в Москве. Мы – мама, две учительницы, Поля, обе кузины, Алеша и я – три года путешествовали за границей. Так думали сократить хозяйственные расходы! С этой целью и дом был продан.

Печаль разлуки развеялась во тьме пронсящих мимо снеж-

ных полей. На другой день Китти показывала нам необозримые леса, где еще водились зубры. В Варшаве мы остановились на день в гостинице, потому что дядя Иван со своими двумя девочками хотел с нами повидаться. По дороге от вокзала к гостинице мне бросилось в глаза, что все польские дамы одеты в черное, что им очень шло. Мама объяснила, что таким способом они выставляют напоказ траур по угнетенной Польше. В гостинице я впервые увидела комнату, никому не принадлежащую. Какой тоской повеяло на меня от этого роскошного помещения!

Дядя Иван – одна из симпатичнейших личностей, встреченных мною в жизни. Он был главным врачом большой, всемирно известной психиатрической больницы «Творки» под Варшавой. Ходило много рассказов о его огромном влиянии на пациентов благодаря его способности сопереживания. Так, например, один больной вообразил себя грибом и упорно отказывался от пищи. Тогда дядя сел рядом с ним на корточки и сказал, что он тоже гриб; через некоторое время этот новый гриб захотел поесть, и старый гриб последовал его примеру. Во время первой мировой войны русские военные власти потребовали эвакуации больницы, что позднее оказалось совершенно ненужным; дяде пришлось много верст пройти с больными пешком – железная дорога была разрушена, и он каждому объяснял в соответствии с его бредовыми представлениями, куда они идут.

Помимо своей профессиональной работы, он писал стихи и уже опубликовал тогда хороший перевод поэмы Арнольда «Светило Азии». Мои сибирские родственники все обладали художественной жилкой, были просты и естественны. Как у моего отца и обеих кузин, живших с нами, так и у дяди Ивана во всем существе было что-то трогательно скромное и прямодушное. Его дочки, приблизительно моего возраста, которыми я восхищалась, – ах, как они были красивы с их пышными длинными косами! – рассказывали нам доверительно, что отец часто читает им из сочинений Конфуция и других восточных мудрецов, но что они перед уроком стараются спрятаться, потому что это ужасно скучно!

Наше почти трехлетнее пребывание за границей пришлось как раз на важный период в развитии ребенка – между десятью и тринадцатью годами – и имело для меня крупнейшее значение.

Раннюю весну мы провели в Лозанне, в пансионе, окруженном парком с вечнозелеными растениями и фонтанами. К впечатлениям природы я оставалась холодна. Очень неуютно казалось мне сначала сидеть за одним столом со многими чужими людьми. Эта ситуация была особенно тягостна для Поли, которая стеснялась есть вместе с господами. К концу нашего путешествия бедная девушка,

вообще обладавшая завидным здоровьем, даже получила катар желудка. Впервые я видела людей разных национальностей. Внушительные с виду и веселые – американцы. Они мне очень нравились, но почему эти господа сидели в салоне так неприлично, задирая ноги выше головы? Разве у них никогда не было гувернанток? У немцев, казавшихся мне очень учеными, меня возмущало, что на все замечания своих жен они отвечали: «Вздор!» – как будто те были много глупее их. Но жены тоже сердили меня тем, что все это принимали как должное и усердно ухаживали за мужьями.

Если не считать жизнь царством слепого случая – что лишило бы жизнь ее моральной ценности – но постараться, как это делается в отношении физических явлений, отыскать скрытые связи, то становится ясно, что судьба человека в детстве ставит перед ним особенно много загадок. Ибо в этом возрасте ничего не происходит с человеком в силу его собственного сознательного решения, но все определяется как бы извне; и тем не менее, все с ним происходящее так тесно связано с характером личности. Предчувствие этой, сначала для нас непроницаемой закономерности может внушить нам чувство благоговения. Также и меня охватывает чувство благоговения и вместе с тем благодарности, когда я думаю о трехлетнем путешествии за границей того ребенка, каким я тогда была. Эти годы – годы кризиса. В жизни каждого ребенка можно наблюдать, как в возрасте девяти-десяти лет в нем пробуждается, с одной стороны, сознание своей личности, а с другой – более сознательное восприятие внешнего мира, с которым он до сих пор чувствовал себя слитым. Встреча этих полярностей выражается не только в поведении ребенка – часто он становится критичнее, труднее – но влияет и на его физический организм. В это время приходят в гармонию ритм дыхания и биение пульса. Непрерывное течение времени в крови, в котором живет непрерывность сознания Я, встречается с «вдыханием» сменяющихся впечатлений, притекающих к нему из пространства. Обращаясь к образам греческих мифов, можно сказать, что в эти годы встречаются Дионис и Аполлон.

Вспоминаю ребенка, каким я была до нашего путешествия: внешне замкнутая и, по-видимому, спокойная, внутренне – вся в душевных потрясениях, уже в четыре года проводящая полночи без сна из-за какого-нибудь знака недоверия или несправедливости. Чувства сострадания и раскаяния не давали душе покоя. Эта перенапряженная внутренняя жизнь могла бы привести к нездоровому развитию души, если бы в решающий момент не явился бы сильный импульс извне, давший этой душевной жизни выход в просторы мира.

Прежде всего встретили нас мощные впечатления высокогорной Швейцарии, где мы провели первые полгода. Мы совершали большие прогулки в горы, но наши уроки с Китти и мадемуазель Вилькен регулярно продолжались по программе русских гимназий. Было очень увлекательно, приезжая в страну, узнавать ее географию и историю. Под руководством Китти мы с братом собрали коллекцию минералов и альпийской флоры, снабдили надписями и позднее подарили одной московской школе. Когда брат этим летом писал письма бабушке, он сообщал только, на высоте скольких метров и на каких градусах широты и долготы мы в данный момент находимся. Поэтому письма его были чрезвычайно кратки. Я же рассказывала сказки о водопадах и пропастях, что тоже не очень-то соответствовало бабушкиному мировосприятию. Во время горных прогулок все, что я видела, представлялось мне подобием чего-то скрытого. Это был удивительный процесс «символизации». Китти трясла меня за руку, восклицая: «Смотри же кругом! Замечай – какие это формации, какие складки пород? Какие растения встретились нам сегодня? Завтра я обо всем спрошу тебя на уроке». Будто я не смотрела! Я полюбила маленькие серые с киноварной каемкой цветочки горного мха. Я любила их «безнадёжно», потому что все еще не находила того мира, откуда они пришли и куда зовут. Ветки альпийских роз пахли смолой, их твердые коричневые листья были так непохожи на их нежные розовые цветочки. Почему? Это мне объясняли образы легенды. Серебристые поля – снег на глетчере – уводили прямо в небо, а река, из них выбегавшая, пенясь, неслась по каменистым осыпям в долину, чтобы соединиться с Роной – их язык я понимала. Мы с братом старались отгадать, в каком камне скрывается кристалл; и когда мы разбивали молотком круглый серый камешек и навстречу нам сиял угаданный кристалл, это для нас каждый раз было чудом. Из какой тьмы веков вышел он теперь на свет, такой родной звездам! И наши глаза первыми его видят!

Я так полюбила кристаллы, что когда мы осенью приехали в Париж, я, не обращая внимания на нарядное платьице, купленное в первый же день в «Magasin du Louvre»*, к удивлению прохожих, бросилась рыться в куче камней, приготовленных для ремонта мостовой, ища в них кристаллы и минералы. А когда, проходя по одному из больших бульваров, я увидела на другой его стороне вывеску «Cristaux»**, я побежала туда, несмотря на большое движение экипажей. И была очень разочарована, увидев на витрине вазы,

* Магазин Лувра (фр.).

** Кристалл (фр.).

графины и прочие шлифованные стеклянные изделия. Но зато моя страсть к кристаллам была удовлетворена в высшей степени при посещении музея в Парижском Ботаническом саду. Великолепие этих коллекций ни с чем несравнимо. Особенно незабываема для меня гигантская друза аметиста: величиной и совершенством кристаллических форм и чистым фиолетовым сиянием окраски она настраивала душу так же возвышенно и торжественно, как вид звездного неба. На следующее лето я стояла уже на берегу Северного моря. Недавно я снова увидела дюны и бушующий прибой – это кипение расплавленного серебра – и выдохнула соленый воздух Северного моря; и моя душа была снова охвачена тем же восторгом, как и тогда, когда я одиннадцатилетним ребенком внезапно оказалась на пороге этого мира творческих первобытных сил. Человек, в детстве увидевший это величие, навсегда избавится от филистерских масштабов. Этим летом мы занимались с Китти в хорошую погоду в дюнах. Мы приносили домой целые ведра морских звезд, полипов, крабов и медуз и изучали их формы и образ жизни. Следующей весной, уже в Неаполе, я увидела аквариум, устроенный в море; здесь полипы и медузы, плавая в синей воде, блистали невероятными красками. Это зрелище подействовало на меня просто магически. В синеве плавало бесчисленное множество разных видов полипов, их нежные звезды на розовых разветвленных трубочках открывались, а при опасности опять сжимались. Медузы и рыбы мерцали неземными красками; и весь этот мир с его таинственным сиянием, прозрачный, сотканный из света и воды и пронизанный солнцем, контрастировал с осьминогами, змеями и серыми, панцирными, нередко поросшими мхом, ракообразными существами, недружелюбно выглядывавшими из своих окаменевших оболочек. Это безмолвное скольжение и трепетание, удивительное поведение этих существ подлежало законам какого-то другого мира и вызывало из глубины души что-то в ней скрытое, забытое.

Говорит эпоха

В 1892 году мы приехали в Париж; французский народ отмечал столетие Великой Французской революции. На улице продавали листовки с картинками, изображающими события той эпохи. Мы побывали на могиле Наполеона, в Пантеоне с портретами древних королей. Здесь впервые я ощутила дыхание истории. Оно коснулось меня еще и с другой стороны. Мы жили уединенной, размеренной и вместе с тем внутренне богатой жиз-

ню. Единственным человеком, посещавшим нас, была старушка – вдова немецкого поэта Гервега. Она жила в эмиграции, в большой нужде, в мансарде на Рю дю Бак. Моей матери ее рекомендовали в качестве учительницы итальянского языка. От нее мы нередко слышали рассказы о Гарибальди, Мадзини, которых она знала лично, об Орсини, которому она помогла бежать из тюрьмы. Также о Герцене и его жене. И хотя я совсем не понимала, о какой исторической борьбе, о каких героях шла речь, все же через нее я ощутила пафос великой эпохи.

Вместе с поворотом к впечатлениям внешнего мира происходил и поворот к осознанию собственной личности. Для меня он начался в Париже, когда я заметила, что являюсь объектом внимания других людей. Напротив нашей гостиницы помещалась художественная школа, где я рисовала гипсовые головы. Художница, руководившая школой, удивлялась цвету моих волос, которые тогда уже начали виться, и просила мою мать разрешить мне ей позировать. Мама, опасаясь, что я стану тщеславной, не позволила. Но ее заботы опоздали. Нередко я слышала на улице замечания о моем цвете лица, о волосах, и я становилась сама себе интересной. Помню, как я впервые рассматривала в двусторчатое зеркало свой профиль, неприятно удивлявший меня прямой линией лба и носа.

Как-то раз мы с Полей стояли у кондитерской и любовались бонбоньерками; из двери вышел элегантный господин и подарил мне медовый пряник в виде оленя. Я смущенно поблагодарила, но пришла домой очень довольная. Я успела откусить оленю рога прежде, чем рассказала всю эту историю матери. Она была вне себя, осыпала меня упреками, что я от незнакомых мужчин принимаю подарки, и приказала выбросить пряник. Рассердившись, она вышла из комнаты. Огорченная, я сидела на своей кровати вся в слезах и продолжала грызть своего оленя, совсем мокрого от моих слез. Вдруг мне пришла в голову страшная мысль: может быть, мама запретила мне есть оленя потому, что он отравлен? Но от него остались теперь только ноги. Я их доела, потому что, очевидно, мне уже нечего было терять, и ждала смерти. Я не умерла, так как олень не был отравлен. Но весь воздух Парижа был как бы пропитан тонким ядом. Тогда и совершил Люцифер свое вступление в мою душу.

С самого раннего детства меня захватывала жажда общения с людьми. Так мне вспоминаются чудесные впечатления парижского карнавала «Mardi gras»*. Наше семейство двигалось в толпе по бульварам. Пестрые бумажные ленты летали по воздуху из одного

* Жирный вторник (фр.) - последний день карнавала перед Великим постом.

окошка в другое над улицей и повисали на деревьях. У всех нас были пакетики с конфетти. Ими можно было осыпать любого прохожего. Весь мир вдруг преобразился, все разделяющие перегородки между людьми исчезли. Все были знакомы, все были товарищами в игре. Мы сражались со страстью и тоже были осыпаны конфетти. Все перекидывались шутками свободно, остроумно и весело, как умеют только французы. Я была в восторге. А на другой день – какое разочарование! На улицах опять чужие, равнодушные прохожие – куда девалось вчерашнее пестрое, веселое содружество? Только обрывки цветных бумажных лент на деревьях и конфетти в уличных желобах напоминали о том райском состоянии, когда слова: Свобода, Равенство, Братство, которые я видела каждый день написанными большими черными буквами на зданиях площади Согласия, были действительно так великолепно осуществлены.

Эмбриологии известно соответствие между фазами развития человека в теле матери и фазами развития видов. Человек повторяет предшествовавшие земные формы. Непредвзято рассматривая становление ребенка, можно заметить, что ребенок в своем развитии повторяет ступени исторического развития человечества. Сначала чувствует себя единым с миром, все одушевлено, как и он сам. Он живет в грезах, в которых он не отделен от целого. Такими грезами человечество жило в мифах. Позднее, в своих играх, в своих распрях ребенок повторяет другие эпохи, которые он, как индивидуальность, тоже переживал в прежних своих воплощениях. Также и различные таланты появляются у него как реминисценции, позднее совершенно исчезающие. Мне кажется, что такой реминисценцией были наши детские битвы в Лозанне в начале нашего путешествия. Огорчение, которое я испытала, когда маленькая американка Сесиль, которая мне очень нравилась, внезапно и без всякого повода вместе с двумя мальчиками начала со мной враждовать и повела против меня войну, мое мужественное сопротивление, когда они меня взяли в плен и, связав, вели в беседку, отчаянная борьба против трех детей сильнее меня, когда я все-таки вырвалась на свободу, печаль, которую я испытывала, когда мы – я и несколько друзей – одержали над ними победу: тюлевая шляпка Сесили плавала в фонтане – все эти чувства, в которых не было мелочной антипатии, а только рыцарская честь, принадлежали другой эпохе.

Моя мать, которая в Москве ничем не занималась и много болела, за границей живо заинтересовалась общественными заведениями для детей. В Париже она посещала детские приюты и школы. С такими же учреждениями она хотела познакомиться в Брюсселе.

Поэтому с побережья Северного моря мы поехали в Брюссель. Здесь к нам присоединилась одна молодая русская. Несмотря на свое дворянское происхождение, она была анархисткой. По ее совету я несколько месяцев посещала в Брюсселе «свободную школу», называемую так в отличие от католических школ. Две дочери известного социалиста профессора Дегрефа, нашего соседа, старше меня, тоже учились в этой школе. Они внушили мне некоторые революционные идеи. Но революция уже жила во мне самой. Мама хотела меня и брата воспитать в духе православия. Раз в неделю, по воскресеньям, она занималась с нами, заставляя учить русские молитвы. Ее агрессивная требовательность вызывала во мне потребность защититься. Я была религиозна, но сомневалась в необходимости церкви. Одна, в бессонные ночные часы, я сочинила некое «исповедание» и записала на листочке свои «тезисы»: «Церковь не нужна (под церковью я понимала культовое здание). Вся природа – Божий храм, а естествознание – богослужение. Священники не нужны, потому что перед Богом все равны. Молитвы учить не нужно, потому что каждый должен обращаться к Богу на своем языке. Или нет никаких чудес, или каждый цветок, каждый кристалл есть чудо».

Этот листок, мелко сложенный, я хранила в кармане черного халатика, который все бельгийские школьницы носят поверх платья, и он жег меня. Я думала, что моя «декларация», которую я хотела сообщить матери, будет для нее ужасным ударом; поэтому я отложила этот шаг до ее возвращения из Москвы, куда она собиралась съездить. Возвратившись, она в первый же вечер с большим воодушевлением рассказала нам о встрече с одной сельской учительницей, большой идеалисткой, описала ее жизнь, полную жертв и лишений, и подробно передала нам ее урок по религиозному обучению, на котором она сама присутствовала – учительница объясняла детям «Отче наш». И во мне вдруг осветилось существо этой молитвы, и существо молитвы вообще, и существо церкви, которая есть не только физическое здание, но невидимое здание человеческих душ как на небе, так и на земле. Я пошла наверх в свою комнату и торжественно сожгла свои «тезисы» в печке.

До сих пор меня больше всего интересовали природа и природоведение. Отец, посетивший нас в Париже, подарил нам микроскоп, очень хороший микроскоп Шевалье. Мы несли нашу покупку домой в торжественном настроении. Мне казалось: теперь-то уж никакие тайны природы от нас не скроются!

Я охотно рисовала, но картины, которые я тогда часто видела в Лувре, интересовали меня только со стороны содержания. Когда же мадемуазель Вилькен при первом взгляде на картину определяла ее

происхождение, называла автора или школу, а я, проверяя по «Бедкеру», убеждалась, что она права, это казалось мне каким-то волшебством. Но этой весной во мне пробудилось понимание искусства. Это началось в Брюгге. Там я восхитилась Мемлингом и пыталась скопировать одухотворенную фигуру св. Екатерины. А в Голландии меня пленило искусство Рембрандта, особенно его «Ночной дозор». Как неузнаваемы они стали теперь после реставрации! Восхищаясь игрой света и тени на предметах и вспышками красок, я уже приближалась к сфере искусства.

Затем — переезд в Италию. В Милане, где мы встретились с отцом, мы видели «Тайную вечерю» Леонардо, какой она была до реставрации. Картина вся как будто только дуновение, как будто лишь слегка расцветчена цветной пылью с крыльев бабочки, и тем не менее — какая мощь жизни, какое движение в группах апостолов! Позднее, после подновления, я уже этой жизни в ней больше не увидела. Во Флоренции, где мы жили на вилле, окруженной белыми и желтыми розами, недалеко от парка Кассино, у меня было чувство вновь обретенной родины. Краски флорентийского неба, мост через Арно, площадь Синьории, названия, которые я слышала, картины и статуи, которые я видела, — все говорило со мной на родном языке. Наши уроки тем временем шли своим порядком, только Китти диктовала нам биографию Рафаэля, а по вечерам читались исторические романы, где выступали Савонарола и другие флорентийские персонажи. Главное впечатление, запомнившееся мне тогда во Флоренции и даже вообще в Италии, — Рафаэль. Я могла часами погружаться в его образы, прослеживая жесты и движения его фигур, как бы озаренных золотом закатного солнца. Солнце душевной жизни, открывавшееся через эти образы, проникало во все мое существо, вплоть до самой крови, как могучий поток жизни. И какие впечатления поднимались в душе ребенка в Риме при созерцании «Диспута»! — впечатления, переживавшиеся почти как мысли, которые я пыталась разгадать, — мысли о взаимопроникновении разных миров.

Позднее, в субъективных настроениях юности, Рафаэль уже мало что мне говорил. Он был для меня слишком величественным, слишком всеобщим; и душа только скользила по его «совершенству». Но еще позднее, уже в зрелые годы, я заново открыла его и поняла мое детское восхищение. И я поняла Германа Гримма, сказавшего, что в Рафаэле мы чувствуем «одну из четырех рек, текущих прямо из рая».

Рим, где мы жили в роскошном отеле на Пьяцца д'Испанья, еще походил тогда на Рим времен Гете, времен Гоголя и Александра

Иванова. Форум Романум и другие руины еще не были отделены от улиц решетками; они зарастали травой и плющом; многое еще надо было искать самим. Простой народ ходил в национальных одеждах, а простенькие овощные лавочки и рынки были великолепны в своей пышной красочности. Я зарисовывала в альбом руины, римские типы, головы императоров и трибунов в Капитолийском музее. Старый друг тети Саши, старомодный миниатюрист Риццони, водил нас по городу; с ним мы побывали в тавернах, где собирались художники, в мастерских известных тогда художников, а также в Гетто. Это посещение явилось для меня сильнейшим из всех впечатлений Рима. Внезапно мы очутились в мире, который меня так испугал, что сначала я даже не хотела идти дальше. Улица, увешанная вдоль и поперек рваным бельем, по ней течет вода, грязная, как клоака. Ноги скользят, запутываясь в шелухе, чесночных обрезках, рыбьих костях и всевозможных нечистотах. Из темных дверей выглядывают темноглазые старики, их волосы свисают из-под покрывала. Кудрявые, изумительно красивые, полуголые дети играют тут же. Из глаз старцев смотрела на меня самая древняя мудрость.

Лица людей заставляли забывать грязь и гвалт этого ада. Я видела девушек с совершенно красными или сине-черными пышными кудрями и сияющей, как лунный свет, кожей. Как тонко вырезаны формы орлиного носа, как великолепны ресницы и темные глаза! Такой красоты я еще никогда не видела. За всем убожеством обстановки в этих пестрых лохмотьях угадывался царственный, даже божественный род, от которого прямо происходили эти люди и который напечатлел им свои формы.

Еще одна незабываемая картина. В Рим приехали паломники из Испании. Они привезли реликвии испанского святого, которого папа должен был канонизировать. Папа Лев XIII, вообще никогда не показывавшийся, по этому случаю служил мессу в соборе св. Петра. Брат портье из нашего отеля состоял в папской гвардии. Поэтому мы могли попасть в собор и стать близко от того места, где проносили папу. Теснота была такая, что мой маленький брат был бы раздавлен, если бы стоявший рядом священник не взял его на руки. Когда папу проносили из Ватикана в собор, ликующие крики народа походили на нарастающий морской прибой. Волны криков, сначала далекие, постепенно приближались и заполняли все пространство собора. Я увидела над собой умное, тонкое, прозрачное, будто вырезанное из слоновой кости, лицо папы и его благословляющую руку с аметистовым перстнем. Он походил почти на мумию. Необузданный фанатизм, экстаз народа, особенно испанок, которые, казалось, в каком-то иступлении раздавали направо-налево

пинки ногами, привели меня в ужас. Мы все вышли из собора и со ступенек лестницы смотрели на великолепную площадь; оживленная пестрой толпой, она казалась много больше и величественнее, чем обычно. Испанские паломники прямо-таки преследовали нас при посещении церквей и катакомб. Я по-настоящему боялась их, когда они ногтями выцарапывали кусочки мозаики из колонн или терли свои одежды о какие-нибудь святыни. Через много лет я встретила тут же в Риме русских богомольцев, возвращающихся из Иерусалима, простых крестьян, которых я водила по святым местам Вечного Города. У них царил совсем другой дух.

Из впечатлений искусства главным было теперь для меня посещение Сикстинской Капеллы. Всеми своими произведениями Микеланджело повергал меня в удивительное состояние: будто буря проносилась в душе, будто вокруг этих творений жило еще что-то нераскрытое, как зерно, жаждущее воплощения. Особенно ярко я ощутила это, когда при вторичном посещении Флоренции на обратном пути я рассматривала незаконченные произведения и эскизы Микеланджело, хранящиеся в его доме.

На лугах вокруг Фирвальдштетского озера цвели большие палевые примулы, когда мы вернулись из Италии. Теперь я занималась исключительно живописью. Я задумала написать большую картину: видение пророка Исаяи. Моя младшая кузина должна была мне позировать и для пророка, и для ангела, и для Бога Саваофа. Также и позднее ей приходилось стоять, сидеть, лежать, ползать и даже почти летать, одним словом – позировать мне во всех возможных и невозможных положениях. Она выполняла все с величайшим терпением. Ангел держал каменные щипцы с куском угля, которым он должен был коснуться уст пророка. На этих щипцах моя картина и потерпела крушение: так безобразно пересекали они всю мою композицию!

После всех этих великих вещей казалось невозможным уже испытать еще нечто сильнее. И все же лето в Энгадине явилось как бы венцом всего нашего путешествия. Эта страна, где воздух напоен звоном бесчисленных стекающих струек ледяной воды, где в небе прямо за светом угадывается черная бездна, эта светоносная страна была мне тогда, и навсегда осталась, не географическим пространством, а неким состоянием сознания, чем-то, что может быть, в давние времена могли переживать паломники в Иерусалиме. Так ощутила я без слов тогда, так ощущала я всегда и позднее, когда я там бывала: бытие, действительность. Лиственницы уже пожелтели, когда мы возвращались на лошадях в Чиавенну, через Бергелль и ущелье Виа Мала.

Последним нашим обиталищем за границей был «Белый олень» в Дрездене. Там мы прожили несколько недель в отеле при санатории доктора Ламанна; от него мы почерпнули сведения о современных передовых взглядах в области питания и разумного образа жизни и привезли их домой, в том числе, например, питание почти без мяса. Перед нашим отъездом пришло известие о смерти царя Александра III. Как раз в этот вечер мы были в Дрезденской опере и впервые слушали Вагнеровского «Тангейзера». Но я считала себя обязанной печалиться о царе и думать только о нем. Так что от революционных идей, полученных в Бельгии, очевидно, мало что осталось. В Берлине помню только, что в пассаже мы рассматривали ослепительно освещенные искусственные бриллианты и что из-за музыки в большом зале варьете мы в нашем отеле никак не могли уснуть.

Затем была Варшава, с дядей Ваней и его двумя дочками, и наконец – Москва.

Странно в отечестве!

Можно себе представить, в каком состоянии взволнованного ожидания мы, дети, после столь богатых впечатлениями лет подъезжали к московскому вокзалу. Не менее заинтересованы были «заграничными детьми» и все наши родные, ожидавшие нас на перроне. Еще при встрече с маминими сестрами в Брюсселе я заметила, что в Москве не одобряют нашего иностранного воспитания. Издалека я тотчас же узнала бабушку и обоих дядей – Сергея и Алексея – и всех теток – Александру, Марию и Екатерину и недавно овдовевшую Татьяну, которую я не видела со времени раннего детства. Мне бросилось в глаза – какая она красивая! В вестибюле особняка, где мы должны были теперь жить, нас ждали Маша и остальная прислуга. Думаю, что самой счастливой из всех нас была Поля: наконец-то она вернулась в привычную обстановку и немедленно принялась за свою энергичную деятельность.

Наше новое жилище состояло из десяти хороших солнечных комнат. Мы узнавали ковры, мебель и другие предметы из нашего старого дома. Все было такое родное! С удивлением увидела я на обеденном столе черный горшок с гречневой кашей, как ее готовят крестьяне в русской печи. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это – торт, патриотический символ, изготовленный тетями к нашему приезду. Настроение у всех было радостное и шутовское. «Мы все здесь рассмотрим и обсудим», – сказала я задорно. «У нас не

критикуют, а стараются сделать хорошее», – был ответ. Это сказала тетя Катя, высокая, стройная, царственно красивая. В ней я чувствовала больше всего ласкового внимания к нам. Очень иронично была настроена тетя Саша, писательница.

Улица, где мы теперь поселились, находилась в старом аристократическом квартале Москвы. В большинстве здесь были дома начала прошлого столетия в стиле ампир, который в России получил такое своеобразное, можно сказать, уникальное развитие и так гармонично вписался в русский пейзаж. Эти дома, серые, белые или желтоватые, с колоннами, были по большей части окружены боковыми флигелями, хозяйственными постройками, садами, даже парками, подобно деревенским помещичьим усадьбам. Поэтому вся эта улица – длинная и широкая – вместе с другими параллельными улицами и целым лабиринтом переулков и небольших площадок между ними была овеяна духом патриархальности. Старые деревья, для которых в заборах выпиливали большие отверстия, осеняли эти улочки своими мощными кронами. Весной здесь одуряюще пахло травой, березами, тополями и сиренью. Множество церквей и церквешек с синими, серебряными, усеянными звездами, или золотыми куполами – «луковками» и старинными колокольнями обрастали кустарником. В голубых зимних сумерках за сводчатыми низкими оконцами огоньки свечек мерцали поверх снежных сугробов сквозь заснеженные ветки кустов. Каждая улица и переулок, каждый дом и домик имели свое лицо; любая собака, ворона, воробей, казалось, совсем иначе наслаждались жизнью, чем на Западе. Все было оживленнее, удивительней. И прежде всего, конечно, люди.

Наша улица – Пречистенка – поднималась в гору с востока на запад. Здесь находились здание Генерального штаба, коричневое с белыми колоннами, и старинное красно-оранжевое здание пожарной части с каланчой; по соседству с нашим домом помещался «Институт благородных девиц», учрежденный еще императрицей Екатериной. Я видела бедняжек, когда их парами, длинной змеей выводили на прогулку в старомодных платьях и шляпках; такие фасоны носили сто лет назад, а теперь они выглядели ужасно смешно и безобразно. Эти институты ставили своей целью как можно дольше держать девочек вдали от света; идеи Руссо понимались здесь очень своеобразно. На моем окне стояла анатомическая гипсовая фигура для изучения мускулов; директриса института прислала нам сказать, чтобы мы убрали с окошка эту фигуру: молодым девушкам не подобает видеть такие вещи.

На этой улице часто встречались студенты в форме, с блестящими пуговицами и голубыми воротниками, по дороге от Университе-

та к клиникам на Девичьем поле. В каждом я готова была видеть Александра Герцена, Бакунина или героя романов Тургенева.

Нередко также можно было встретить старика с развевающейся бородой, в крестьянской одежде, с круглой шапкой на голове; из-под кустистых бровей смотрели небольшие серые пронзительные глаза. Это был Лев Толстой. Дом его находился поблизости. Позднее я познакомилась с ним лично.

Чем дальше к западу, тем дома становились меньше, а заборы все длиннее; затем начинался целый квартал громадных зданий новых университетских клиник; в то время они считались образцовыми и передовыми по всей Европе. Так как клиники служили научным целям, пациентов принимали туда бесплатно. В сравнении со слабым и теплым светом газовых фонарей на улицах мертвый, холодный и резкий электрический свет, лившийся из этих громадных окон, производил на меня впечатление какого-то кошмара – вроде того ледяного ада, который я когда-то, в свои четыре года, открыла внутри кукольной жестяной плиты. Здесь я видела его снова, подавляющим и вместе зачаровывающим. Территория клиник переходила в широкую улицу; застроенная маленькими деревянными домиками, она приводила на широкий луг. По другую сторону луга, на краю обрыва возвышались белые стены знаменитого в русской истории Новодевичьего монастыря с его массивными, зубчатыми, увенчанными красным кирпичом угловыми башнями и величественным куполом собора. Огибая высокие монастырские стены справа, можно пройти по дорожке, обсаженной ивами, по берегу пруда; открывается обширная равнина – подмосковные огороды, до самых Воробьевых гор. Этот монастырь и эти «горы» – собственно говоря, не настоящие горы, а лишь образованные Москвой-рекой песчаные холмы – играли важную роль в жизни многих русских.

Местности, которые мы видим, дороги, по которым проходим, – не принадлежат ли нам по велению судьбы, приготовленные духом и для духа? Не потому ли они для нас так святы, так родственны душе, так интимно связаны с нашим существом, овевая какой-то глубокой изначальной памятью?

С востока наша улица начиналась обширной площадью, где на высоком берегу Москвы-реки стоял храм Христа Спасителя, позднее взорванный большевиками. Громадное пышное здание с золотым куполом и беломраморными рельефами стен. Отсюда открывался великолепный вид на зубчатые стены Кремля, зеленые остроконечные кровли его древних башен и множество золотых куполов; в лучах заходящего солнца они пламенели, как горящие свечи.

Столь же пестрым и живописным был отсюда вид на противоположную сторону реки, на всю заречную часть города.

Первый наш визит – на следующий же день по приезде – был нанесен бабушке. Ее умные живые глаза смотрели на меня испытующе. Я была тогда необычайно велика для своих тринадцати лет и выщипывая белокурые волосы носила распущенными, не заплетая в косы, что ей, вероятно, казалось странным. Сама она нисколько не изменилась. И дом ее был все тот же, только он показался мне теперь меньше, чем прежде. И пахло в каждой комнате и каждом коридоре, как и прежде, по-разному, и все старомодные предметы обстановки стояли на тех же местах. Только в большой низкой столовой я увидела в углу новую превосходную копию статуи Гермеса Праксителя, а на стене – большую репродукцию портрета папы Юлия II Веласкеса. В нижнем этаже две низенькие комнаты занимала тетя Саша. В ее рабочем кабинете висели хорошие подлинники – ландшафты и жанровые картины, а шкафы здесь, как и в прилегающем коридоре, были заполнены книгами в очень красивых переплетах. Эти переплеты она сама выбирала и заказывала с большим вкусом и любовью. Ее библиотека по истории искусства и литературы была очень богата. Позднее, в начале революции, прежде чем у нее было отнято все ее состояние, она имела еще время все свое книжное собрание передать в дар Союзу писателей и этим спасти его от разгрома. Александра получила такое же основательное образование, как и все бабушкины дочери, но она его еще углубила и расширила систематическими занятиями – единственная из всех десяти детей. Без наставников, без руководства она шла своим духовным путем самостоятельно и одиноко. Благодаря этому она смогла помочь матери и заменить ей умершего мужа. Она осталась с ней, пожертвовав своей личной жизнью, и служила посредником между нею – женщиной хотя и очень умной, но необразованной и невыдержанной – и требованиями современной жизни. Она помогла ей в воспитании младших братьев и сестер и в ведении дел. Слабость физических сил, вызывавшую некоторую нервозность и раздражительность, она стремилась уравновесить строго упорядоченным образом жизни. Ее литературно-критические очерки и книги по стилю и содержанию были написаны мужской рукой. Она принадлежала к тому поколению, которое, несмотря на свой позитивизм и скептицизм, обладало высокой моралью и именно поэтому отличалось особой самоотверженностью. У нее были тонкие черты лица, но она не была так красива, как другие сестры; высокий лоб свидетельствовал о преобладании рассудка, губы – очень узкие, иногда искривленные нервозностью; во взгляде серых глаз были серьезность и юмор,

она могла быть очень резкой. Я бесконечно многим ей обязана, но тогда ее ирония, ее строгие требования основательности во всем были для моего фантастического и несколько претенциозного характера стеснительны. Я догадывалась втихомолку, что она не согласна с моей матерью в том, что касается нашего воспитания, и потому питала в душе некоторый неосознанный протест против нее.

На следующий же день после приезда возобновились и наши уроки с Китти. По утрам мы с братом ходили к ней. Жилище наших трех старых воспитательниц было темновато, но не лишено уюта. Ах, как интересна была для нас эта прогулка по кривым переулкам через Арбатскую площадь с рынком! Маленькая церковка, на внешней стороне которой была нарисована картина, изображающая святого Евстахия, коленопреклоненного перед оленем с крестом между рогами, не могла сравниться ни с какой другой церковью в мире. Громадные вязы, с обеих сторон затенявшие улицу, лепные античные медальоны на маленьких деревянных домиках, цветные стекла на их верандах – все это в большом городе производило неожиданное впечатление, возбуждало фантазию. На рыночной площади я видела простой народ – мой народ! Со скрипучих возов крестьяне продавали сено и кочанную капусту – в овчинных тулупах, в шапках, с завязанными наверху наушниками, с пестрыми рукавицами за поясом. У женщин на головах – большие пестрые платки. Ругани я там наслышалась такой, какой раньше никогда не слыхала. Заинтересованно я заглядывала в глаза всех прохожих и везде встречала такие же удивленные вопрошающие взгляды. Это было так непохоже на равнодушно деловые взгляды людей на Западе. Как будто каждый спрашивал: кто ты? И мой взгляд не мог просто скользить мимо, он крепко сцеплялся с другим. Многие в Москве казались нам удивительным и странным, но и мы, очевидно, производили впечатление чужаков.

Пестрое общество

Ежедневно по вечерам к нам приходил один из бабушкиных сыновей – дядя Сережа, высокий, прямо-таки классически красивый человек, черноволосый, с синими глазами, окаймленными темными ресницами. Его добродушие шло вровень с его умственной ограниченностью. Но он обладал удивительным даром прекрасного чтеца, поэтому он в церкви за богослужением читал Послания и псалмы, очень внятно и красиво; он читал ритмично, с той несентиментальной и внеличной проникновенно-

стью, которая характерна для культовой речи в России. Этой его способностью моя мать и хотела воспользоваться для нас. Может быть, она хотела также создать ему семейный уют и этим отвлечь от карт и ресторанных кутежей с цыганками. Каждый вечер он нам читал классические произведения – «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянги» и другие.

Его брат Алексей, такой же рослый и красивый, блондин, позднее совсем погиб от вина и цыганок. Их старшего брата Василия мы редко видели, так как он жил постоянно в своем имении; я очень им интересовалась. Мне сказали, что он живет по каким-то особым принципам. Но какие же это принципы? Он, например, не прикасался к деньгам, везде за него расплачивались слуги, свои густые волосы он стриг один раз в год и ждал затем, пока они снова вырастут до Зевсовой гривы, он ходил в сандалиях на босу ногу и носил странную круглую шапку, какую никто в мире никогда не носил. Он был по-церковному религиозен и интересовался переводами псалмов, но без какой бы то ни было руководящей идеи. Он был столь же умственно ограничен, как и его братья, но не обладал их юмором и добродушием; эти непритязательные люди постоянно рассказывали одни и те же анекдоты и при этом сами смеялись от всего сердца, так что и другие не могли не рассмеяться.

Младший брат Михаил избрал карьеру дипломата. Здоровьем он был гораздо слабее братьев, почти женственного сложения и легко краснел, что несомненно выдавало известную нервозность. Для меня он был тогда загадкой. Скрывалась ли за его легкомысленным, почти цинично выставляемым напоказ оппортунизмом все же какая-то более глубокая серьезная душевная жизнь – этого я не могла разгадать. От меня и от моих прямых глубокомысленных вопросов, тех, которые задают только очень юные особы, он защищался ироническими ответами. Он был очень находчив и остроумен, в совершенстве владел многими языками и, даже говоря по-русски, кокетничал легким английским акцентом. Вероятно, в дипломатических кругах он думал найти совершенные формы человеческого общения. Позднее он был атташе русского посольства в Стокгольме, Токио, Мюнхене и как раз ожидал назначения в Рим, когда революция застала его в Москве. Как дипломат старого режима, он попал в тюрьму, откуда ему удалось бежать за границу. Для благополучного существования ему необходимы были прочные устойчивые формы, и он был счастлив, найдя их в Инсбруке у иезуитов. В свои пятьдесят лет он сел за школьную скамью вместе с юными студентами теологии. Через несколько лет он умер в Инсбруке патером у иезуитов.

Надо упомянуть еще одну личность, призрачно мелькавшую в

бабушкином доме – тетю Шилу, дальнюю родственницу моего деда; бабушка взяла ее к себе, потому что она была немного ненормальна. Она носила смешной высокий чепец, возвышавшийся над ее низким лбом и делавший ее длинную сухопарую фигуру еще длинней. Лицо с розовыми щечками и выпуклыми глазами казалось маской. Она проходила по комнатам, будто проносимая ветром, шумя шелковыми юбками. Принимая визиты своих бедных родственников, она обращалась с ними весьма высокомерно, тогда как бабушка всегда относилась к ним уважительно.

По воскресеньям у бабушки в большой низкой столовой собирались к чаю родственники и знакомые. Подавались великолепные торты и печенья домашнего изготовления. В конце длинного стола за самоваром сидела веселая грациозная тетя Мария, в том же году вышедшая замуж за князя Волконского. За границей у нас почти не было знакомых, я изголодалась по людям, а гостей, посещавших бабушкин дом, нельзя отнести к числу посредственностей. Постоянным посетителем был знаменитый адвокат князь Александр Иванович Урусов, прекрасный представитель старой дворянской культуры. Высокий, немного слишком по моде одетый – и это не очень-то гармонировало с его сединами. Позднее я часто бывала у него в доме, и он показывал мне свою обширную библиотеку, где к каждой книге прилагались рецензии, заметки, газетные вырезки и т. п. В шкафах хранились также реликвии его дружбы со знаменитыми артистками, коллекции их фотографий и писем, программы, газетные отзывы, засушенные цветы, перчатки, ленточки и т. п. Также и его интимной дружбе с великой Элеонорой Дузе был здесь воздвигнут памятник. Я рассматривала у него целое собрание фотографий великой артистки с юности до ее последних лет. Во все области жизни, которой он широко пользовался, он умел вносить свой стиль. Он был известен как знаток французской литературы и пропагандировал в России Флобера и Бодлера, мастерски читая их произведения. «Lisez Flaubert»* – такую надпись он хотел бы видеть на своей могиле, сказал он как-то. Бабушка, не понимавшая по-французски, оставалась при этих чтениях за столом, а также и тетя Шилова, которая тотчас же задремывала, а затем испуганно вскидывала голову, быстро и часто крестилась и бормотала молитву, так как ей представлялось, что она заснула в церкви при чтении Посланий.

Молодой талантливый архитектор Дурнов, с огненными, мрачными, слегка монгольскими глазами, кривой усмешкой темных губ и едкими сарказмами, казался мне «демонической натурой». Я

* Читайте Флобера (фр.).

чувствовала, что душа его в глубине раскола. Его огромное честолюбие – он происходил из необеспеченной семьи и «делал карьеру» архитектора – и страстность натуры сталкивались с большими и оригинальными идеями. Он приходил также и к нам, интересовался моей живописью, а когда в Клубе художников читал свой реферат о современной живописи, пригласил также и нас. Если князь Урусов и Дурнов встречались у моих теток, начинался ослепительный турнир остроумных идей. Однако и несколько скучных академиков и профессоров искусств и литературы, собратья моей тети Александры Алексеевны, со своими женами, и некоторые писательницы появлялись на этих воскресных чаепитиях. Они были исполнены сознания своей значительности и иногда в их отношении к Александре можно было почувствовать оттенок недоброжелательства, потому что она – состоятельная буржуазка – возвысилась до ранга интеллигенции. Но она отнюдь не была дилетантом. За свои литературные труды она была принята в Общество любителей русской словесности, что можно приравнять к приему в Академию. Отношение коллег к себе она воспринимала юмористически.

Из наших прежних знакомых бывал у нас только молодой офицер Красовский. Он проводил у нас все вечера и был очень предан нашему семейству. Скоро мы заметили, что он любит мою младшую кузину.

Нюша (ласкательное имя от Анна, Аннушка) было тогда семнадцать лет. Ее темно-серые, очень большие лучистые глаза доверчиво смотрели на мир. У обеих сестер были очень красивые густые брови – «соболиные», как их называют в России, считающиеся принадлежностью русской красоты. Старшая сестра Елизавета – высокого роста, у нее «орлиный» нос и очень маленький рот. Нюша – среднего роста, с мягкими чертами лица и по-восточному медлительными движениями, еще медлительнее была ее речь. У нее был милый курносый носик и красиво очерченный рот. С обилием своих великолепных каштановых волос она никогда не могла справиться и закручивала их гладким спиральным узлом. Как раз тогда она начала брать уроки пения. Ни у кого я больше не слышала такого милого теплого голоса. Один из друзей сказал однажды: «Если человек может так петь, зачем ему говорить?» Действительно, при чужих Нюша почти не говорила. Были люди, годами у нас бывавшие и вряд ли слышавшие от нее хоть слово. Она молча сидела за самоваром и разливала чай. Но когда мы были одни, она могла быть очень веселой и прекрасно рассказывала. На маскараде, на сцене, при представлении шарад, под гримом она внезапно раскрывалась и обнаруживала незаурядное комическое дарование. Ее флегма меня

иногда досаждала. Мы жили с ней в одной комнате, и перед сном я болтала о всевозможных вопросах и впечатлениях, меня волновавших, и хотела знать ее мнение, потому что она в своих суждениях была чрезвычайно справедлива. «Как ты считаешь, Ньюша? Что ты об этом думаешь?» Следовало молчание. Оно длилось долго, я думала, что она уже спит. И слышала через десять минут: «Я, право, не знаю». Но если она что-нибудь знала, то знала твердо. На ее слова можно было положиться, это были весомые слова.

Для нас обеих мама пригласила учителя литературы Лебедева. Он преподавал в Кадетском корпусе, ходил в форме с красным воротником и золотыми пуговицами и со своей окладистой бородой выглядел очень внушительно. Но говорил он невнятно, запинаясь, повторялся и нельзя было понять, к чему он клонит. Из своей библиотеки он приносил нам для прочтения очень толстые книги. Ксенофонт, Цезарь, Тацит и другие античные авторы в переводах месяцами лежали на моем столе. Я их не читала. Он этого и не требовал, и не спрашивал о прочитанном. Но некоторые из его книг я читала с восторгом – древние индийские драмы, греческие трагедии и Данте. В его преподавании не было заметно никакого плана. Так, кратко коснувшись Данте, он на целую зиму задержал нас на Боккаччо. Помню, как приступы кашля одолевали то меня, то Ньюшу, когда нам на уроке приходилось читать «Декамерон». Тогда наш профессор брал книгу и в полнейшем душевном спокойствии дочитывал новеллу. Я думаю, что он был не совсем нормален. Как могла мама часами говорить с ним о нашем воспитании? Вероятно, потому, что он с ней во всем соглашался.

Большую роль в моей тогдашней жизни играла Надежда Ивановна Авенариус, подруга юности моей матери, полурусская, полунемка. Она вышла замуж за вдовца, после его смерти осталась маленькая дочка от первого брака, болезненный ребенок моего возраста. Мачеха воспитывала ее с величайшей любовью. Чтобы ее Надя не росла в одиночестве, она взяла на воспитание вторую девочку, ее ровесницу – тоже Надю. Чтобы их отличать, она звала свою Надю Надюшей. Мы все вместе брали у того же Лебедева уроки истории. На этих уроках было больше порядка, чем на уроках литературы, потому что Надежда Ивановна всегда сама на них присутствовала. К тому же у нас был хороший учебник, и мы по очереди писали сочинения по истории. Так как Авенариусы жили на другом конце Москвы, уроки происходили поочередно у них и у нас. Хотя тогда обе девочки мало меня интересовали, мне очень нравился этот добропорядочный дом. Его хозяйку, с ее самоотверженностью, трез-

вой рассудительностью, последовательностью ясных обдуманых суждений, — хотя они и казались мне часто очень уж буржуазными, — я уважала сначала бессознательно, а затем вполне сознательно. С глубокой благодарностью я вспоминаю эту пожилую добрую женщину. Она меня любила, несмотря на мою склонность к фантастике, чуждую ее характеру, и старалась мне помочь. Ее неправильное лошадиное лицо с выдающейся вперед челюстью и маленькими, темными, добрыми глазками казалось мне красивым, и я прощала ей — только ей одной — недостаточное понимание изобразительных искусств и литературы. После урока мы все вместе ужинали, а затем Надежда Ивановна собирала нас у рояля и мы пели русские народные песни; их медленные печальные мелодии внезапно сменяются бешеным задорным припевом. Здесь моей души глубоко коснулся дух, живущий в моем народе. Этот дух народа встречал меня также в самом облике города Москвы.

С Терентием по Москве

До дома Авенариусов надо было ехать через весь город. От нашей патриархально аристократической Пречистенки, мимо храма Христа Спасителя и нескольких старых, ценных в архитектурном отношении особняков выезжаем к великолепному зданию Румянцевского музея, этой святыне, сияющей на поросшем кустами холме, подобно Акрополю. Я называю его святыней, имея в виду не только удивительную гармоничность архитектурных форм, но и то, что это здание в себе хранило и духовно излучало. Ибо здесь находилась богатейшая, с любовью собираемая и с любовью хранимая Государственная библиотека. В большом читальном зале с двумя рядами окон я испытывала всегда чувство благоговения, как бы священнодействия. Позднее в вестибюле висел портрет умершего сотрудника музея Николая Федорова. На своей скромной должности библиотекаря он, благодаря своим обширным и разнообразным познаниям, бесконечно много сделал для обогащения этого книжного сокровища. Заметив в читальном зале серьезно работающего посетителя, он подходил к нему и всячески старался помочь. Он подыскивал ему нужные книги, вводил его в курс своих занятий и постепенно становился его духовным советчиком. Заметив, что его подопечный нуждается, — а много студентов тогда в России жили впроголодь, — он помогал ему из своего небольшого заработка. Он написал книгу «Общее дело». Основная его идея в том, что все мысли людей, стремящихся к познанию

истины, дополняя друг друга, созидают *Corpus Christi Mysticum*, * строят невидимую Церковь. Он был душой этого дома. Однажды в библиотеку пришел Толстой (это было позднее, в дни моей юности, когда Толстой был уже очень стар). Позвали Николая Федоровича, потому что он лучше всех мог дать нужные сведения. Осмотрев библиотеку, Толстой сказал: «Все-таки это только бесполезный хлам». Федоров, оскорбленный в своих священных убеждениях, воскликнул: «Старый дурак!» – и вышел из зала. Толстой, сожалея, что обидел человека, пошел к нему на квартиру просить прощения, но так и не был им принят. В красивых солнечных залах музея, кроме этнографических коллекций, хранилось небольшое, но ценнейшее собрание картин старых русских художников. Грандиозная картина Александра Иванова «Явление Христа народу» занимала целую стену первого зала. Я приветствовала это любимое здание снаружи, проезжая в коляске; но я приветствую его также и теперь, духовно, ибо и по сей день его свет озаряет мою жизнь. И если бы даже бомба уничтожила это здание, архитектуру которого можно, следуя Платону, назвать геометризованным божеством, осталось бы в целости духовное здание, субстанция которого соткана светлой волей и вечными идеями множества людей. Никакие силы не могут разрушить то, что раз возникло из самоотверженной любви. Оно войдет в вечную субстанцию духовного строительства нашей Земли.

Но едем дальше, мимо здания Государственного архива, просвечивающего сквозь деревья окружающего его сада. Белое, выстроенное в готическом стиле, оно в России выглядит невероятно романтично. Справа появляется «златоглавый» Кремль, а слева нас сопровождает ряд старых и новых оранжевых зданий Университета. Во дворе – памятник основателю Университета, поэту и ученому Михаилу Ломоносову, крестьянскому сыну, пешком и без гроша в кармане пришедшему некогда с берегов Белого моря в столицу учиться, а впоследствии не только основавшему Университет в Москве, Академию художеств в Петербурге и ряд других научных учреждений, но и написавшему первую грамматику русского языка. Проезжая мимо этих зданий, невольно вспоминаешь выдающихся людей, здесь учившихся и учивших. В большинстве это были борцы за свободу духа в эпоху страха и всеобщего застоя. Во времена моей юности здесь читали лекции историк Ключевский, геолог Вернадский, получивший теперь мировую известность, философ Владимир Соловьев.

* Мистическое тело Христово (лат.).

В Университете учились и бедняки, зарабатывавшие пропитание уроками и не каждый день позволявшие себе роскошь съесть горячий обед. Университет был душой Москвы, а учащаяся молодежь — ее совестью. Для моего времени характерно противоречие между идеалистическими социальными стремлениями молодежи, которые она вносила в университетскую жизнь и которые жили в их сердцах как действенная сила, и теми идеями, которые они получали от материалистических наук и социальных учений. Эта молодежь должна была мучительно искать и пролагать свой путь между мертвящими реакционными тенденциями царского самодержавия и служащей ему православной церкви и столь же мертвящими материалистическими тенденциями либералов.

По другую сторону улицы, напротив Университета, тянулось необычайно длинное здание — Манеж, предназначенный для верховой езды и для народных гуляний. В этот манеж полиция и казаки загоняли студентов — участников нелегальных собраний (всякие собрания были запрещены). Их там держали под стражей, а затем рассылали по тюрьмам. Очень удобно, что Манеж находился рядом с Университетом — символ российской действительности!

Едем дальше, по длинной прямоугольной площади, так называемому Охотному ряду, где в маленьких лавочках продавали мясо, дичь, рыбу, овощи. Владельцы этих лавочек, богатые и совершенно необразованные люди, составляли партию сторонников царского самодержавия — так называемую «черную сотню». Эти «истинно русские люди», как они себя называли, инстинктивно чувствовали, что душе русского народа угрожает опасность от политического масонства, материалистической науки и западных социальных учений. Но в своем темном сознании они не находили иных способов борьбы, кроме ненависти и преследования интеллигенции, еврейских погромов и фанатичного утверждения политизированной православной церкви. Я и теперь еще вижу перед собой этих могучих людей — толстые животы, дремучие бороды, потные красные лица; во время крестного хода они несут тяжелейшие блистающие хоругви, шатаясь под их многопудовой тяжестью. В Охотном ряду стояла небольшая церковка, и я помню жуткое чувство, охватившее меня, когда я как-то поздно вечером ехала из театра домой и увидела этих людей, собравшихся у церкви для ночного молебна. Это означало политическую демонстрацию. И в те же дни где-нибудь в провинции разражался погром.

В конце Охотного ряда на углу Большой Дмитровки стояло красивое здание Благородного Собранин в стиле ампир. Там же давались и симфонические концерты. Я не знаю концертного зала

красивее этого белого Колонного зала Московского Благородного Собрания. Особенно памятно мне настроение утренних генеральных репетиций, когда слабый дневной свет, проникающий через окна на хорах, вместе со светом свечей, горевших в люстре, казался совсем голубым. Белизна залы и колонн в этом двойном свете мерцала таинственно. Эта белизна в двойном освещении – всюду, где она мне встречалась, на снегу или в цветущих белых азиях – давала мне чувство присутствия духовных существ. Не называются ли ангелы «Духами Сумерек»?

Не раз в этом зале я слушала концерты дирижера Артура Никиша. Я любила генеральные репетиции больше самих концертов, куда люди приходят не только ради музыки, но и для того, чтобы самим блеснуть. И действительно, упоительно было зрелище знаменитых московских красавиц, занимавших первые ряды в сопровождении своих тяжеловесных мужей и роя поклонников. Эти красавицы поистине выглядели сказочно в своих бриллиантовых и жемчужных уборах. А пока господа наслаждались музыкой, внизу в вестибюле ждали слуги, охранявшие драгоценные меховые шубы, запрятанные в полотняные мешки, на которых они нередко и засыпали. Кучера же, терпя зимнюю стужу, плясали, хлопая в ладоши, вокруг огромных костров, горевших по углам обширной Театральной площади.

Справа, между краснокирпичными зданиями в русском стиле – Историческим музеем и Городской Думой – находилась маленькая часовня чудотворной иконы Иверской Божьей Матери; здесь весь день толпились богомольцы. По ночам же святую икону возили из дома в дом в закрытой карете, запряженной четверкой лошадей, в сопровождении священнослужителей. Впереди скакал всадник с факелом. Кучера на козлах сидели без шапок и в сильный мороз обвязывали головы платками. Моя бабушка тоже раз в год принимала у себя святую икону ночью.

Далее наш путь ведет через Театральную площадь с импозантным зданием Большого оперного театра и Малым театром, где давались классические пьесы. Здесь проходит так называемая «Китайская стена» и начинается собственно настоящий, пестро оживленный деловой квартал Москвы. Здесь же помещались и знаменитые Сандуновские бани, по пышности убранства и по величине превосходящие римские бани Каракаллы. В громадном мраморном зале, в клубах пара видны голые фигуры, усердно растирающие себя сами или с помощью банщиц, на которых тоже нет ничего, кроме маленьких фартучков. В русских народных банях люди хлещутся березовыми вениками; их заготавливают летом, а под дей-

ствием горячего пара сухие листочки разбухают. Моя мать находила, что дома в ванне невозможно вымыться так, как в бане, и требовала, чтобы мы туда ездили. Для меня это было мукой. Я не знала до сих пор, что человеческое тело может быть таким безобразным – тощие и толстые ведьмы! Эту картину действительно можно сравнить с картиной ада. Приходит ли для нас после смерти время, когда человеческие души предстают друг другу без покровов? Тогда лишь узнаем мы самих себя во всем своем безобразии, чтобы от этого потрясения перейти к просветлению. В российской жизни нередко попадаются картины, как будто вынутые из будущего. И не видим ли мы в романах Достоевского такие сферы души, где люди предстают друг перед другом обнаженными?

Но едем дальше, через толкучку и хаос собственно торгового центра города. Древняя «Китайская стена», маленькие часовенки, небоскребы американского стиля, внушительные ампирные дома, изуродованные деловыми вывесками и объявлениями – все это, сливаясь, образует удивительный пестрый мир. Летом здесь царит неопикуемый грохот окованных железом колес по булыжной мостовой, путаница телег и экипажей, здесь из-за никак не регулируемого движения постоянно происходили столкновения и раздавалась неимоверная ругань; бесконечные вереницы «ломовиков» – грузовых телег, запряженных огромными битюгами, сопровождаемых дико орущими скифами, простые извозчицы пролетки с мохнатыми лошаденками, крестьянские телеги, легкие элегантные господские экипажи. И между людьми такие же контрасты: толстые самодовольные купцы, изысканно элегантные господа и оборванный, ожесточенный, униженный народ в нужде. Как часто приходилось видеть на улице безобразные сцены! Пьяница валился на тротуар, полицейский свистел, подзывая извозчика, чтобы отвезти его в участок; а извозчики – все в одинаковых длинных синих кафтанах – нахлестывали своих лошадок, спеша скрыться в переулок, избегая повинности, которую им никто не оплачивал. Вмиг они исчезали с улицы.

И часто меня охватывало жуткое чувство, что весь этот сумасшедший мир несется в бездну.

Больше порядка было на широкой Мясницкой улице, где находились внушительные здания Почтамта и Художественного училища, а напротив – маленькая церковка Фрола и Лавра, покровителей лошадей. В день празднования этих святых здесь можно было видеть множество нарядно убранных лошадей, приведенных для освящения. Около этой церковки была чайная, где по утрам в воскресенье собирались крестьяне и мастеровые различных духовных направле-

ний: члены разнообразных сект, староверы, атеисты, толстовцы и православные – любители поспорить по духовным вопросам. Позднее я вместе с братом посещала эти интересные сборища, пока полиция не запретила их. Бесконечно длинная улица приводила на площадь у Красных ворот. У знаменитой в русской истории церкви Трех Святителей наша коляска сворачивала в маленький тупичок, где в саду стояло тихое жилище Авенариусов. Здесь все упорядочено, по-буржуазному уютно: традиционные картины на стенах, коричневый кофейник на столе – душа чувствовала себя защищенной от хаоса. Скажу заранее, что эта домовитость и после революции долго сохраняла свою буржуазную упорядоченность, но позднее и этих милых людей настиг террор.

Предвестия

На Рождество мы вместе с семейством Авенариус задумали поехать на несколько дней в исторический монастырь Саввы Звенигородского, намереваясь покататься на лыжах. После долгого санного пути мы лишь к вечеру увидели белые монастырские стены и большой старинный собор; монументальное здание блестело в лунном свете, кругом густые ели, будто отлитые из серебра, вырисовывались на звездном небе. Мы вошли в собор, весь полный торжественным звучанием церковного хора. В теплом полусвете свечей мерцали живопись фресок и золото иконостаса.

Совсем рядом с монастырем располагалась монастырская гостиница. Эти гостиницы, в отличие от других гостиничных заведений в России, славились своей чистотой и особенно хорошим обильным столом. Монахи – большей частью искусные повара. Рыбу с Белого, Черного, Каспийского морей, с Волги и других рек и озер готовили в монастырях со знанием дела. Во время долгих постов нельзя есть мясо. Но что за рыбные супы и паштеты можно было там получить! Мы выбрали этот приют отнюдь не по аскетическим побуждениям.

На другой день брат заболел скарлатиной, мама осталась с ним в монастыре, а мы вернулись домой.

В верхнем этаже нашего дома была низенькая просторная комната, где по стенам стояли сундуки. Против окон висело большое зеркало. Сюда я убегала, когда на меня находило особо приподнятое или печальное настроение. Я исполняла фантастические танцы, декламировала стихи, пела. Однажды в зеркале против света я увидела лицо в золотом ореоле, два очень серьезных глаза пронзили меня вопросом: «Кто ты?» – «Это я; я – и во мне все возможности и

вся неотвратимость». Точно эти самые слова я себе тогда сказала. Эта мысль пронзила меня подобно молнии и потрясла меня. Кто-то, мне еще не ведомый, но уже определивший мой путь, смотрел из этих глаз. Я узнала: я несу свою судьбу в себе, я принесла ее с собой. Но в то же время я могу выбирать, могу также упускать возможности, могу ошибаться. Необходимость и свобода – и то и другое были во мне.

После этого переживания я и сквозь лица других людей вглядывалась в их существо, открывающееся как в их судьбе, так и в их свободе. Сначала несознательно, затем все сознательней ощущала я эту полярность; сначала только в сфере чувства, затем в самом жизненном поведении – своем и других людей.

В январе мне исполнилось тринадцать лет. Мама еще оставалась с больным братом в монастыре, и отец спросил меня, какого я хочу себе подарка. – «Бодлера, "Les fleurs du mal"»*, – ответила я. Добряк отправился в магазин и спросил эту книгу. Но в России она была запрещена, и он принес мне два других томика Бодлера: «Petits Poèmes en Prose»** и «Les Paradis artificiels»***. К этому последнему я осталась равнодушна, но маленькие «поэмы» скоро знала наизусть. Особенно нравились мне «Дары луны». Я сама в то время сочиняла свои собственные «поэмы в прозе», они приходили из какого-то мира, не имевшего ничего общего ни с моей внешней жизнью, ни с кругом моего чтения. Наступал момент, когда я чувствовала: вот есть нечто, что стремится обрести форму; я пыталась уловить это нечто в сознании, как пытаются удержать ускользающее сновидение. Являлись ритмы и образы из предчувствуемого целого, они складывались, дополняя друг друга. Это была трудная работа. Нередко время подходило к трем часам ночи, когда вещь была закончена и я знала ее наизусть. Тогда я спокойно засыпала и только утром записывала. Этот период от двенадцатого до пятнадцатого года наполнен для меня жизнью в таких вот образах, значение которых я только теперь понимаю. То же самое – и в живописи. Сначала живопись из фантазии казалась мне непозволительной дерзостью, потом я все же осмелилась. Помню, как однажды я до того поразила одной своей картиной, которая казалась мне удавшейся, потому что вполне соответствовала внутреннему образу, что ночью несколько раз вставала и со свечкой входила в соседнюю комнату, где стояла картина, чтобы удостовериться, что она мне не

* Цветы зла (фр.).

** Маленькие поэмы в прозе (фр.).

*** Искусственный рай (фр.).

приснилась. Тетя Катя и ее друзья художники находили мои произведения очень интересными, нисколько не забывая при этом об антипедагогическом действии похвал.

Впервые я сознательно встречала в России весну. Даже в городе ощущалось ее могучее волшебство. Влажная земля дышала, повсюду между камнями мостовой и на дворах пробивалась сочная травка. Как благоухала свежая листва берез – будто зеленокрылые ангелы кадили в их ветвях своим ладаном. И этот аромат смешивался с запахом ладана, изливавшимся из дверей всех церквей и церквушек: шел Великий пост.

На Страстной неделе мы говели и ходили на все службы в маленькую старинную церковку по соседству. Здесь всегда было полно простого народа и можно было почувствовать себя погруженной в ту атмосферу набожности, которая, вероятно, только в России была тогда еще по-настоящему живой. К исповеди, предшествующей причастию, мы поехали в церковь у Красных ворот, которую посещали также Авенариусы, потому что старик священник здесь был очень почитаем. В церкви тишина; ожидающие исповеди стоят длинной чередой перед ширмой, за которой священник исповедует каждого в отдельности. Иногда лишь под сводами церкви слышится глубокий вздох и тихий голос священника, произносящего разрешительную молитву. Помню, как передо мной будто пропасть разверзлась, когда последний стоящий впереди исчез за ширмой. О самой исповеди я мало что помню. Запомнилось, как священник накрыл мою голову епитрахилью, произнося разрешительную молитву. Мы ехали домой через весь город. В весенних сумерках в Москве газовые фонари становятся золотыми, а дома рисуются черными силуэтами на бледно-зеленом небе. Просторы неба внезапно раскрываются, устрашая и вместе с тем одаряя предвестиями. Что-то вибрирует в пространстве, пронизанном незримыми силами распускающихся почек. Прохлада овеивает влажные от умиления глаза, и нечто невидимое и бесконечно любимое совсем близко. Я повторяла слова священника: «Дух святой устроит природу. Через творение можно узнать Творца».

Впервые также я присутствовала на Пасхальном богослужении в ночь со Страстной Субботы на Воскресенье. Все в белых платьях мы пошли в одиннадцать часов вечера в нашу приходскую церковь. В полутьме слышен печальный хор – это женщины и ученики, ищущие Христа, оплакивают Его. Потом – полная тишина. Ждут первого удара колокола на колокольне Ивана Великого в Кремле. И тотчас же начинают звонить колокола всех «сорока сороков» церквей в Москве и окрестностях. Вокруг каждой церкви идет крестный

ход с хоругвями впереди, у всех в руках зажженные свечи. Колокольный звон так силен, что заглушает хор. Вдоль улиц и на колокольнях сияют разноцветные фонарики, так что становится совсем светло. Обойдя вокруг церкви и вернувшись к церковным дверям, священник находит их закрытыми. Церковь сейчас представляет собой «Гроб Господень». Священник стучит. Изнутри раздается «Христос Воскресе!» Ликующий хор подхватывает: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» Народ входит в церковь, ярко освещенную множеством свечей. Все приветствуют друг друга троекратным поцелуем со словами: «Христос Воскресе!» – и в ответ: «Воистину Воскресе!» Священник обходит алтари и открывает алтарные двери в знак того, что отныне человеку открыт доступ в духовный мир. Время от времени, обращаясь к народу, священник возглашает: «Христос Воскресе!» И, подобно гулу морскому, звучит в ответ: «Воистину Воскресе!» Думаю, что нет такого атеиста, который в этот миг не становился бы в сердце своем верующим.

В 1918 году, во время революции, был такой случай: на многолюдном антирелигиозном митинге старик священник под конец попросил слова. Ему не хотели давать. «Только два слова», – просил он. – «Ладно уж, скажите ваши два слова, но не больше», – насмешничал председатель. Священник взшел на кафедру и, обратясь к народу, провозгласил: «Христос Воскресе!» И будто из одной груди прозвучал многоголосый отклик: «Воистину Воскресе!» Старика сейчас же стащили и увели. Участь его легко себе представить.

Возвращаюсь к моей первой русской Пасхе.

После описанной ночной службы начинается Пасхальная литургия. Читаются первые стихи Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...». В кафедральных соборах это место читается на двенадцати языках, в обычных – на трех: греческом, славянском и русском. Сначала чтение слышится из глубины алтаря, затем оно выносится на амвон, под конец звучит в самой церкви. За этой литургией во время Пресуществления Даров священник молится о самоубийцах. Вообще во времена моей юности молитвы за души самоубийц в православной церкви запрещались, вероятно, потому, что демоны самоубийства опасны для живых. Но в ту ночь силы Света торжествуют победу. Под навесом, пристроенном снаружи к церковной стене, на столах разложены пасхи и куличи, украшенные красными бумажными розами и сахарными барашками. Рядом на тарелках – пестро окрашенные яйца и горящие свечки; вся картина в целом удивительно живописна. Яйца, куличи, пасхи приносят из дома – святить. Священник, одетый в эту ночь в облачения из золотой

парчи, обходит столы, окропляя их святой водой, и каждый уносит свое в узелке домой. У ворот церковной ограды поставлен большой стол, на нем каждый приходящий оставляет деньги, яйца, куски кулича или пасхи. Все это священник тотчас же раздает бедным.

Поздней ночью мы вернулись домой к обильному и нарядному пасхальному столу и я получила пасхальный подарок – книгу «Светило Азии» Эдвина Арнольда, переведенную моим дядей Иваном с английского. В немецком переводе Альбрехта Шеффера она называется «Das Kleinod im Lotos»*. В поэме пересказывается легенда о Будде. Я сейчас же начала читать, и книга захватила меня так, что я не могла не «протанцевать» ее через всю анфиладу комнат. Танец был моим прибежищем и в радости, и в горести.

В том же году моя мать вступила в Общество попечительства о бедных. Каждый член Общества добровольно брал на себя заботу о бедняках нескольких домов. Моя мать вкладывала в это дело много энергии. Она учредила также частное бесплатное посредническое бюро по найму труда. Это бюро сначала помещалось в маленьком глухом переулке, спускающемся к Москве-реке. Позднее это предприятие разрослось так, что московское городское управление взяло его в свое ведение. Общество учреждало также приюты для стариков и детей. Заседания нередко происходили в нашем доме. Мы, дети, наблюдали все это через полуоткрытую дверь, а потом передразнивали сентиментальные фразы элегантных дам. Нужда в России была отчаянная. Иногда мама посылала меня с разными поручениями, я приходила в темный подвал или ночлежку и видела, как живет обитателям нижних этажей нашего мира. Однажды к вечеру я шла по поручению мамы в посредническое бюро. Собиралась гроза. Ветер вздымал клубы пыли. В воздухе носился сильный запах тополей, четко рисующихся на фоне темной тучи. Моя розовая блузка раздувалась, волосы трепал ветер. Вдруг на перекрестке передо мной появился странник – старик в длинной белой рубашке. Я думала, что он хочет просить милостыню, но он только сказал: «Ты ищешь счастья вдали, а твое счастье рядом и страдает», – и пошел дальше.

Лето мы собирались провести в нашем имении Богдановщине между Вязьмой и Смоленском. Мы там никогда еще не были и с нетерпением ждали, когда же будет готов дом, который перестраивался.

Я хорошо помню настроение нашей тогдашней жизни в Москве. Как-то вдруг стало очень жарко и пыльно. Большие букеты сирени

* Драгоценность в лотосе (нем.).

стояли на столах. Подавалось ледяное кофе. Через большие открытые окна доносился грохот пролеток по булыжной мостовой, песни и ругань рабочих, ремонтирующих дома, а к вечеру – гармоника. Перед винным погребом на углу против нашего дома шатался расстриженный рыжий поп; пьяный, циничный, забывший всякое приличие, он плясал и пел частушки под ругань и насмешки прохожих.

В деревне

В наших учебных занятиях наступили каникулы, и мы каждый день ходили к Новодевичьему монастырю писать этюды. Предполагалось, что студент, дававший Алеше уроки латинского языка, вместе со своим братом-художником приедут на лето к нам в деревню. Это отвечало моим самым горячим желаниям.

Наконец перестройка дома продвинулась настолько, что в нем можно было жить. Поля с целым штатом кухарок и прачек вместе с лакеем Михайлой были посланы вперед, чтобы организовать хозяйство. Затем двинулись и мы: отец, Китти, обе кухни и я. Мама осталась пока в Москве, ухаживая за Алешей, выздоравливавшим после кори. Мы ехали целую ночь. На всех маленьких станциях поезд останавливался, и в полусне я слышала хоры соловьев, состязавшихся с хорами лягушек. В шесть часов утра, когда мы вышли на нашей маленькой станции, природа встретила нас таким праздничным убранством и чистотой, что душе, казалось, надо было расширяться, чтобы принять в себя это великолепие.

В лучах утреннего солнца сверкали озими и свежая листва берез; фиолетовая земля курилась. Тарантас ждал нас. Кучер – в синей рубашке и черной бархатной безрукавке, подпоясанный красным кушаком, его круглая шапка усажена павлиньими перьями. Тройка лошадей с колокольчиками под дугой коренника и бубенчиками на сбруе обеих пристяжек понесла нас по мягкой извилистой дороге среди невысоких холмов плоскогорья. Смарагдовые полосы зелени чередовались с черными полосами вспаханной земли. По сторонам развевались и синели в утреннем блеске необозримые дали. По пути встречалось мало деревень. Они состояли из двух рядов крытых соломой хижин, маленького прудика с утками и «журавля», т. е. колодца, над которым на скрипучих подвижных жердях висит ведро. Колокольчик нашей тройки привлекал белоголовых ребятишек, босых, в рваных белых или светло-розовых рубашонках. У

самых маленьких рубашонка едва покрывала вздутый животик. Личики некоторых ребят поражали ангелоподобной красотой.

Они мчались бегом, опережая экипаж, к деревенской околице, становились в ряд перед воротами и, пятась, открывали их. Женщины – в коротких синих домотканых сарафанах, окаймленных снизу красной или серебряной полосой, и подпоясанные кушаком, в белых вышитых рубахах шли с коромыслами на плечах, неся полные ведра воды. Меня восхищала их легкая ритмичная походка, когда голова остается совершенно спокойной. Кланяясь на ходу, они откидывали голову сначала назад, затем наклоняли вперед, что придавало их поклону своеобразную величавость. На полях пахали бородатые мужики.

Вдали от дороги виднелись отдельные группы могучих кленов и лип.

Через два часа показались, наконец, липы и березы нашей усадьбы. Лошади, описав полукруг по берегу пруда, вынесли нас через резные ворота на обширный луг, окруженный хозяйственными постройками. За вторыми воротами виднелся, синевя, еще пруд. Немолчный крик скворцов и галок в старых липах, пронизанное солнцем сияющее великолепие древесных крон, запахи земли, травы и листья опьяняли, завораживали. Дом, над старым нижним каменным этажом которого возвышалась теперь новая постройка из еловых бревен, стоял еще весь в лесах. Через нижние комнаты и террасу я выбежала в сад. Дорожка между старыми высокими кустами орешника повела меня вокруг всего сада. Ни одной цветочной клумбы не было среди травы. Старые яблони, похожие своими дуплистыми искривленными стволами на танцующие фигуры, стояли прямо в высокой траве со множеством луговых цветов. Сад не был огорожен. Над высокими стеблями болиголова и колокольчиков, между стволами деревьев виднелись волнистые поля, далекие синие леса и извивающиеся между ними белые проселочные дороги. В дальнем углу сада росла древняя липа, ее могучий ствол сдерживался широким железным кольцом. Ветки ее свисали до земли, образуя купол, вмещающий несколько человек. Стол из почерневших ветхих досок, сколоченный будто для великанов, стоял в этой сияющей смарагдовым светом зале.

Никогда я еще не видела таких могучих деревьев, какие были здесь, в нашем саду. Какая сказочная жизнь струилась, переливаясь, мерцая серебром и золотом, в тихом шорохе их вершин – струилась и в то же время оставалась на месте! Какие чуткие касания неустанно творили в их кронах многообразие облачно изменчивых форм! В этих богатырских стволах земля вздымала свою мощь к

небу. И прозрачная многослойная их листва на распахнутых крыльях ветвей принимала солнечный свет для земных глубин.

Я сидела на ветхой скамейке в конце аллеи, где стебли болиголова достигали высоты человеческого роста, между перламутровыми стволами берез – и была как бы в забытьи. Внезапно я почувствовала головокружение и вернулась в дом, в большую солнечную комнату на втором этаже, отведенную нам с Нюшей, и легла на свою кровать под белым тюлевым пологом. Все тело болело, меня знобило. Это была корь. Вперемежку с бредовыми фантазиями я слышала под окном стуки работающих плотников, крики скворцов. Рабочий, черноволосый, с четким красивым профилем, принес икону – лицо на темно-синей эмали – и повесил в углу на свежеструганной еловой стене. Я потеряла сознание.

Когда после болезни я снова могла встать, я прежде всего подошла к окнам. Внизу я видела обширный луг, перерезанный дорогой, ведущий от одних ворот к другим. С другой стороны, за серыми деревянными сараями, темнела группа старых лип с искусственно изогнутыми стволами, – вероятно, остаток парка XVIII века. Здесь когда-то стоял старый господский дом. Против нашего дома, за конюшней и домиком управляющего виднелась на краю обрыва деревня с маленькими избами и белой церковью с колокольней. Церковь и колокольня казались странно маленькими. Поля рассказала мне, что строитель этого здания из корысти выстроил его на аршин меньше, а когда оно было закончено, он от раскаяния повесился в той же церкви. Эта церковь, казалось, была отмечена темным знаменем. Старый священник, служивший в этом приходе еще до нас, сошел с ума. Три его, тоже душевнобольные, дочери еще жили в деревне, в церковном доме. Его преемник пил запоем и страдал манией преследования. Когда в конце обедни народ теснился вокруг, подходя к кресту, он бил этим крестом направо-налево, как будто обороняясь от врагов. Позднее, совершенно обезумев от пьянства, он грозился сжечь деревню. Я видела, как его, привязанного к телеге, отвозили в Вязьму. Он швырял свои пестрые подушки в орущую толпу.

А незадолго до нашего приезда как-то ночью церковь была ограблена. Я видела картину преступления: церковные облачения, священная утварь валялись на полу в лужах красного вина. И несмотря на все это, я нигде не переживала богослужения так сильно, как в этой церкви. Набожность народа, святость земли хранили чистоту священнодействия независимо от священника.

У въезда в деревню был трактир. Вечерами по воскресеньям перед ним на зеленом лугу у пруда двигался пестрый хоровод с

песнями – если можно назвать песней это странное речитативное кричание. Как летом квакают лягушки, поют птицы, насекомые издают те или иные звуки, включаясь ими в окружающий мир, так и эти люди взывали к небесам. Издалека я различала только: «Потеряла я колечко...». Было видно, как девушки и парни плясали в середине хоровода, причем женщины двигались плавно – «плыли, как лебеди», а мужчины метались вокруг, как пламя, стараясь прыгнуть повыше или пускаясь в присядку. За прудом, и еще дальше, за ржаными полями, отделенная изгородью, блестела очень маленькая старинная церковь; в ней только раз в год служили панихиды.

В нашей комнате была дверь, которая должна была выходить на балкон. Но она открывалась прямо в воздух или, лучше сказать, – в чудесную липу, потому что балкона еще не было. Он так и не был построен, потому что мы не хотели рубить липу. Прямо к нам в комнату вторгнулся целый зеленый мир подвижных образов. Золотисто-зеленый свет, сладкий аромат, а во время цветения – басовитое гудение, подобное гулу колоколов, наполняли комнату. Качались пучки молочно-белых цветочков-звездочек, опущенные золотистыми крылышками, и дрожали под тяжестью усердных пчелок. Как все здесь было пропитано радостью «давать и брать», какая солнечная жизнь!

Через третье окно нашей комнаты виднелись внизу купола древесных крон сада, аллея, поля, бесконечные лесные дали. Закаты над ними пылали с такой неслыханной силой, что еловая стена у моей кровати горела пурпуром.

Когда после болезни я снова могла выходить, лёгкие быстрые ноги понесли меня по незнакомым дорогам. Над полями воздух веял ароматами: тимьян, клевер, полынь, ромашки, свежая листва; я воспринимала их как живой язык земли. Кто же это был, кто меня здесь встречал? Кто говорил мне так проникновенно и так мощно, что каждый вздох означал – встречу?

Наша усадьба располагалась на вершине плоскогорья, служащего водоразделом. Поэтому, верно, и были здесь такие далекие виды на все стороны, такой живой воздух, такие величественные картины облаков. Почва здесь плодородная, но песчаная, так что многочисленные дороги, змеившиеся, как белые ленты, по полям и лесам, не были ни пыльными, ни грязными. И на каждой вас встречало нечто свое. Каждая местность имела свое особенное таинственное лицо, оно хотело быть узанным и названным. Я понимала слова Гоголя, обращенные к России: «О, Русь! Почему все, что в тебе есть, обращает ко мне очи, полные ожидания?» – Эти очи я всегда

встречала здесь в деревне. Мучительной силы достигало чувство лежащего на тебе долга: принести этой бессловесной земле освобождение через Слово.

Три дороги выходили из западных ворот усадьбы. Они шли сначала по полям, затем одна вбегала в старый лес, где тесно росли потемневшие от старости березы, сосны и клены. Эта дорога была проложена моим отцом к торфяному болоту – очень широкая, окаймленная глубокими канавами и поросшая травой. Кусты можжевельника и гигантские папоротники росли между деревьями. Торжественно было в этой тенистой аллее, где с обеих сторон подступала непролазная чаща, откуда каждую минуту мог выглянуть мохнатый морщинистый Леший – русский лесной дух. Внезапно дорога и высокий лес кончались; перейдя через ров, вы вступали на поросшую белым мхом мягкую болотистую почву, пружинившую при каждом шаге. Здесь росли карликовые сосны, тянувшиеся бесконечно. Казалось, что и солнце на этой открытой поляне сильнее греет воздух, пропитанный запахом смолы. Во мху, похожем на альпийские эдельвейсы, блестели кое-где на солнце красные ягоды клюквы.

Совсем иное настроение создавалось на другой дороге. Она приводила в светлую березовую рощу с большой лужайкой посередине и длинным прудом. Осенью золото берез на глубокой синеве неба и воды дарило душе отраду. Здесь, в роще, на ковре вереска, наверное, можно было встретить греческого Пана с флейтой.

Третья лесная дорога вела в отдаленную деревню, где мы ни разу не были, даже катаясь на лошадях. Глубокие колеи всегда были полны воды. На лесных лужайках росли группы деревьев, живописно расположенные, как в парке: кудрявые березы, осины и великолепные ели, густые и правильной формы от земли до вершины.

Из других ворот усадьбы дорога шла в гору через всю деревню, вдоль заборов, отгораживающих поля плоскогорья от леса. Лес здесь был жидкий – растрепанные дубы. Неровная дорога, петляющая среди стволов, приводила в Богом забытую деревню Лягушино – особенно бедную потому, что здешние мужики все были безнадежными пьяницами. Здесь вы чувствовали себя на краю света. И стихийные существа, населявшие эту местность, отличались узловатым сложением и мрачным меланхоличным темпераментом.

Но любимым местом наших прогулок была дорога, где открывались разнообразные виды; через деревню, по полям и лесам она вела в заброшенное имение Зикеево со старым липовым парком. Стена высоких елей защищала огород от северных ветров, а в конце образовывала закругление, внутри которого мы открыли круглый

мраморный бассейн, обнесенный полуразрушенной мраморной скамейкой. От бывшего здесь сада остались несколько куртин цветущих кустов и полугаросший пруд. От строений усадьбы ничего не осталось, кроме громадной покривившейся риги. Ее крытая дранкой крыша с проломом посередине, как некий ихтиозавр, возвышалась среди полей. Мы любили скатываться с нее, как с горки. Особым настроением овеваны подобные места – некогда ухоженные людьми, а затем снова предоставленные власти природы. Как будто особый вид стихийных существ их одушевляет. Нигде не было лугов и рощ великолепней тех, что окружали этот парк, нигде не сияли так синие дали. И все же каждый раз, когда я проходила или проезжала мимо этой усадьбы, я возвращалась домой с чувством печали.

Проводя летние каникулы в деревне, я всегда чувствовала, что на мне лежит долг: вслушаться в то, что земля хочет сказать. Я не хотела ничего читать, ничем заниматься, боясь, что это может отвлечь меня от самого важного. Нередко я устраивала себе постель на балконе, выходявшем во двор, чтобы и ночью быть наготове, но и там я все еще боялась проспать что-то важное. Под утро, когда звезды на небе бледнели и только одно созвездие, большое и трепещущее, мерцало над березами, все вокруг приобретало совсем особое выражение. Задумчиво и строго смотрели на меня в полумраке сарай, старые березы и леса, выступавшие из тумана подобно островам. Затем легкий трепет пробежал по вершинам и морщил поверхность пруда перламутровыми чешуйками. И в ворота галопом влетали наши лошади, пригоняемые с ночного. Их гривы пламенели в красках утренней зари. Они катались по росе, фыркали и ржали. В деревне слышался скрип ворот, щелканье кнута, звуки пастушеского рожка. День возвещал о себе тысячами звуков и спугивал ночные тайны.

А когда шел дождь, – а дождь мог идти у нас целыми днями напролет, – как все шумело и благоухало на обширном зеленом лугу, видимом с этого балкона! Все зеленое становилось тогда еще зеленее, деревянные сараи темнее, а старые липы светлее, и пруд за воротами лежал, как панцырь, тяжелый и морщинистый. Сквозь завесу дождя леса казались глазу дальше, но для непосредственного чувства они, наоборот, приближались, вовлеченные в великолепие совершающегося, погруженные во все проникающую стихию воды. Как будто бесчисленные жизнедарующие существа, ликуя, сплетали воедино небо, землю и душу. Позднее, когда механические теории вытеснили это ощущение, дождь внушал мне чувство отделенности от мира, потерянности в бесформенном пространстве, и

одинокая душа воспринимала тогда свое существо еще более бессмысленным и одиночество еще более глубоким.

Славный молодой человек, Алешин учитель, так интересовавший меня в Москве, оказался при более близком знакомстве очень поверхностным. Как многие русские интеллигенты, он остановился на ступени скептицизма и нигилизма, приличествующей гимназисту старшего класса. Пассивные и равнодушные люди часто на всю жизнь на этом и остаются. С тем большим нетерпением ждали мы приезда его брата Пети, художника.

Мать—земля

Заходящее солнце освещало ржаные поля, когда мы с Петей ехали со станции. В первый же вечер он завоевал все сердца, не исключая и взрослых. Это было существо одновременно и мужественное, и нежное; он обращался с людьми, как с детьми, — бережно и улыбочиво. И к застенчивой Китти, и к гостившей у нас нашей прежней гувернантке, которая вообще ни на кого не обращала внимания, он относился с ласковым интересом. Но еще лучше разговаривал он с лошадьми и собаками. На другой же день он просил мою мать позволить меня написать. На этот раз она позволила, но по соображениям приличия всегда сама присутствовала на сеансах.

В последнее время в Москве Петя работал в качестве ученика у знаменитого художника Врубеля, помогал ему в выполнении большой декоративной фрески и резных работ, заказанных для одного дома. Врубеля я знала по его иллюстрациям к Лермонтовскому «Демону». Решительный отход от натурализма, его манера работать объемными мазками были тогда чем-то совершенно новым. Его ученик Петя работал в той же манере. Подобно мозаике возникал мой образ на пестром геометрическом фоне. Акварелью он рисовал очень большие маки и васильки, походившие на кристаллы, а композицию «Андрей и полячка» из «Тараса Бульбы» Гоголя он моделировал только мазками.

Вечерами он читал нам Гоголя «Мертвые души», которые я тогда слышала впервые. Он читал мастерски, а когда затем рассказывал что-нибудь свое, то всегда с гоголевской красочностью и юмором. У него был красивый голос — баритон, и он пел дуэты с Ньюшей, которая ему особенно нравилась. Но самым замечательным было его умение мастерски править тройкой! И начались наши полные открытий путешествия по деревенским просторам. Я большей час-

тью сидела рядом с ним на козлах. И видела сбоку, как глаз левой рыжей пристяжки время от времени вспыхивает темным пламенем. Рядом, на фоне неба, смутно рисовался Петин профиль, под беретом, с коротким прямым носом и папирской в красиво очерченных губах. Он потихоньку беседовал с лошадьми, то уговаривая их ускорить бег, то слегка натягивая вожжи. Быстрая езда, волны полей и лесов, то бегущие рядом, то перекрещивающиеся, как темы фуги, превращали пространство в музыку и движение. Как веера, вблизи и вдали, открывались и снова закрывались голубоватые полосы овса, смарагдово-зеленые – льна, золотой ржи и розовой цветущей гречихи. Новое узнавание чего-то прежде бывшего, воспоминание, ставшее зримым, время, ставшее пространством, – вот чем оборачивалась эта страна для души. Будто все, что зримо выступало ей здесь навстречу, прежде жило в ней самой и теперь снова в нее возвращалось. Как могли бы мы познавать мир, если бы мы его не у з н а в а л и? Навстречу нам летели редкие березы с плакучими ветками, за ними синели дали с лесами и немногими бедными деревушками. Иногда среди холмистых полей вдруг показывалась господская усадьба, как темный остров, притаившийся за липами дом своеобразной архитектуры. Может быть, как это прежде нередко бывало, он построен безмянным крепостным; посланный в Италию учиться, он возвратился большим художником и остался рабом служить господину. Позднее искусствоведы находили в забытых углах необъятной России много выдающихся анонимных произведений искусств. Удивительно, как гармонически греческий стиль сочетается с русским ландшафтом!

Во время одной из наших дальних поездок мы проезжали мимо луга, сплошь заросшего ромашками, – безбрежного волнующегося моря белых цветов, по которому в полуденном зное бесконечно бежали блистающие серебром волны. Посередине темным островом возвышался четырехугольник старых елей. Ни дороги, ни тропинки не было видно. Мы вышли из экипажа и по высокой траве пошли к этому удивительному лесному храму. Ели тесно срослись, образуя непроходимую стену. Посередине мы нашли проход и проникли вовнутрь. И здесь, в этом прохладном, темном, пропитанном ароматом елей месте, среди буйно разросшихся кустов шиповника, малины и жасмина, среди цветов колокольчиков и водосборов, мы обнаружили ветхие кресты и могильные плиты с неразборчивыми надписями. На много верст кругом не было ни деревни, ни усадьбы. Ничего вокруг не указывало на это торжественное убежище. Красота этого «Острова мертвых» среди блистающего серебром волнующегося цветочного моря оставила в моей душе странные чувства. И

вопрос: имело ли для этого забытого уголка земли какое-либо значение то, что мы его открыли, что человеческие глаза его увидели?

В другой раз мы внезапно выехали к огромному белому дворцу в стиле барокко с двумя флигелями и версальским парком. Он оказался необитаемым. Садовник, угостивший нас чаем из чашек севрского фарфора, провел нас во дворец. Через одну из зал мы вышли на другую сторону здания, откуда оно террасами спускалось к Днепру, в наших местах еще не широкому. На другом берегу виднелась бедная деревушка и бесконечные дали лесов и полей. Этот дворец и принадлежащая ему церковь были, как я после узнала, построены знаменитым Растрелли. В имении уже много лет никто не жил, потому что последний владелец майората сошел с ума. Его мать подарила замок земству для устройства в нем приюта для умалишенных. Но родственники опротестовали ее решение, и судебное дело тянулось десятилетиями. Мы еще не раз приезжали сюда. Однажды при нашем посещении нас окружили больные в серых халатах. Повсюду в парке, в церкви, даже просто в окрестностях встречались нам эти мрачные фигуры.

Пришло время жатвы, и поля оживились бесчисленными, поставленными стоймя снопами и пестрыми рядами жниц. Яснее стали видны отдельные полосы на полях, и дали стали совсем безмерными. Я видела — Египет. Жатва у нас в деревне дело женщины, она владеет серпом, мужчина же — сеятель.

Однажды — уже стемнело — я вышла из леса и увидела кучку мужчин и мальчиков на коленях, на краю большого вспаханного поля. В отдалении священник в облачении из серебряной парчи шел по борозде, как по волнам морским. В левой руке он держал кошелку с пшеничным зерном, на краешке которой была прикреплена горящая восковая свеча, и сеял, произнося молитву. Перед ним мальчик на холщевом полотенце нес большую темную икону Божьей Матери. Далеко простирались леса, на небе уже блестели звезды, пшеница в свете восковой свечи казалась золотой. Только мужчины участвовали в этом молебне перед началом осеннего сева, и я не шевелясь стояла за деревом.

В конце августа братья Кончаловские уехали к началу занятий; один — в Университет, а наш герой Петя — в последний класс гимназии. Так в «осиротевшем» доме мы остались одни. К большому нашему огорчению мы узнали, что между Петей и моей матерью из-за какого-то пустяка произошел разрыв. Конечно, мы единодушно были на Петинной стороне. Он больше никогда не бывал у нас.

Пруды за резными воротами стали темно-синими, сжатые поля

блестели, будто земля стала солнцем. В холодные темные ночи на небе сверкали звезды – огромные и живые.

В эти дни Китти вводила нас в мир греческих мифов. Еще с итальянских путешествий мне были знакомы образы греческих богов, их я встречала там в солнечном сиянии мрамора. Они были такими родными, будто принадлежали к моему собственному существу. Но я благодарю судьбу, что с мифами я познакомилась впервые здесь, в деревне: они сплелись со стихийными существами этих мест. В очертаниях вечерних облаков являлись мне светоносные облики богов Олимпа. В ясные осенние ночи, когда мы лежали на высоченных стогах соломы, возвышавшихся над крышей самого большого овина, я в блистающих звездных письменах читала имена греческих богов. (В позднейшие годы на таких стогах мы с друзьями нередко, по русскому обычаю, месяцами гостившими у нас, вели глубокомысленные беседы. Каждый сидел в вырытой себе ямке, не видя друг друга; вопросы и ответы будто сплетались от звезды к звезде, а внизу в соломе шуршали мыши.) Выглядывая на рассвете из окна, я видела, как из трубы дальней избы, силуэт которой рисовался на горизонте, поднимались гигантские клубы дыма – будто чудовища выплывали в небо. А когда первые лучи солнца прорывались сквозь тучу – это было копьё Аполлона, пронзающее дракона. Над влажными темно-лиловыми пластами земли, в солнечном пурпуре листья являлся мне таинственный бледно-золотистый лик – священный дух осени; он казался мне тогда Дионисом.

Вдали слышались звуки охотничьих рожков и пастушеской флейты. Сама Греция была здесь.

В это время Ньюша была помолвлена с Владимиром Красовским. Но она была слишком молода, брак ее пугал. «Он смотрит на меня как на свою собственность», – сказала она и отказала Красовскому. Думаю, что это был единственный случай, когда она кому-то причинила боль, и она мучилась этим всю жизнь. Уже перед смертью, в бреду, она звала своего бывшего жениха, чтобы просить у него прощения.

Последним событием в нашей деревенской жизни была охота на волков. Мужики всех окрестных деревень образовали круг, охвативший большой участок, где, как предполагалось, находился волк. И они сжимали круг с дикими воплями, весь лес вопил. Я видела много лисиц и зайцев, пробежавших мимо. Волка же убил один мужичок – в болоте, совсем в стороне от места охоты. Он притащил его к нам в дом, где все соседние помещики, большей частью порядочные дикари, пировали после неудачной охоты. Я как сейчас вижу детский радостное, все в оспинах, лицо удачливого охотника с

большим носом и козлиной бородкой, уложившего огромного зверя из примитивного ружья, перевязанного веревочкой. У нас он получил за это три рубля.

Люцифер и гимназистка

Когда мы вернулись в Москву, в бабушкином доме шли приготовления к свадьбе тети Марии с князем Дмитрием Волконским. За парадным обедом после венчания я сидела рядом с поэтом Бальмонтом. Через год он женился на моей тете Екатерине. Да и впоследствии при всех семейных торжествах в бабушкином доме меня сажали рядом с ним, потому что он никак не подходил к буржуазно патриархальному стилю этого дома, он и не скрывал своего презрения и скуки, задирая рыжую бородку и прищуривая глаза так, что оставались только две светло-зеленые щелочки. Я должна была беседовать с ним на «поэтические» темы. С другой стороны сидел мой дядя по отцу Сергей Сабашников, тогда еще студент; впоследствии они вместе с братом Михаилом владели известным в Москве издательством. (Третий их брат – Федор, живший в Париже, известен своими изданиями рукописей Леонардо да Винчи.) Сергей поражал меня резкостью суждений и скепсисом, что, как я впоследствии убедилась, скрывало очень нежную и меланхоличную душу. Большинство гостей принадлежали к невестинной родне, так как князь Волконский не был жителем Москвы. Этих своих кровных родственников я видела здесь впервые. Почти во всех лицах я находила знакомые черты. И что-то от меня самой узнавала я в этих чужих, даже чуждых мне людях. От этого мне становилось не по себе и в душе вставал вопрос: «Что у меня общего с этими людьми, родными по крови? И этот поток кровного родства, к которому ведь и я принадлежу, – в каком отношении находится он к моему собственному существу?»

Этой зимой я начала учиться у художника профессора Архипова. Хороший колорист – но как он меня обучал? Занавеси в его строгой мастерской задергивались, и я должна была при свете ламп рисовать углем с гипсовых слепков. И я проделывала это ежедневно в течение двух лет! Только во время каникул я могла писать по-своему.

Весной 1896 года Москва готовилась к коронации царя Николая II. Как у всех российских интеллигентов, так и в нашей семье этому событию не придавали большого значения. Само собой разумеется, что нас интересовали многочисленные экзотические гости, которых в эти теплые майские дни можно было встретить на улицах

Москвы. Мне больше всего запомнились корейцы, их странные прозрачные черные шляпы; пестрые бухарские халаты, персидские тюрбаны, китайские и японские веера оживляли улицы города.

Въезд царя с царицей мы наблюдали на площади у дома генерал-губернатора с балкона гостиницы, принадлежавшей бабушке. Мы сидели, как в ложе, и поверх голов охраны могли видеть совсем близко царя верхом на лошади. Он сидел в седле небрежно, почти мешковато, его полковничий мундир казался помятым. Его лицо ничем не отличалось от тех дешевых олеографий, которые я видела на всех прилавках. Царица в великолепном национальном русском уборе ехала в золотом, украшенном драгоценными камнями, экипаже, запряженном восьмеркой лошадей. Она кланялась во все стороны поясным поклоном по старому русскому обычаю. Этот глубокий поклон имеет в себе что-то трогательно-смирненное, но у нее он казался чопорным, неестественным. Так же и ее правильные, но неподвижные черты лица производили впечатление застывшей маски. Бросались в глаза красные пятна на щеках, выдававшие, очевидно, ее сильное волнение. Следом за ней, в таком же драгоценном экипаже ехала вдовствующая императрица. Потом триста всадников – донские казаки в алых, уральские казаки в небесно-голубых мундирах, за ними – Павловский гренадерский полк, куда набирались только курносые, потому что царь Павел I был курносым. Затем – еще 24 экипажа, золотые, обитые красным бархатом. В одном из них мне показали германского посланника Хельмута фон Мольтке. От Петровско-Разумовского до Кремля на протяжении почти восьми километров улицы были посыпаны красным песком, по бокам стояли шпалерами солдаты. Во всех окнах, на всех заборах – люди. На трибунах сидели дамы, все в белом. У церквей стояло духовенство в золотых и серебряных парчовых облачениях с золотыми хоругвями впереди. В Кремле царя встречали представители всех населяющих Россию народов: русские и самоеды, киргизы и татары, калмыки и грузины, буряты, армяне и другие.

Вечером Москва была великолепно иллюминирована. В ландо, украшенном цветами, в длинном ряду экипажей, мы проехали по городу. Все были в белых платьях и светлых шляпах, напоминавших по тогдашней моде корзины цветов. В экипаже впереди нас сидели корейцы, сзади ехали японцы. Москва сама по себе – фантастический город, но в этот вечер она имела вид совершенно сказочный. Все башни и церкви, зубчатые стены Кремля, архитектурные контуры домов пламенели. С Кремлевской набережной виднелось море огней на другом берегу реки. Все фабрики Замоскворечья были иллюминированы.

Помню, что я скоро больше ничего не видела и вся эта бесконечная фата-моргана стала давить меня, как кошмар. Было ли это предчувствием или просто ощущением фальши от всего этого ослепительного зрелища? Это было накануне коронации. На другой день ожидалось большое народное гулянье на Ходынском поле. На память о коронации была обещана раздача кубков с изображением царского двуглавого орла. До сих пор этот обычай соблюдался. Но устроители праздника, верно, забыли, что тем временем умножились газеты и железные дороги, так что множество народа – всякий, кому была охота, – могло приехать в Москву.

В то утро я была у зубного врача. – «Вы уже слышали, что на Ходынском поле ужасная давка? У нас в полицейском участке лежат шестеро убитых». По дороге домой я уже видела закрытые телеги с убитыми. Говорили, что давку невозможно сдержать. Поле кипит, как котел, и полиция не в силах остановить прибывающие со всех сторон массы народа. Сведения о числе жертв росли с каждым часом. Больше двух тысяч человек были задавлены насмерть. Вечером должен был состояться бал во французском посольстве. Царю советовали из-за катастрофы не появляться на балу. Но он не хотел, чтобы в первый день его царствования кто-либо оказывал на него давление; он поехал на бал и танцевал. Так началось правление этого царя. Наш друг Владимир Джунковский, бывший тогда флигель-адъютантом Великого князя Сергея, генерал-губернатора Москвы, рассказывал нам придворные новости. Так мы узнавали о вещах, мало кому известных.

Ужасным разочарованием для меня было решение не ехать этим летом в наше имение: моя мать хотела познакомиться с благотворительными учреждениями Англии, с этой целью она поехала в Лондон и обе кузины с нею. Брата Алешу отправили в имение Авенариусов, а я должна была провести лето у бабушки на даче под Москвой. Я не могла понять, почему здесь не только люди, но и деревья, и земля были другие, не такие, как там, в нашем имении. Эта местность мне ничего не говорила. Я тогда еще не знала, что каждому ландшафту присущ свой мир стихийных существ, своя собственная духовность. Я почти заболела от мучительной тоски по родным местам.

Посетив брата у Авенариусов, я его не узнавала. Я никак не думала, что в такое короткое время можно так измениться физически и душевно. Нежный ребенок превратился в настоящего грубияна. Я была потрясена и не находила с ним ничего общего. Но я сама чувствовала себя изменившейся – будто заключенная в темницу тела, я ощущала его тяжесть. При пробуждении меня нередко

охватывал страх: как некогда я, помимо своей воли, была погружена в это тело, так придет время – при смерти, когда, также помимо моей воли, я буду из него выброшена. Жизнь меня пугала. «Ехать так ехать», – сказал попугай, которого тащила кошка, – это казалось мне точным определением жизни. Все становилось призрачным. Раньше мною владело чувство сострадания, за всякое горе в мире я несла ответственность. А теперь я думала: «Зачем тебе так страдать? Какое тебе до всего этого дело? Ты можешь в своей собственной душе найти целый мир и укрыться в нем». Прекрасные космические образы, прежде вдохновлявшие мои писания, теперь исчезли. Вместо того я писала лирические стихи:

Не бойся игры сновидений,
Одинокий в грезах, ты свободен от мира,
Смотришь в бескрайние дали твоей души,
Живи, о царь, в своем собственном чертоге!

У меня не было никого, кому я могла бы довериться и кто мог бы помочь мне выбраться из этих нездоровых настроений.

Тетя Катя, самая мне близкая, вышла замуж за поэта Бальмонта – против воли матери, которая даже прокляла ее при расставании за то, что она вышла за разведенного. Они жили в Париже. Стихи же Бальмонта могли только укрепить во мне подобные настроения.

В том же году мне пришлось поступить в гимназию, чтобы через два года получить диплом. В Москве было много хороших частных женских гимназий, одна даже с полной классической программой, где я могла бы получить действительно солидное образование. Но моя мать, испытывавшая странное чувство страха перед будущим, внушила себе, что диплом государственной школы практически важнее. Так я поступила в Четвертую Московскую женскую гимназию. Гимназия помещалась в одном из тех оранжевых зданий, которые в детстве означали для меня границу мира. Теперь из больших окон класса я видела старый липовый парк Вдовьего дома. Этот обширный парк, в котором я могла переживать смену времен года, да еще учитель математики – единственно хорошие воспоминания о гимназических годах. Остальные учителя были так равнодушны и скучны, что у них вряд ли можно было чему-нибудь научиться. Среди товарок по классу я не нашла себе подружки, хотя очень этого хотела. Умные презирали меня за мои выходки, потому что, стремясь оживить скучные уроки, я выдумывала всякие дурачества, которыми другая часть класса, напротив, очень восторгалась. Так я все глубже погружалась в свои грезы. Я ненавидела эту

гимназию, которая крада у меня мое время. Но что же я сама делала с этим своим временем? Я тогда читала Байрона и бредила Наполеоном. О нем я даже написала роман, имевший очень мало общего с историческими фактами. Некоторые плохо понятые положения Ницше оправдывали в моих глазах мое отношение к жизни.

Год 1898, когда мне исполнилось шестнадцать лет, остался в моей памяти осиянным особым светом – светом поэзии. Виной тому была не только солнечная морозная зима, когда снег искрился и скрипел под копытами, и не только ранняя, полная шума ручьев и ароматов берез, тополей и сирени весна. Что-то новое произошло тогда с самой душой и вплелось с тех пор во все ее переживания. Все даты остались в памяти. Так я помню, что 19 декабря, в последний день школьных занятий 1897 года, к нам пришли три студента: Макс Кончаловский, его младший брат Митя, филолог, удивительно красивый юноша, очень похожий на Петю, и третий – Давид Иловайский, естествовед. Небольшого роста, приземистый, широкое египетское лицо с маленькой бородкой, с каким-то замкнутым и вместе с тем насмешливым выражением. Он был другом Пети и уже по этой одной причине окружен в моих глазах ореолом. С тех пор, как Кончаловские гостили у нас в деревне, мы ничего не знали о Пете. Непостижимо – почему среди сотен лиц, с которыми встречаешься с большим или меньшим интересом, одно как оттиском печати запечатлевается в душе, преображая ее, так что мир становится живым и величайшим чудом. Таково именно впечатление было, произведенное тогда на меня Петиним другом. Это лицо годами господствовало в моих мыслях и грезах, со стихийной силой выплывая как будто из какого-то забытого мира. Он принадлежал к знаменитому роду донских казаков. Двенадцать его предков сражались с Наполеоном. Каждое лето Петя гостил у них в имении на Дону. Молодые люди пришли предложить нам билеты на благотворительный бал в пользу их гимназии, где учился также мой брат. На другой день они снова пришли. А на том балу я танцевала с Давидом кадрили. Он долго молчал, потом сказал: «Петя много рассказывал мне о Вас, о барышне, которая ничего не боится». – «Ах, – воскликнула я, глубоко обрадованная, – это он, верно, вспомнил об одной нашей поездке, когда он правил тройкой, а я на полном скаку вдруг исчезла у него с козел. Он тогда очень испугался, но я не упала, я нарочно прыгнула в канаву и тотчас же влезла опять на козлы, прежде чем он остановил лошадей». – Снова долгое молчание. Но еще до конца танца я решила спросить: «Любите ли Вы химию?» Для меня химия тогда была полна чудес и загадок. Он ответил: «Да, это славная наука». Думаю, что это был наш самый длинный и

содержательный разговор, пища для моей любви на много лет. Петин брат приносил мне стихи и записи лекций по истории, но моя мать очень досаждала нашим гостям. Она говорила с ними холодно и иронично, а так как она была тогда для меня идеалом, я внешне ей подражала. Это было против моего желания, но я думала, что этого требует наше достоинство. Кроме того, я в присутствии Давида очень смущалась, кузины разговорчивостью не отличались. Так наши поклонники постепенно исчезли, но грезы остались, тоска осталась. В позднейшие годы, когда представлялась возможность встретиться, каждый раз мешали какие-то случайности.

Спустя несколько недель после той памятной встречи произошло еще одно событие в моей жизни. Январским утром Терентий повез меня, как обычно, в гимназию, но из-за холода она оказалась закрытой. Ярко-красный шар солнца светился сквозь морозную дымку, снег скрипел и искрился. В моей комнате, в белой кафельной печке весело трещали дрова. Я открыла книгу, уже несколько дней лежавшую на моем столе непрочитанной, – знаменитый «Дневник» художницы Марии Башкирцевой. Эта молодая девушка из русской дворянской семьи жила в Париже и писала по-французски. Она начала дневник 15-ти лет и вела его до самой смерти в возрасте 24-х лет. Эта душа, до краев полная восхищения перед самой собой, была собственно чистейшим порождением эгоизма и себялюбия. Но этот эгоцентризм, который у всякого другого производил бы отталкивающее впечатление, у нее завораживал интенсивностью и искренностью переживаний ею своего Я и прелестью литературного стиля. В этой душе, так рано сжегшей свое тело, угадывается Люцифер – владыка желаний. По прочтении нескольких глав будто некая искра от огня ее души переброшилась в меня. Я подбежала к зеркалу. Это было совсем не то, что три года назад, когда в зеркале я встретила взгляд, устремленный в меня из вечности, взгляд моего бессмертного существа, исполняющего с помощью этой «персоны», этой маски предначертания судьбы и в то же время заново ее строящего. То было серьезное, священное переживание. Теперь из зеркала смотрело на меня золотисто-розовое «явление» с требованием дать ему через отражения его в других душах силу бытия. Мгновенное, преходящее стремилось стать долговечным. Я вышла из дома, несмотря на ужасный мороз, и впервые одна отправилась в модную мастерскую. Я заказала себе шляпку черного бархата, какую сделала себе Мария Башкирцева и так увлекательно описала, – с той только разницей, что в вопросах моды я была совсем не искушена, а маленькая модисточка на нашей улице отнюдь не была парижанкой. Соответственно получилась и шляпка! Затем я купила себе

толстую черную тетрадь для дневника и принялась писать – чтобы ни одно переживание моей внезапно ставшей для меня столь интересной персоны не было потеряно для мира. Это была попытка ощупью, словами выразить невыразимое: сплетения света и теней вокруг вещей и предметов, настроения природы в смене времени дня и года. При этом – очень много восклицаний! «Каждое мгновение мы что-то погребаем», – писала я. Или: «Существует ли такое сознание, которое знает меня и несет меня в себе? Затеряна ли я в мире?» – все переживалось главным образом в отношении к себе самой – «колдовская пряжа своего собственного существа». Эта замкнутая в себе, сновидческая жизнь кончилась болезненным пробуждением.

Весной 1899 года мне пришлось много работать, готовясь к выпускным экзаменам, чтобы наверстать пропущенное за два года мечтаний.

Этой же весной вся Россия отмечала столетие со дня рождения Пушкина. В мае везде происходили разнообразные торжества. Также и наш выпускной вечер в гимназии проводился под знаком Пушкинского юбилея. Я должна была прочитать монолог старца Пимена из «Бориса Годунова». Любовные стихи преследовались в гимназии как вредные для юных душ. Накануне выпускного вечера я узнала, что с экзаменами у меня все благополучно и я получу медаль. Теперь уж мне ничто не грозило, и вместо монолога старого летописца я, выйдя на сцену в переполненном зале, в присутствии представителей министерства и множества генералов и сенаторов в звездах и лентах, прочитала «Заклинание» Пушкина, в котором поэт призывает тень своей умершей возлюбленной. Я начала тихо и таинственно:

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые...

Затем мой голос, к моему собственному изумлению, поднялся до властного заклинания. Директриса, классные дамы, гимназическое начальство – все окаменели. Но ничего нельзя было поделывать, я договорилась до конца. Публика бурно аплодировала, наша учительница пения (авторша многочитаемого халтурного романа «Ключи счастья») обнимала меня и советовала «обязательно идти на сцену». Затем объятия подруг. Домой я пришла, опьяненная успехом: медаль и сценическая слава! Но дома мои успехи не нашли отклика. Только что вернувшаяся из Парижа тетя Екатерина Бальмонт

подняла меня на смех: «Каждой хорошенькой девушке говорят, что она должна идти на сцену». Может быть, тогда она уже увидела, что ее прежние воспитательные методы не дали хороших результатов. И внезапно мною овладела ужасная депрессия. Это не было только следствием перенапряжения на экзаменах, многих бессонных ночей; это было сознанием ужасной пустоты и одиночества: вот школа закончена, за все эти годы я не приобрела ни подруги, ни сколько-нибудь ценных знаний. Теперь, собственно, начинается жизнь, а я стою перед – Ничто.



КНИГА ВТОРАЯ

Поиски первоисточков

Разговор со Львом Толстым

Еще с детства было решено, что я буду заниматься живописью. Больше из упрямства, чем в силу действительного тогдашнего моего настроения, я поехала в Петербург, чтобы поработать в мастерской, считавшейся как бы преддверием Академии, под руководством знаменитого тогда художника Ильи Репина. Во время летних каникул к нам всегда приглашались учителя – либо живописи, либо естествознания. Как-то раз я сказала художнику, обучавшему нас чисто натуралистической живописи: «Какой смысл повторять то, что уже существует? Должно появиться совсем новое искусство, открывающее никогда не существовавший мир, его-то я и хочу искать». Он ответил, что с моей стороны это просто заносчивость – хотеть чего-то иного помимо того, чего уже достигли наилучшие.

Такое же разочарование постигло меня и с учителем естествознания. Это был нервный молодой человек, с торчащей белокурой шевелюрой, водянистыми близорукими глазами и с необычайно быстрым темпом речи. Слова у него сыпались, как горошины. Также и знания, которые мы от него получали, сыпались одно за другим без всякой внутренней связи и смысла. Мир распадался.

Тогдашняя литература не давала удовлетворения. Кроме Толстого, произведения которого в то время были в большей своей части

запрещены, наибольшей известностью пользовались два автора: Антон Чехов и поэт Бальмонт. Лирические стихи Бальмонта, поражавшие богатством ритмов и звучностью, славили эротическую страсть и самовлюбленность поэта. Новеллы Чехова, восхищавшие простым и тонким живописным языком, изображали безотрадную русскую действительность, не стремясь ни найти пути ее спасения, ни поднять на высоту прообразов, как это делал, например, Гоголь. Поэтому творчество Гоголя вело к катарсису, тогда как Чехов со своим агностицизмом не оставлял в душе ничего, кроме безнадежности и скепсиса. А все, что я сама видела среди окружавших меня людей, было болезненным бегством от самого себя и от глубинных вопросов жизни, бегством в личные страсти, в общественную деятельность, в науку. Мораль – условность, нужная только для спасения от хаоса, религия – в лучшем случае поэтическая традиция, эстетические переживания, сопровождающие переживания времен года. Художники спорили: существует ли «искусство для искусства» или же оно должно служить только иллюстрацией идей. Я в детстве так глубоко восприняла искусство великих мастеров, что ни то, ни другое направление не могло меня увлечь, но мысленно я была не в силах справиться с этой проблемой.

В Петербурге я жила в доме моей тетки Нины Евреиновой, старшей сестры Михаила и Сергея Сабашниковых, издателей. Тетя Нина, нежная мать четырех детей, тихая, тонкая душа, была гениальной музыкантшей. Музыкальность жила во всех движениях ее крупной фигуры, в прислушивающемся взгляде ее фиалковых глаз, в складках рта. Екатерина Бальмонт была ее близким другом. Обе высокого роста, редкой красоты, они дополняли друг друга в самом своем существе. Екатерина Бальмонт поддерживала подругу в трагических обстоятельствах ее брака. Ей приходилось переживать так много тяжелого, что у нее бывали иногда состояния, когда она имела «второе лицо»; нередко ее посещали ужасные видения. Позднее я очень с ней сблизилась, но тогда я была слишком молода, чтобы понимать ее жизнь. В ее доме я встречалась с очень богатыми аристократами, а в мастерской меня окружали молодые люди, жившие впроголодь. Впервые социальные контрасты встали передо мной в такой резкой форме.

Занятиям в мастерской я предавалась сначала очень усердно и благоговейно, но скоро и они стали для меня проблемой. Днем мы писали красками, а вечером рисовали с натуры. Репин был очень немногословен, но он несколько раз хвалил мои эскизы с натуры. Но когда мы занимались свободной композицией на заданную тему, я получала самые низкие отметки. Эти работы не обсуждались, и я не

понимала – что именно ему не нравится в моих далеких от натурализма эскизах. Как-то раз я написала группу крестьян по фотографии и получила высокую отметку. Это заставило меня задуматься. Я действительно перестала понимать, зачем я занимаюсь живописью, что может моя живопись дать миру. На выставках наряду с натуралистической пейзажной и жанровой живописью и тенденциозными иллюстративными картинками, изображавшими бедственное положение народа, появлялись только рафинированные декадентские произведения, вдохновлявшиеся XVIII веком, проникнутые духом высокомерного эстетизма. И внезапно мои занятия показались мне совершенно бессмысленными, а я сама – просто тунеядцем. Чем я могла оправдать перед народом привилегию заниматься свободным искусством? В подавленном состоянии я поехала домой на Рождественские каникулы. Никто не мог помочь мне в моей беде. И тогда я подумала о Толстом.

Толстой для всякого русского был неотъемлемой частью самой русской жизни. Мы узнавали его романы раньше, чем узнавали жизнь, особенно «Войну и мир», которую я впервые прочитала, когда мы вернулись в Россию. В нашем квартале жили люди, изображенные Толстым в этой книге. Через эту призму я видела патриархальную Москву. Настроения времен года я чувствовала так, как он их описывает, а в людях из высших слоев общества и в крестьянах нередко узнавала черты людей, живших сто лет назад. Особенно же пленяло меня, как и многих русских девушек того времени, поэтическое обаяние Наташи Ростовской. С детства я знала рассказы Толстого для народа, его повести и статьи, поскольку они разрешались цензурой. Нередко я встречала его на нашей Пречистенке. Тогда я следовала за ним с бьющимся сердцем и поражалась: возможно ли, что человек, из своей души породивший мир, который живет во мне как исконно мой собственный, теперь вот идет впереди меня – старик, небольшого роста, в полушубке? Я вижу его уже слегка согбенную спину и седую, раздуваемую ветром бороду, вижу его снаружи. Он же меня совсем не видит и не знает. В то время я чувствовала такую сильную внутреннюю связь с ним, что после одного сна, когда он меня посетил, я стала ощущать его близкое, постоянное и очень живое присутствие.

На мучившие меня вопросы я получала ответы либо чисто условные, либо призывавшие к покорности. И я вспомнила о Толстом, как единственном человеке, который не желал мириться пассивно со строем жизни, слагавшимся столетиями, но утверждал, что в каждом человеке живет способность выбирать между добром и злом и что каждый несет ответственность за все, что совершается в

мире. Со стихийной силой отстаивал он свое убеждение, что, познав истину, можно и нужно в соответствии с ней жить. Он казался мне как бы совестью человечества, и я решила пойти к нему со своими вопросами.

Моя мать была знакома с графиней Толстой. С самим Толстым она встречалась в Комитете помощи голодающим. И вот однажды (это было в январе 1900 года) в воскресенье – приемный день у Толстых – она взяла меня с собой.

Лакей ввел нас в маленькую гостиную, где графиня сидела с каким-то князем, родственником Толстых. Разговор шел самый незначительный. Но вот послышались шаги в соседней зале. Сердце у меня забилося. В этот момент я думала не о великом учителе, а о человеке, так хорошо понявшем Наташу. Из-за коричневой портьеры появился Толстой, в блузе особого покроя, руки за ременным поясом. Глубоко сидящие, светло-серые, острые глаза выглядывали из-под кустистых бровей. Я так хорошо знала это лицо по многочисленным изображениям: этот прекрасный лоб, этот широкий, вовсе не красивый, типичный толстовский нос, эту волнистую бороду.

Толстой поздоровался со всеми за руку и тотчас же с возмущением заговорил; он только что узнал, какую мизерную плату получает за свой труд кочегар на Казанской железной дороге. «Можно ли на это прожить с семьей! Ведь это белые рабы! И мы это терпим!»

Затем разговор перешел на бурскую войну. «Ведь это позор, что в наше время возможна война! Этого просто нельзя понять: каждый человек знает, что война – это ужас. Спросите каждого в отдельности – никто не будет отрицать. Но ни у кого нет мужества выступить против войны, ни у кого нет мужества поступить по совести, отказаться делать бесчеловечное дело. Если бы каждый поступал по совести, война стала бы невозможной. Но так как лишь очень немногие имеют это мужество, им приходится мучиться в тюрьмах; в конце концов их убивают и чудовищное преступление продолжается».

Вдруг Толстой повернулся ко мне и сказал очень серьезно: «Пожалуйста, обещайте мне, что Вы сделаете все, чтобы в Ваше время война стала невозможной». Я покраснела, но сказала очень решительно: «Я так и сделаю».

Как часто приходилось мне впоследствии вспоминать об этом моменте, когда я встретилась и встречаюсь теперь (я пишу в 1942 году) с тем, что стало возможно в наше время! Толстой, умерший в 1910 году, не увидел даже первой мировой войны.

Вернувшись домой, я написала ему письмо, прося об аудиенции. На другой день я рассказала об этом тете Саше, писательнице.

Как она меня ругала! «Дерзкая, самонадеянная девчонка, ты не дала себе ни времени, ни труда изучить его сочинения, ты ничего не пережила, ничего не сделала, ничего не выработала своего и имеешь дерзость отнимать время у великого человека!» – «Посмотри, – продолжала она, – я всю жизнь занимаюсь Толстым (вскоре появилась ее книга о недавно вышедшем романе Толстого «Воскресение» и о драме Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся») и не позволила себе нескромности отнимать у него время».

Я нашла, что она права. Я чувствовала себя уничтоженной, но что было делать? Дело было сделано, отступление невозможно.

Подавленная и дрожащая, я отправилась в тот же день к Толстому, чтобы самой получить ответ на мое письмо. Лакей открыл дверь, графиня сошла с лестницы мне навстречу. – «Пройдите в гостиную, я сейчас скажу Льву Николаевичу, что Вы пришли. Он хочет с Вами говорить». Он пришел, предложил мне сесть и говорил со мной так серьезно и дружески, что я совершенно успокоилась. – «Итак, Вы хотите меня о чем-то спросить?»

Смотря ему в глаза, я чувствовала, что эти глаза видят меня насквозь. Он знает, как это для меня серьезно, и не рассердится на мою просьбу. Может быть, мне и не надо ничего говорить, он сам знает, зачем я к нему пришла. Меж тем он сказал: «Я слышал, что Вы – ученица Репина; сегодня я еще раз любовался его картинами в Третьяковской галерее, что за волшебная у него кисть!» (В то воскресенье я тоже была в Третьяковской галерее, ходила следом за Толстым, стараясь угадать его мысли.) – «Да, я занимаюсь живописью. Но я хочу, чтобы мое искусство служило народу. Это и есть мой вопрос: как могу я своей живописью служить человечеству?»

Толстой ответил: «Я теперь большей частью не даю никаких советов, потому что меня неверно понимают. Но я верю, что Вы действительно серьезно спрашиваете, и я Вам отвечу. Вы должны отказаться от своего образа жизни, образа жизни девушки из состоятельной семьи. Искусство – плод любви, оно рождается из любви, как человек рождается из любви, вносит в жизнь нечто новое и преобразует ее. Вы должны отказаться от своих денег, жить с народом и работать, как любая крестьянка. Если же Вы будете жить во лжи, в которой живут все богатые люди, сможете ли Вы понимать, что нужно народу? Вы как будто сидите наверху башни и на ниточках спускаете оттуда вещички, которые внизу совсем не нужны. Это несправедливо – жить иначе, чем живет большинство человечества. Ничего хорошего из этого не может выйти. А картины писать, между прочим, Вы можете для отдыха, как играют в шахматы».

Я спросила: «Но если хочешь действовать через искусство, то ведь надо в нем совершенствоваться. Разве истинное искусство не действует на простое человеческое чувство? Сегодня в Третьяковской галерее я видела двух крестьян перед картиной Врубеля «Хождение Христа по водам». И я слышала их разговор». Только я хотела передать прекрасные слова этих крестьян, как Толстой сердито прервал меня: «Вот это и возмутительно, что наши образованные художники преподносят народу такой вздор. Они изображают Бога в образе старика, малюют всевозможные чудеса и суеверия, которые портят Евангелие, как ложка дегтя бочку меда. Вы читали мое Евангелие, Евангелие в моем понимании, очищенное от всей этой мистической чепухи?» – Пришлось признаться, что я с ним не знакома. – «Так прочтите», – сказал Толстой. Я не верила своим ушам. Как надо понимать Евангельские чудеса – я не знала! Однако я чувствовала, что именно в мистическом и чудесном содержании Евангелия – существо христианства, а не в моральном учении. Как можно просто вычеркнуть все это? Хотя в то время я не могла бы выразить все это в мыслительных понятиях, но для меня было чем-то само собой разумеющимся, что всякое земное преходящее явление имеет свой вечный духовный прообраз, и поэтому «старик с бородой» – как символ творческого производящего начала, начала Отца, действующего в нем, – может служить образом правдивым и действенным.

Я смотрела в глаза Толстого, сверкавшие сквозь густые брови, как глаза Пана сквозь лесную чашу, мудрые, как сама природа. Я чувствовала величие его личности, силу истины, которая в нем жила. Но слова, которые я в этот момент от него слышала, казались мне наивными, даже глупыми. Это противоречие для восемнадцатилетней девушки было непостижимо и невыносимо. Душа у меня разорвалась надвое. В этот момент графиня вошла в комнату. «Конечно, – сказала она, – Лев Николаевич советует Вам бросить искусство. Не слушайте его, он также и против музыки, но я не позволяю отнять у меня музыку. Если я не поиграю на рояле, мне в тот день чего-то не хватает».

Толстой встал и попрощался. Графиня, провожая меня по лестнице, спросила: «Как Вы нашли его? Он так слабеет. Я очень о нем беспокоюсь. Я стараюсь питать его получше и велела все кушанья варить ему на курином бульоне. Но он не должен об этом знать. Он думает, что он вегетарианец».

Я пришла домой совершенно разбитая. Душевное потрясение выразилось в сильных физических болях во всем теле, так что пришлось лечь в постель.

Через несколько дней я уехала в Петербург. Но и там я внутрен-

не занималась только Толстым. В мастерской разговоры с одним его последователем интересовали меня больше, чем живопись. От горничной моей тетки я получила списки некоторых его сочинений, запрещенных цензурой (такие горничные бывали тогда в царской России!). А когда весной мы с отцом и Нюшей поехали в Крым, я сначала совсем не замечала волшебной величественной природы юга – так я была погружена в свои раздумья. Лишь в Бахчисарае, бывшей столице татарских ханов, с его фонтанами и минаретами, старым дворцом и древневосточным неизменным строем жизни, я пробудилась для мира с его богатством и многообразием. Во время этой поездки мы имели возможность познакомиться с Максимом Горьким, который был тогда восходящей звездой. Встречалась я и с Сергеем Булгаковым. Из убежденного марксиста он превратился в идеалиста. Позднее он стал священником православной церкви и играл выдающуюся роль, особенно в русской эмиграции в Париже.

Растревожившие душу вопросы уже не отпускали меня. Проблемы искусства и социального устройства вели меня дальше к более глубоким вопросам о смысле жизни вообще. В то самое время, когда я старалась разобраться в религиозном учении Толстого, Владимир Соловьев писал свои «Три разговора», где он выступил против духовного направления Толстого. Только через год после его смерти (он умер в 1900 году) его сочинения попали мне в руки. И хорошо, что мне пришлось самостоятельно разбираться в этих проблемах. Я была рада позднее найти у Соловьева подтверждения моим собственным мыслям.

Толстой справлялся обо мне у одного знакомого. «Кажется, – сказал он, – я привел барышню в смущение».

Два ведра холодной воды – ответ на загадки бытия

Живя в Петербурге, я несколько отошла от нашего семейного уклада. Если я прежде видела в своей матери идеал и безусловно ею восхищалась, то теперь я на все смотрела критически. Она в то время очень активно занималась общественной деятельностью. Наш друг Джунковский был председателем Общества трезвости, поощряемого правительством. Собственно говоря, в России того времени это Общество заключало в себе внутреннее противоречие: с одной стороны, торговля водкой была монополией государства и приносила ему порядочный доход, а с другой – пьянству объявлялась борьба. Во многих местах Москвы открыва-

лись хорошие и дешевые безалкогольные чайные, при них моя мать устраивала народные библиотеки-читальни. Радостно было видеть этих крестьян и фабричных, углубившихся в книгу! Позднее моя мать учредила также Общеобразовательные народные курсы. Отсюда выросло крупное издательство с участием выдающихся ученых, издававшее литературу для самообразования. Во все эти начинания моя мать вносила много идеализма и воодушевления. Но в том критическом настроении, в каком я тогда находилась, я замечала у нее не столько искреннее желание служить народу, который она действительно любила (ибо именно это ее по-настоящему воодушевляло), сколько ее честолюбивое стремление играть роль.

Она любила «слово», как она говорила, и со слушателями курсов ставила пьесы, которые сама и писала. В очень пожилом уже возрасте она брала уроки декламации у известной артистки и нередко можно было слышать, как среди множества деловых разговоров по телефону она декламировала современные стихи. Работала она всегда бесплатно, но, вообще говоря, к моему великому возмущению, далеко не отличалась щедростью. Вслух я не высказывала своего мнения, но в моем молчании она чувствовала критику. Так между нами возникла натянутость.

Лето мы все вместе провели в Финляндии, в Ловизе. Там мне пришлось жить с ней в одной комнате и эта натянутость обострилась. Она требовала от меня чувств, которых у меня не было. Да и из какого источника могла я тогда почерпнуть любовь, когда я отчаивалась в самом смысле жизни! Она осыпала меня упреками и устраивала сцены. Бедная мама! Страстностью и деспотизмом своей любви она постепенно достигла только того, что испортила нам, даже моим кротким кузинам, наш домашний уют. Она сама больше всех страдала от этого, от той стены, которую она своей неуступчивостью воздвигала между собой и нами. Вероятно, ей было бы легче, если бы мы столь же резко выступали против нее. Но мы молча уклонялись, и так она оставалась все более и более одинокой.

Однажды я пошла в казино за обедом для моей заболевшей кузины и некий юноша вызвался мне помочь. Он принес к нам каstrюли и, казалось, совсем не собирался уходить. Это была наша первая встреча с Викентьевым, позднее – известным египтологом; в течение многих лет он был для нас с братом товарищем в наших исканиях. В то время он кончал гимназию. Катаясь под парусами по заливу, мы втроем – мой брат, Викентьев и я – горячо обсуждали загадочную аналогию между цветовым спектром и шкалой музыкальных тонов: не кроются ли здесь тайные духовные законы природы? Нас очень интересовало учение Гете о красках, и той же

зимой наш новый друг показал нам опыты Гете с цветом. Как совместить их с теориями Ньютона, в истинности которых мы тогда не сомневались? Это было трудной проблемой. Тогда же я прочитала биографию Гете одного английского автора, из которой, к сожалению, ничего нельзя было почерпнуть для понимания существа Гете. «Ему было хорошо, – думала я, – для него вера в Бога была предпосылкой. В его время естествознание еще не принуждало к материалистическим выводам, а социальный вопрос для этого олимпийца, по-видимому, и вовсе не существовал».

На обратном пути из Ловизы мы видели водопад Иматра. Ярость водяных масс, низвергающихся со скалы, повинующихся в своем безудержном падении только своей собственной природе; внизу – ими теснимые вздыбленные валы; две лавины – сверху и снизу – сшибаются, как два войска всадников на белопенных конях, непрерывно разбиваясь и вновь восставая; косматые ведьмы сталкиваются в схватке, силятся прыгнуть до небес и застилают воздух тонким туманом – вся эта тысячеголосая и тысячеобразная стихия, в которой каждая частичка, кажется, стремится заглушить и подавить другую и которая все же в своем многообразии неизменно остается сама себе равной, вызывала в душе чувство, невыразимое словами. Я стояла на сотрясаемом порывами ветра дрожащем деревянном мостике, промокшая под брызгами клокочущих струй, оглушенная гулом яростно ликующих стихий. И все это – чисто механическое явление? Почему же так сильно отзывается на него душа, как будто в этом свержении в бездну она сама, ликуя и ужасаясь, переживает что-то извечно родное?

В Петербурге я как-то раз вместо картинной галереи Эрмитажа, которая в тот день оказалась закрытой, провела несколько часов, рассматривая драгоценности и другие предметы, найденные при раскопках курганов в степях. Мифологические звери, животное-растительные орнаменты и другие изделия из кости, меди и золота поражали красотой и казались мне чем-то родственными впечатлению, испытанному недавно от встречи с водяной стихией. Почему же наше время больше не может или не хочет создавать подобные вещи? Где истоки такого творчества? И на этот вопрос у меня не было ответа.

В октябре мы поехали на Всемирную выставку в Париж, который я не видела с детства. Лицо любимого города, казалось мне, было искажено этим чудовищем – так я воспринимала Выставку. В том душевном состоянии, в котором я тогда находилась – без компаса и твердой почвы под ногами, – я чувствовала себя затерянной в этой суетлоке. Освещенные бенгальскими огнями водопады Трокадеро,

также освещенное бенгальскими огнями коловращение юбок Луизы Фуллер, ложноэкзотические танцы знаменитой красавицы Клео де Мерод, а особенно ослепительная публика оставляли в моей душе только чувство пустоты и уныния. Среди всевозможных машин и зрелищ все время преследовали меня вопросы о смысле всей этой культуры и о смысле жизни вообще. Или существует реальный духовный мир, который я могу познавать также ясно, как математические истины, или же все в мире бессмысленно и такие слова, как «добро» и «зло», «красота и безобразия» – только условные фразы. Однажды я сбежала одна в старую часть Парижа, куда не достигала сутолока Выставки. Я вошла в собор Нотр Дам и долго всматривалась в фиолетовое, красное, темно-синее пылание розеток, поднялась на башню и разглядывала загадочные рожи химер над городом. Потом спустилась в морг – низкое мрачное здание у Сены, где лежали жертвы несчастных случаев и самоубийцы, чтобы близкие могли их опознать. До сих пор я вижу эти трупы. Особенно одну старуху с растрепанными волосами и распухшим лицом, один глаз закрыт, другой – требовательно устремлен к небу. Я думала: «Если бы не было духовного мира, то ни отвратительное, ни прекрасное не могли бы так потрясать душу». Из этого одинокого скитания я вынесла переживания, которые стали для меня вехами на пути. На самой Выставке меня восхитило только одно: японский театр со знаменитой актрисой Садаёкко, первой женщиной на японской сцене. Каждый жест ее игры еще живет во мне. Это не было натурализмом, все происходило очень быстро, надо было быть очень внимательным и наблюдать, чтобы уловить нюансы ее игры. Поражал и освобождал от напряжения момент, когда действие, достигнув высшей точки аффекта, внезапно переходило в стилизованные движения, например, сцена битвы превращалась в ритмический танец с палками. «Это искусство, – думала я, – проистекает из древней культуры, почему же нам, в наше время, такое искусство недоступно? Древние культуры в художественном отношении были, значит, выше нашей!»

Для меня настало трудное время «внутренней дискуссии» с материализмом. Я читала Дарвина и Геккеля, из их работ вытекали выводы, которые для меня самой означали уничтожение чего-то во мне существующего. Но я хотела быть беспощадной к себе и к своим субъективным склонностям. Позднее из биографии Геккеля я узнала, что как раз те годы, когда его учение приводило меня в отчаяние, были для него годами счастливой любви. Я понимала: если материалистическая картина мира истинна, то нельзя говорить о человеческой морали. Если рассматривать человека как высший вид живо-

тного, то борьба за существование для него – необходимость. Тогда эгоизм не только оправдан, но становится высшим идеалом. Судьба человека – комплекс бессмысленных случайностей. Если природа – механизм, то все, что человек воспринимает как настроения природы, – только субъективные ощущения, иллюзия. Даже о цвете и звуке нельзя, в сущности, говорить, потому что на самом деле это только колебания. И ландшафт, прежде так живо мной воспринимавшийся, становился для меня трупом некогда любимого существа. Доходило до того, что я не могла без содрогания видеть звездное небо, это бездушное бесконечное пространство, в котором механически вращаются мертвые тела планет. Однажды на балу, когда в танце мы вереницей пробегали по залам, я представила себе здание без крыши и прямо над нами – бездну пространства, в котором наша земля среди других планет бессмысленно проносится в ничто, как мы здесь проносимся по залам.

Вспоминаю разговор с друзьями-студентами той же зимой. В сумерки мы пошли к Новодевичьему монастырю и оттуда на лыжах по снежному полю к Воробьевым горам. В какой-то избе мы согрелись чаем и лунной ночью возвращались домой. Какая отчаянная жажда знаний горела в этих разговорах, которые мы вели по дороге! Особенно с Алексеевым, тогда студентом, а позднее – известным профессором химии Томского университета. Знаменитая речь Дюбуа-Реймона 14 августа 1872 года о границах естествознания волновала умы. Что есть материя? Как из материальных процессов возникает сознание? На эти вопросы естествоиспытатели отвечали: «Не знаем и никогда не узнаем!» Если это действительно так, думала я, то жизнь есть процесс, недостойный человека, и мы, собственно говоря, обязаны с ней покончить. Я не только думала так, я так чувствовала. Каждый прожитый день казался мне бессмысленной процедурой, комедией, недостойной человека. Но снова всплывал вопрос: «Откуда же у меня понятие о человеческом достоинстве, откуда я его взяла? Если человек – только частица механической природы, то почему жаждет он того, чего в природе нет? Откуда у него эти вопросы?» Как-то я спросила отца: «Для чего мы живем?» – «Для других, – ответил он, – потому что мы их любим». Этот ответ не удовлетворил меня. Значит, подумала я, и он только из жалости к нам не уходит из жизни. Моя мать заметила мое душевное состояние и обратилась к врачу – старому другу нашей семьи. Ежедневно я приходила к нему в водолечебницу, где меня окатывали двумя ведрами холодной воды. Милый старичок не жалел времени и каждый день вел со мной беседы о прогрессе человечества. «Не вижу никакого прогресса, – отвечала я, – напро-

тив, во всем становится все больше пошлости и безобразия». «Подождите, – утешал он меня, – вот придет революция, и мы с вами будем вместе с левыми радикалами». Слава Богу, добряк умер, не дожив до революции. Хотя он и не понимал мучивших меня проблем, но я была ему благодарна за его беседы, потому что он рассказывал мне о своей работе и о своей страдальческой судьбе, и это как-то привязывало меня к жизни.

Однажды, когда он был в отъезде, его молодой ассистент открыл книгу записи больных и, прочитав запись обо мне, спросил: «Ну как Ваши мрачные мысли?» – Значит, мое самое интимное выдано чужому человеку! Когда врач вернулся и спросил, как я себя чувствую, я сказала, что у меня все в порядке, и он выписал меня как выздоровевшую. Должна, однако, отметить, что теперь я с признательностью вспоминаю два ведра холодной воды, ежедневно на меня выливавшихся: хотя они никак не разрешили мировых проблем, но они укрепили мой организм, так что неразрешенные проблемы не могли уже действовать на меня так разрушительно.

В то время мой брат постепенно пробудился от своего мальчишеского отупения, и я открыла, что он мучается теми же проблемами, что и я. Однажды он взял пистолет и поехал за город. Мы с Нюшей очень встревожились, и она бросилась за ним. Теперь передо мной стояла задача: доказать ему, что в жизни есть высочайший смысл. Вспоминаю множество вечеров, когда мы с ним ходили взад-вперед по комнате и, как утопающие, искали за что ухватиться. Эту спасительную опору мы думали найти в математике: раз мы можем, думала я, воспринять математическую истину, которая ведь есть нечто объективное и абсолютное, значит, это абсолютное есть в нас, а также и в мире. Некоторые переживания – вроде подобных – давали мне непосредственное ощущение, что духовные закономерности в мире существуют.

В нарядном летнем платье, в комфортабельной коляске на резиновых шинах я проезжала по самым оживленным улицам города. Впереди медленно ехала фура. Из-за скопления экипажей кучер Терентий не мог ее обогнать. На ее черной задней стенке было окошечко, забранное решеткой. В таких фурах возили арестантов. Я всмотрелась и за решеткой увидела бледное лицо. Наши глаза встретились, человек ухмыльнулся. Даже теперь, вспоминая эту циничную усмешку, этот отчаянный взгляд, я испытываю тот же ужас. А тогда – как будто кровь застыла в жилах, я не могла отвести глаза. Потом я думала: есть, не может не быть более глубоких миров, чем те, которые охватывает наш разум. Если бы не было высших миров, не могло бы быть в мире и таких пропастей. Тем же летом – это было

в нашем имени – мы с братом поехали вечером на станцию отправить телеграмму. Пока он ходил выполнять поручение, я ждала на улице. Из освещенного окна станции слышался детский голосок – ребенок пел. Может быть, это девочка лет четырех укачивала куклу. Чистота этого детского голоса в ночном ландшафте трогала так, что мне хотелось плакать. На обратном пути мне все казалось одушевленным, из каждого куста, из каждого дерева выглядывало как бы некое существо. Что же это такое, что ощущаешь ты в чистоте детского голоса, в природе, если мир – только механизм? Не доказывает ли это, что и нечто другое – тоже реальность? Но когда я утром проснулась, проснулись и прежние сомнения.

Для пополнения нашего образования моя мать организовала у нас в доме лекции по истории искусств. Слушателями приглашались наши друзья и знакомые. Лекции читал старик профессор Кирпичников, собственно больше археолог, чем искусствовед. Говорил он довольно сухо и скучно. Только в первый вечер с некоторым воодушевлением рассказал, почему он решил посвятить свою жизнь науке: еще молодым человеком он увидел на одной старой гравюре изображение человека, читающего книгу; человек был погружен в чтение, его лампа бросала кружок света на открытую страницу, а кругом все тонуло во мраке. «И я подумал, – сказал Кирпичников, – как хорошо, что в непроглядной тьме окружающего нас мира хотя бы маленький ограниченный кусочек мы можем осветить наукой». Против такого смиренного рассуждения все во мне бунтовало. «Вот уж это, действительно, меня никак не удовлетворило бы», – думала я.

Профессор начал с византийского искусства, он называл его наивным и беспомощным. Разногласия в археологии он разбирал очень подробно. Поэтому наши гости приходили на лекции больше из-за второй, более интересной части наших вечеров.

После обычного чая мы играли в шарады, устраивая длинные драматизированные представления. Нюша, обычно такая тихая и молчаливая, костюмируясь, совершенно преображалась и выказывала в этих играх бездну фантазии и юмора. Я, несмотря на свое «жизнененавистническое» настроение, принимала в них живое участие. Весь дом, шкафы и сундуки переворачивались вверх дном, так что нашим девушкам потом приходилось немало повозиться с уборкой. На несколько часов я забывалась в этом опьянении, но по уходе гостей пустота леденила душу еще ужасней.

Нам было предложено писать рефераты, и я выбрала необычную для того времени тему: о чудовищах в средневековом искусстве (гротеск тогда еще не был в моде). Наш милейший профессор мало

что мог мне сказать. Он порекомендовал несколько книг. Сидя в солнечном зале Румянцевской библиотеки, я читала Виоле-ле-Дюка и средневековый «Bestiarium»: «Кровь слона охлаждает огонь крови дракона» или «Единорог преклоняет колена перед Девой, под рогом у него зеркальце»... Эти образы чаровали меня своей загадочностью, но что с ними делать – я не знала. Позднее я увидела в них образы реального душевного мира.

На Рождество Общество попечительства о бедных устраивало праздничные елки для детей бедняков. Моя мать организовала такое празднество для детей нашей округи, мы и наши молодые друзья помогали ей. В нанятом для этой цели довольно мрачном помещении на пользующейся дурной славой рыночной площади собралось много детей. После народного кукольного представления с Петрушкой, который меня всегда восхищал не менее, чем детей, зажгли свечи на огромной елке. В соседней комнате раздавались подарки, каждый получал отрез ситца на платице или рубашку, игрушку и большой пакет со сладостями. Товарищ моего брата, взявший на себя раздачу подарков, великолепно умел подойти к каждому ребенку, предлагая выбрать вещи, советуя взять ту или иную материю, как наиболее для него подходящую. Такое обращение было для этих детей чем-то неслыханным. А мы тем временем с другими детьми играли вокруг елки. Любимая игра – «Золотые ворота»; ее таинственные стихи, звучащие как будто из глубины древних мистерий, соединяли нас всех в общем ритме и общем воодушевлении. Ах, эти ребятишки, в бедных платицах, большей частью или слишком длинных, или слишком коротких, с такими разными личиками! Они еще мягки и бесформенны и потому особенно богаты возможностями. Эти глазки – через них Ангел смотрит в наш жуткий мир! Эти доверчивые и все же такие запуганные взгляды, эти худенькие, нежные, липкие ручонки – холодные и горячие, спокойные и нервные, которые одна за другой схватывали мою руку! Несколько часов радости в году – вот все, что я могла им дать. Я сама в эти часы была, может быть, самой счастливой. Но потом, когда мы остались одни в опустевшей унылой зале, опять воззрилось на меня то же чудовище: какой же может быть смысл жизни, если из таких милых детей слишком часто выходят совсем немилые взрослые? Не только в культуре в целом, но и в жизни отдельных людей я видела только регресс, только упадок. Ангел сегодня еще смотрит сквозь эти детские глаза, но через несколько лет он будет омрачен и похоронен под грузом животности, подлости и всяческой неправды в российской действительности.

Поиски первоисточков

Каждый год в Вербное Воскресенье на огромной Красной площади у Кремлевской стены устраивалась ярмарка. Повсюду колыхались похожие на облака пышные связки разноцветных воздушных шаров. Время от времени их отпускали и они взмывали вверх, исчезая в синеве. Чего только здесь ни продавали! Щебечущие птицы в клетках, цветы в горшках и букетах, народная керамика, деревянные, пестро раскрашенные игрушки. А также драгоценные древние иконы, медные и выложенные эмалью кресты, церковная утварь, парча и другие антикварные вещи. Продавали пачки вербных свечей, украшенных бумажными розами и восковыми ангелочками. Каждый москвич – все равно какого сословия – считал, так сказать, своим долгом в Вербное Воскресенье побродить по площади. Особенно любителям книг здесь было раздолье, а бедные студенты шли сюда, чтобы купить подержанные учебники. В том году я из-за гриппа не была сама на площади, но один из друзей-студентов, о котором я знала, что он действительно живет впроголодь, передал мне через Полю купленную им для меня книгу. Это глубоко меня тронуло. Книга была «Федон» Платона – диалог о бессмертии души. Я тотчас же ее прочитала. Это было первым проблеском света в моих поисках. А немного спустя судьба послала мне вторую книгу: «Бхагавад-Гиту». Конечно, я понимала ее тогда односторонне, но материалистическое мировоззрение пошатнулось. Отныне весь внешний мир стал для меня «видимостью».

Как раз в это время мы с семейством Авенариусов, с обеими Надями, поехали в наше имение. Была ранняя весна, яблони цвели в нашем чудесном саду, липы еще не распустились. Белым видением предстал мне наш сад. Я читала мою «Бхагавад-Гиту»; мир не был больше механическим явлением, он стал сновидением, майей.

Скоро приехал из Москвы брат с тремя товарищами, они кончили гимназию и щеголяли в новенькой студенческой форме. В один миг они стали считаться взрослыми. В России тогда переход из гимназии в Университет означал для молодых людей решительную перемену жизни. Начались ночные прогулки до самого восхода, дальние поездки на тройках. Много музицировали, так как Нюша и Надя хорошо пели, а Любимов прекрасно аккомпанировал им на рояле. И между всеми этими талантливыми и красивыми молодыми людьми жили, не высказываясь, волнения первой любви. Я участвовала в увеселениях и казалась даже душой всего этого, но внут-

ренне оставалась безучастной. Я была как мертвая и сама себе казалась похожей на того умершего предка из древнеславянского племени, которого родичи возили из семьи в семью для участия в тризнах по умершим членам рода.

Но однажды Надежда Ивановна Авенариус позвала меня и отчитала. Она видела, что я все более отчуждаюсь от жизни, что я как бы парю над жизнью и все, что другие для меня делают, принимаю как должное. «Такое направление нездорово, даже безнравственно», – говорила она. Моральные проповеди редко имеют успех, но эта подействовала. Я старалась усилием сознания включиться в жизнь. То, что сначала было упражнением, постепенно становилось второй натурой.

Осень мы провели в Зарайске, уездном городке Рязанской губернии, где у Авенариусов был дом с большим садом на окраине города. В Зарайске я познакомилась с гениальной художницей-скульптором Анной Голубкиной, ученицей Родена. Ее родные, простые огородники, торговали огурцами. У нее не было средств жить в Москве или Париже и пришлось отказаться от занятий искусством, чтобы помогать семье. Крупная, выразительная фигура, строгие резкие черты лица, но, когда она улыбалась – что случалась редко, – это лицо сияло детской добротой. Позднее я часто бывала у нее в Москве, когда с помощью друзей ей удалось снова вернуться к искусству. Ее бескомпромиссная мученическая жизнь, ее оригинальная манера видеть вещи не в абстракциях, но все выражать в живых описаниях имела на меня очень большое влияние. В ее присутствии я чувствовала все недостатки общепринятого, сентиментального, барского воспитания и образа жизни и жаждала вырваться из своей среды.

В зимнем семестре я прилежно работала в мастерской. Константин Коровин нередко приходил поправлять наши работы. Его поправки заключались в том, что, остановившись около меня, он шептал на ухо что-то о красоте цвета, открывающейся на модели или на фоне картины. Он шептал: «Видя Вашу манеру живописи, я представляю себе, что Вы могли бы написать картину...» И он описывал ее приблизительно так: «Снег за окном с синими тенями, а на переднем плане кто-то в белом, легком платье с маленькими лиловыми цветочками»... и т. д. Его нашептывания действительно вдохновляли. Я сделала тогда большие успехи.

Моим идеалом в живописи был Михаил Врубель, о нем я уже говорила. Его судьба трагична: он ослеп и от этого сошел с ума. Один из моих соучеников по мастерской – Чуйко, маленький человек, похожий на Силена, который сначала показался мне отталкивающе

безобразным, тоже был поклонником Врубеля. Это положило начало нашей дружбе, длившейся много лет. Наше поклонение Врубелю мы переносили на его жену, очень талантливую певицу. Выступая в поэтических операх Римского-Корсакова на сцене Частной оперы Мамонтова, она воплощала сказочные образы Врубеля. Там же мы слушали тогда и молодого Федора Шаляпина.

Шаляпин... Певец, голос которого, будто поднимаясь из какого-то неистощимого родника, наполнял собою пространство; казалось, что у этого голоса нет границ, потому что, проходя через гортань певца, он звучал из какого-то непостижимого космоса. Шаляпин своим искусством мне свидетельствовал, что человек – божественного происхождения, что и царство человеческое – в ряду божественных иерархий. Каждое слово, формируемое им из гласных и согласных и доносимое до нас звуками его голоса, было как бы новым деянием миротворения – бесконечно богато нюансами и совершенно правдиво, правдивей всякой действительности. Также и жесты его прекрасной мощной фигуры – он был на голову выше всех на сцене – были реальной повседневной реальности, его руки, преображающиеся с каждой новой ролью, говорили таким же мощным языком. Жизнь открывалась через него в своем великом таинстве. Я уже не спрашивала о смысле жизни – я его переживала. Шаляпин стал для меня мерой подлинности и величия в искусстве. Лишь позднее я узнала из его автобиографии, как сознательно он работал. Тогда же он казался мне как бы осененным неким Демонном, сверхчеловечески великим. Когда мне рассказали, что Шаляпин, работая над ролью Ивана Грозного, расспрашивал о нем историка Ключевского, я очень удивилась: мне казалось, напротив, что Ключевский мог бы спрашивать Шаляпина о существовании этого царя.

Теперь я уже не старалась рассудком обосновать жизнь, но в самом переживании искала коснуться ее истоков. Я доверилась чувству. Искусство доказало мне, что чувство вовсе не должно быть только субъективным. Поэтому и в живописи я совершенно отдавалась жизни в красках.

В области искусства в Москве в то время было много прекрасного. В Малом театре, где господствовали классическое направление и хорошие традиции, выступали превосходные актеры. Театр Станиславского, ставя пьесы Алексея Толстого, Чехова, Ибсена, Метерлинка и других, боролся за новые средства выражения в искусстве актера и режиссера. Через выставки и журнал «Мир искусства» в изобразительное искусство тоже проникали новые импульсы. Им-

рессионисты завоевали право голоса. Литературно-критический журнал «Весь» знакомил с современным французским искусством.

В Румянцевском музее я копировала акварельные эскизы Александра Иванова на библейские темы – я задумала когда-нибудь выполнить их на стенах нашей деревенской церкви. Этот художник тридцать лет работал в Риме над одной гигантской картиной – «Явление Христа народу». На переднем плане – группы людей на берегу Иордана. Они слушают проповедь Крестителя. Вдали на холме виден идущий Христос. Хотя в отдалении его фигура сравнительно очень мала и в голубом плаще почти исчезает на голубом фоне, она производит впечатление большой и центральной. Картина, выполненная согласно условиям эпохи в классическом стиле, производит необычайно сильное впечатление. В том же помещении, стены которого были увешаны этюдами к картине, стояли два вращающихся стенда с акварелями на темы Ветхого и Нового Завета. Эти листы я причисляю к прекраснейшим произведениям искусства нашего времени. В них художник совершенно свободен в своем творчестве, и если он и черпает из традиций древнеассирийского, египетского и греческого архаического искусства, особенно же, из христианской мозаики и иконописи, то все же эти традиции преобразуются собственными его переживаниями. Слияние реально физического с духовным прообразом, составляющее сущность библейских событий, мастерски достигается здесь простыми средствами. Какая-нибудь кружка, одежда, жест – все земное и в то же время духовно просветленное. Единственны и убедительны его тройные ауры: три красочных слоя, нанесенные один на другой, проницают друг друга, волшебным образом создавая впечатление неземного пространства. Причина, почему эти эскизы так мало известны, заключается, я думаю, в том, что в то время, когда они были привезены в Россию, господствовал натурализм, сменившийся затем импрессионизмом и экспрессионизмом. Что теперь они не ценятся в коммунистической России, объясняется самим их содержанием. Если они тем временем не выцветут, их когда-нибудь откроют. Маленькая чудесная картинка Рембрандта, висевшая в той же солнечной зале, где так приятно пахло скипидаром и красками, нисколько не умаляла впечатления от работ русского, не признанного современниками художника.

Тем временем в Москве произошли события, тяжело отозвавшись также и на нашей семье. Жестокий царский режим, распространявший свое мертвящее действие на все области жизни, вызывал всеобщий протест; среди учащейся молодежи господствовало революционное настроение, в те годы оно становилось все заметнее.

Прошел слух, что студенты намереваются собрать сходку и потребовать автономию высшей школы. Но всякое собрание, не разрешенное полицией, считалось политическим преступлением. Однажды утром брат заявил нам, что он отправляется в Университет на такого рода собрание. Он надел сапоги, которые обычно носил в деревне, взял кусок колбасы и – самое ужасное – финский нож: такие ножи считались оружием и строго запрещались. Мне казалось, что Алеша – ему не было тогда и восемнадцати лет – затеял игру в разбойники. Впоследствии он рассказал мне, что решил пожертвовать жизнью, так как все еще не видел в ней никакого смысла, но хотел сделать это, по крайней мере, ради свободы. Когда я затем днем по дороге к бабушке проезжала мимо Университета и Манежа, там стоял отряд казаков, их алые мундиры сияли на февральском солнце, что означали здесь эти казаки – я, конечно, понимала.

Бабушку я застала в спальне перед иконами. «Твой брат дома?» – грозно спросила она. – «Нет». Она стала бранить его такими словами, что я испугалась.

У нас дома царил страшная тревога. К вечеру пришли студенты, участвовавшие в собрании, и рассказали, что отпущены по домам те, кто требовал только автономии высшей школы. Но Алеша объявил себя сторонником политических реформ, а это означало восстание, то есть грозило смертной казнью. Моя мать была вне себя. Она ругала то Алешу, то тех, кто трусливо ушли с собрания или даже вообще сидели дома; ее сын казался ей то героем, то преступником. Появился наш друг Владимир Джунковский, бывший тогда генерал-губернатором Москвы и, осведомившись об Алеше, обещал родителям привезти его домой. Студенты собрались в башенном помещении Университета и забаррикадировали ведущую туда винтовую лестницу. Этим путем казаки не могли их взять; тогда они проломили стену соседнего здания и ворвались в залу. Под штыками солдат студентов перевели в Манеж. Брат шел последним. Джунковский ждал его у университетских ворот. «Алеша, Ваша мать ждет Вас, пойдемте со мной». Но тот гордо прошел мимо, не здороваясь. Ночь молодые люди провели в Манеже, а утром их отправили в Бутырскую тюрьму на окраине Москвы. Время от времени мы всем семейством в больших санях ездили по тающему снегу в тюрьму на свидание со своим арестантом. Его выводили к нам под конвоем двух вооруженных солдат. Однажды, когда мы приехали на свидание, нам сказали, что студенты объявили голодовку и брат так слаб, что не может к нам выйти. Эту голодовку арестованные объявили в знак протеста против того, что в камеру

политических женщин были помещены конвойные солдаты. Можно себе представить нашу тревогу! Наказание для «политических» ожидалось самое суровое – смертная казнь через повешение. Царю были поданы петиции, и смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Брата с двумя товарищами перевели в Курскую тюрьму, находившуюся в ведении брата Владимира Джунковского. В августе того же года Алеша лично был помилован и освобожден. Он был лишен права закончить образование в России и уехал в Германию, намереваясь заняться техническими науками, где поступил сначала на год практикантом на фабрику в Альтоне.

Просветленная земля

Все это время я продолжала работать в мастерской. Благодаря углублению в чистый мир красок и звуков я стала восприимчивой к впечатлениям иной реальности. Сначала этот мир коснулся меня в удивительных снах. В них разворачивались целые повести, которые позднее в метаморфизированном виде осуществлялись в моей жизни. Также и некоторые образы, и слова – как указания для работы в искусстве – я выносила из этих снов. Тогда же я впервые прочитала «Братьев Карамазовых» Достоевского. Образ и слова старца Зосимы произвели на меня глубокое впечатление. Вопрос о существовании христианства стал передо мной и требовал решения. Ранней весной я поехала на несколько дней отдохнуть в деревню к тете Анне; ее муж, управляющий фабрикой, жил там в то время один. В этом доме я и раньше нередко спасалась от тревог города. К своему удивлению я заметила, что и этому столь «земному» человеку не чужды духовные интересы. Он дал мне прочесть «Оправдание добра» Владимира Соловьева. Это была моя первая встреча с философом. Будто золотой свет озарил мою душу и преобразил ее, и вся природа вокруг стала откровением этого света, этой любви. Перламутровые блики на стволах и фиолетовые на безлистных еще кронах березовых лесов с темно-зелеными елями между ними, душистые фиалки на коричневой прошлогодней листве под ногами, смарагдовые вспышки новой зелени, дыхание влажной земли и нежно-зелено-голубое небо – все возникло из творческого Слова, из той же любви, которая живет в душе, возвращая творение к его первоисточнику. Я снова увидела вокруг себя мир как нечто исконно свое. Божественное Слово открывалось в мировом свершении, как Оно открывалось во мне самой, в моей любви, в

моих мыслях. Также и краски стали реальнее, в них проступала живая душа.

В то же время сюда приехал отдохнуть мой младший дядя Сергей Сабашников, издатель. Я пробовала описать ему свои переживания. Но его одностороннее материалистическое воспитание не допускало подобных восприятий. – «Как, – говорила я, проходя с ним по лесу, – можете Вы верить, что эти фиалки, эти ликующие птичьи хоры, этот золотистый свет – только результат механических процессов, бессмысленно и случайно возникшие образования?» Да, так именно думал он, такой умный и музыкально одаренный, но внутренне как бы сведенный судорогой скепсиса человек. Как хотелось мне вывести его из этой судороги, которая, собственно, была судорогой отчаяния! Но тщетно. Если этот новый мир, который я открыла в себе и вокруг себя, останется только моим субъективным чувством и будет радовать только меня – этого мне мало. Но без серьезного знакомства с естествознанием я не могла обосновать значимость моих мыслей для других. Надо хорошо изучить границы научного познания. Чтобы иметь твердую почву под ногами, я решила поступить на Московские высшие женские курсы (тогда женщины еще не допускались в Университеты). Моя мать одобрила это решение, но по совсем другим причинам: непонятный страх перед будущим, тревога, что мы можем лишиться состояния, всегда жили в ней. Она хотела для меня какой-нибудь надежной профессии, хотя бы лаборантки, потому что живописью, по ее мнению, нельзя прокормиться. Так я записалась на курсы. Новый семестр начинался осенью. Но между весной и осенью многое может случиться.

В мае мы вместе с целой компанией молодежи были приглашены в имение Авенариусов. Так как большой новый дом еще не был готов, мы все ютились в домике управляющего. Я спала в комнатке, весь день и для всех служившей проходной. И тем не менее на меня напал там удивительный сон – восемь суток я спала день и ночь и появлялась только к столу в виде какой-то полусонной фигуры. Этот странный сон был как бы погружением в живое море чрезвычайно освежающих образов. Во сне кто-то обучал меня живописи. Я и теперь еще помню несколько слов. Когда это состояние прошло, я усердно принялась писать и сделала этим летом совершенно неожиданные успехи.

Несколько недель я провела у бабушки в имении Соколово, в том самом доме, где когда-то жил Александр Герцен с друзьями; он рассказывает об этом в своих воспоминаниях. В большой круглой комнате под самой крышей я писала свой автопортрет. Эта работа

имела для меня большое значение, так как принесла первый успех у публики.

Судьба послала мне тогда «Мысли» Паскаля. Паскаль и Соловьев – две колонны ворот, открывавших мне путь к новому пониманию христианства. Я была глубоко счастлива; мысль больше не противоречила вере. Полувеком раньше здесь, в этом доме, Герцен окончательно порвал с верой в существование духовного мира. Для него это означало также разрыв с ближайшими друзьями, не совершившими такого же шага. В то время Герцен радовался, встречая молодого человека, имевшего мужество отрицать реальность духовного мира. То, что Герцену в лучших людях его эпохи казалось освобождением человека, в наше время привело к уничтожению человечности. И вот в том же самом Соколове юная душа праздновала теперь открытие нового, соединяемого с мыслью, свободного пути к христианству!

В Соколове я читала бабушке вслух книгу Лескова «Соборяне», повествующую о страдальческой жизни русского священника. Какая Христова сила живет в этом художнике! У него, как ни у кого другого, открывается душа русского народа. Эту живую Христову силу я искала теперь повсюду, где она чувствуется в России; я была счастлива, найдя мир, связывающий меня с моим народом. Это был также мир моей бабушки, а я ее очень любила.

И в нашей усадьбе, где мы провели конец лета, эта живая Христова сила встречала меня повсюду. Я глубоко вдыхала ее вместе с картинами природы, лицами людей, книгами, которые тогда читала – Глеба Успенского, а также Мельникова, описавшего прошлое родного мне края. Каждое воскресенье мы с кузиной Елизаветой ходили в нашу деревенскую церковь. В деревне, в атмосфере жизни народа, связанного с землей, богослужение воспринималось иначе, чем в городе. Чаша, возносимая над полями, видимыми через створчатые окна церкви, и над коленапреклоненным деревенским людом, являлась мне солнечным сердцем самой Земли. Кто-то сказал однажды, что в русской церкви чувствуешь себя, как в праячейке Земли.

В осенней природе – просветленная кротость. Согретая солнцем солома на сжатых полях блестела, как золотая, под неправдоподобно синим небом. Нога скользила по теплому жнивью, и эта блестящая солома сама казалась мне божественного происхождения. Как будто летнее солнце отдало себя в жертву земле и теперь излучалось из земли в пламенном пурпуре листвы. Снова думала я о стихах Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что́ сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

С того времени глубокая дружба связала меня с Елизаветой. Она явилась мне воплощением России. Только теперь я заметила, как она красива. Смирение и величавость в осанке, те же смирение и величавость в крутом изломе бровей. Миндалевидные глаза, нос с небольшой горбинкой и очень маленький рот придавали ей сходство с русскими иконами Богоматери. Сторонясь свободомыслия, господствовавшего тогда в нашем кругу, она с детства шла своим собственным религиозным путем. Ее находили неинтересной, мне самой она раньше казалась чем-то вроде старой девы. Моя мать считала, что Елизавета так неумна, что никогда не станет взрослой, и она всегда старалась ее опекать, поэтому, пока она жила у нас, своеобразие ее натуры не могло раскрыться. Только мой отец всегда говорил: «У Елизаветы мудрое сердце». Какая душевная зрелость отличала эту женщину, что это был за характер – открылось по-настоящему много позднее, в жестокие годы революции, когда она была опорой не только своей семьи, но и многих людей, которым она помогала с поистине безграничной самоотверженностью.

Тем же летом, столь богатом впечатлениями, когда мы – три сестры – жили в нашем имении, я писала портрет Ньюши; впоследствии он имел большой успех и был приобретен музеем. В бабушкином платье из шелка-сырца, мерцающего розовыми полосами – мы нашли его в старом сундуке, – Ньюша сидит на перилах балкона, на плечах – серая кружевная шаль, в руке – букетик васильков; на заднем плане – золотые березы, через них просвечивает светло-голубое небо. Впечатление, которое эта картина производила и, как я слышала, до сих пор производит, объясняется, может быть, тем, что эти краски в то время во мне самой действительно жили.

Осенью тетя Саша, писательница, взяла меня с собой в поездку по Италии. Мы посетили Вену, Венецию, Болонью, Падую, Равенну, Флоренцию и Рим. Тетя смеялась над моими взрывами восторга и, в противовес, требовала от меня основательного изучения источников. Я должна была объяснять архитектуру церквей, особенность стиля или мастерства, предварительно подготовившись. Она не разделяла моего восхищения византийской мозаикой, египетской скульптурой, архаическим искусством. Для нее все это имело только научный интерес. Я же, напротив, тогда не понимала ее поклонения Рафаэлю, которого я хотя и любила в детстве, но в котором я лишь много позднее снова увидела величайшего мастера. Это различие наших склонностей объясняется не только разницей возраста; мое тяготение к сакральному гиратическому искусству, которое в те годы еще не было модным, а шло только из меня самой, связано с началом новой эпохи. Мы должны глубже отойти в прошлое, где еще можно отыскать те творческие родники, которые в будущем заново откроются на другой ступени сознания. Тетя же со своим устоявшимся замкнутым мировоззрением, была вне всего этого. Но в церкви Санта Мария делла Арена в Падуе или перед фресками Джотто мы были с ней абсолютно едины в своем восхищении.

Полная новых впечатлений, я приехала в Москву и с опозданием начала занятия по естествознанию на курсах. Но сухость и скука читаемых лекций ужасала меня. Каждый день, проведенный в этих серых аудиториях, казался мне потерянным. Теперь я любила только живопись, мои научные планы улетучились. Но мама не соглашалась, чтобы я так скоро бросила занятия на курсах, и мне пришлось выдержать еще несколько месяцев. Случай мне помог. У нас бывал известный утонченный художник Мусатов. Он был горбат, но несмотря на скрюченную фигуру, обладал огромным человеческим обаянием. Его монументальные и в то же время романтические картины – люди среди природы – были праздничны и величавы. Он прошел французскую школу живописи, но его картины были полны чисто русской, тургеневской поэзии. Увидев мои работы, он настоял, чтобы Ньюшин портрет и свой автопортрет я представила на выставку «Московский художник», где он был членом жюри. Открытие выставки было назначено на следующий день. На другое же утро отец со счастливым видом показал мне в газетах несколько очень хвалебных отзывов. Ньюшин портрет оказался на выставке в центре внимания, был воспроизведен в журналах, позднее показан в Петербурге на Дягилевской выставке «Мир искусства», а затем на его же ретроспективной выставке русского искусства в Париже.

Первый успех укрепил мою решимость отказаться от изучения естествознания, что очень не понравилось моей матери.

Один наш знакомый, желавший послужить русской культуре, задумал заказать разным художникам серию исторических картин; их дешевые репродукции любой крестьянин мог бы купить на базаре и повесить у себя на стенке, как это издавна водилось в русском народе. Вдохновляющая задача! Я тоже получила такой заказ. Темой я выбрала «Убийство царевича Дмитрия в Угличе». Сделав несколько рисуночных набросков, я решила, что картина должна полностью рождаться из движения красок: открытая лестница дворца в Угличе на фоне громоздившихся грозových туч, на переднем плане – мать на коленях, вся в белом, опираясь на раскинутые руки, как орлица, защищающая свое мертвое дитя. Кругом толпа, очень пестрая, в ужасе; в отдалении – смятение и погоня, как красное пламя. В том, как я тогда писала, я была ближе к моему теперешнему идеалу, чем во все промежуточные годы.

Теперь только я понимаю, как символична для судьбы русского народа эта трагедия – убийство ребенка.

«Древнее чудо»

Ту особую, невыразимую в словах Христову силу, которую я ощущала в русском народе, в русской природе, я искала также в истории Древней Руси. При всем ее варварстве, в ней светится, как некое священное сияние, христианский дух. Поэтому так желанна была работа над заказанной мне исторической картиной. Чтобы еще ближе почувствовать Древнюю Русь, я решила съездить в Ростов Великий и Ярославль. Это было в феврале, стояли сильные морозы и выпало очень много снега. В провозатые мне дали сибирскую родственницу, милую болтушку-провинциалку. Мы приехали в Ростов вечером. В душном номере гостиницы – кровать стояла, как тогда водилось, за деревянной перегородкой – я при свечке читала ночью Владимира Соловьева. Он писал о том сущностно духовном, что открывается в исторических событиях; эта идея наполняла душу блаженством и была хорошей прелюдией к дальнейшим впечатлениям, которые я воспринимала на фоне этой иной реальности. С высоты Кремля город виделся морем куполов. Своеобразные надвратные церкви на кремлевских стенах, соединенные между собой проходами внутри самих стен, высоко и стройно вздымали свои купола в небо. Своеобразны также пространственные соотношения внутри этих церквей: алтарь занимает две

трети церкви, и его отделяет от прихожан не легкий золоченый иконостас, как обычно, а высокая каменная стена. Три двери ведут в три сводчатые помещения, связанные между собой сводчатыми проемами. Живопись на сводах очень динамична; кажется, что стены исчезают и в этих образах открывается то, что совершается у Чаши во время Евхаристии. Вы заглядываете в три мира: мир Отца – в образах библейского миротворения, мир Сына – в образах Евангелия и мир Святого Духа – в видениях Апокалипсиса, повествующих о будущем человечества.

Церкви эти несоразмерно высоки по отношению к их длине и ширине. На сводах куполов, на пилястрах изображены шестикрылые существа небесных иерархий. Когда мы вошли в церковь Евангелиста Иоанна, под куполами свистел ветер и наши шаги вспугнули голубей, свивших там гнезда. В шорохе их крыльев чудились взмахи крыльев серафимов.

Я хотела написать одну из этих церквей – светло-розовую с темно-синими, усеянными звездами куполами, но на сильном морозе масляная краска замерзала на кисти. Против церкви находилось здание казармы, и мы решили обратиться туда и спросить, нельзя ли мне писать церковь у них из окна. Офицер, который, конечно, невыразимо скучал в этой глуши, был в восторге, что может нам служить. Он разослал солдат по всем помещениям – посмотреть, из каких окон видна церковь. Один за другим они возвращались с докладами, а их начальник движением руки прерывал их на полуслове. Все это нас очень забавляло. Так я получила возможность написать свой этюд с полным удобством, в тепле.

Незабываемо впечатление от Музея древностей в Кремле. Персидские, византийские, норманские элементы сплавились воедино, создав удивительное своеобразие русского художественного ремесла. Мы восхищались народной керамикой, в ней оживали прообразы орла, льва и другие животные формы; резная и отчасти пестро раскрашенная деревянная посуда, тарелки для хлеба, похожие на солнечный диск, лунообразные ковши, солонки, как кристаллы, лари, столы, сани, резные пестрые оконные наличники – повсюду красочный мир мифологических образов. Еще большее впечатление производили парчовые одежды и разнообразнейшие кокошники – головные уборы, в которых женское лицо является как бы окруженное широким нимбом; жемчужная сетка покрывает лоб, нитки жемчуга спадают с висков, обрамляя шею и щеки; большая диадема, часто в форме треугольника, вся затканная золотом, жемчугом и драгоценными камнями, охватывает голову у корней волос и склоняется немного вперед; с ее верхушки вниз ниспадает длинная

и широкая вуаль. Женское лицо в этом уборе, кажется, смотрит из окошка в небесах.

Наняв сани, мы поехали к древней деревянной церкви на речке Ишне под Ростовом. Эта церковь – памятник северной деревянной архитектуры – крыта дранкой в форме дубовых листьев. Простая и стройная, совершенно черная от старости, она стояла на фоне широкого снежного пейзажа под опаловым небом. Внутри потемневшие от времени еловые стены создавали впечатление теплоты и интимности. Толстые бревна, казалось, под действием времени срослись, образуя единую поверхность. Иконостас – деревянный, резной, только средняя его часть – царские врата – позолочена. На нем – древние иконы в окладах, украшенных настоящими драгоценными камнями. При свете свечей эти камни на темном дереве мерцали таинственно и тепло.

Церкви Ярославля – образцы народного искусства – кажутся органически вырастающими из земли. Для меня совершенно новыми были их фресковая живопись и особенно – богатая керамика наружных стен.

Неповторимо своеобразна церковь Николая Мокрого. На высоком берегу Волги, на фоне белесого зимнего неба я увидела гладкую белую стену, а посередине стены, в этом белоснежном мире, – огромное одинокое окно в яйцевидном керамическом обрамлении. Синие, фиолетовые, зеленые, желтые краски наколдывали на снегу целый мир фантастических цветов – колокольчиков. Во времена моей юности снег выпадал обычно в начале ноября и лежал до середины марта. С тех пор климат изменился. Если ночью выпал первый снег, пробуждаешься с чувством удивительной чудесной тишины. А выйдешь из дома – воздух и белая земля чисты, как в первый день творенья. Каждый звук: лай собаки, карканье вороны, колокольный звон – слышится удивительно ясно и остается сам по себе, как инкрустация на фоне тишины. И на девственной белизне земли первые человеческие и звериные следы, санные колеи выглядят, как заново прочерченные знаки судьбы. Цветастый головной платок, красные гусиные лапы, зеленые еловые ветки – все цветное кажется в этой белизне происходящим из другого мира. На зимних дорогах мои собственные мысли являлись в виде мира подвижных красочных фигур, видимых мною со стороны. Когда мы маленькими детьми на нашем дворе рыли коридоры в сугробах, каким являлся мне снег звездopodobным и теплым! А в сумерках все тонуло в его голубизне. Это был экстаз! В более поздние годы, когда в быстром беге на лыжах или в санях сливались небо и земля, сознание расширилось. Ночью звездочки снежинок под ногами блестили, как

небесные звезды наверху, – вас окружала пламенеющая сфера, на вас смотрели миллиарды ангельских глаз.

Возвращаюсь к рассказу.

Когда в шесть часов утра мы приехали в Москву, была еще ночь. В помещении вокзала – густой туман в морозном воздухе от дыкания множества крестьянского люда в овчинных тулупах. В этой толкучке я увидела знакомого – издателя журнала «Весь». Он – во фраке. Изумившись, он спросил: «Что Вы делаете здесь в такой час?» – «А Вы, позвольте Вас спросить?» – Он объяснил: «Мы едем на свадьбу моей сестры Нетти», – и пригласил меня пойти к ним. Попрощавшись со своей спутницей, я пошла за ним и увидела невесту, дочь богатых родителей, в кругу знакомых литераторов. Мне рассказали, что венчание будет совершено тайно, в деревне, подкупленным священником, так как у жениха, писателя, не в порядке документы о разводе. Невеста, которую я знала с детства, показалась мне в своем белом подвенечном одеянии существом, приносимым в жертву. Ее дальнейшая судьба подтвердила это горестное предчувствие.

Встречи

Полная впечатлений, я поспешила к Екатерине Алексеевне Бальмонт, чтобы по обыкновению все ей рассказать. Она же радостно сообщила, что поэт и художник Макс Волошин, с которым она подружилась в Париже, только что приехал в Москву; она очень рада, что уже сегодня я могу с ним познакомиться, так как мы все приглашены вечером в картинную галерею известного коллекционера Щукина.

В доме, который и сам по себе был жемчужиной архитектуры XVIII века, Щукин собрал коллекцию лучших работ Моне, Ренуара, Дега, Тулуз-Лотрека и целый зал Гогена, которого я тогда совсем не знала. Французская живопись поразила и восхитила меня. Больше всего мне хотелось теперь поехать в Париж, чтобы получше с нею познакомиться.

Портрет Волошина я уже видела. Он висел рядом с моей картиной на выставке. Волошин был изображен в виде «типа Латинского квартала» – толстяк с львиной гривой, в длинной накидке, в остроконечной шляпе с невероятно широкими полями. На самом деле он выглядел не так уж страшно. Шевелюр, правда, невероятная, а его костюм – свитер и короткие штаны – в этом элегантном обществе мог считаться неуместным. Но очень добрые, детские глаза и

искренний энтузиазм заставляли забывать все его экстравагантности. На обратном пути он рассказывал мне о французских художниках, это был его мир.

Скоро в разнообразных домах нашего круга он стал предметом множества пересудов. Это и вправду было своеобразной чертой русского общества того времени – страстный интерес к каждому новому лицу. Это не имело ничего общего с любопытством провинциального городка; пришельца воспринимали как посланца судьбы, знали: констелляция общества с ним изменится, через него войдет новый импульс. Макс был оригинален не только костюмом, но и неожиданностью своих парадоксов и удивительной непредвзятостью по отношению к любой мысли, к любому лицу. Он был радостный человек, для России – непривычно радостный. В его радости всем явлениям жизни сияло что-то детское, хотя ему было уже двадцать девять лет. Он уверял, что никогда не страдал и не знает, что значит страдать. Странник, «близкий всем, всему чужой», – так он сказал о себе в одном стихотворении. Его стихи тогда были окрашены импрессионизмом. Он печатал также очень хорошие переводы Верхарна и писал своеобразные пейзажи. По возвращении в Париж он писал мне иногда своим очень стилизованным прямым почерком письма о парижских впечатлениях, его письма казались мне несколько вычурными, игрой парадоксов. Больше я не думала о нем – жизнь подносила мне так много интересного!

На костюмированном балу знаменитый меценат Савва Мамонтов подошел ко мне, хваля мой костюм. Мамонтов – широкая, гениальная натура. По его инициативе и на его средства была проложена железная дорога от Москвы к Белому морю. В залах выстроенного им Северного вокзала висели большие панно моего учителя Константина Коровина, изображающие северные пейзажи, полярные сияния, ездовых оленей. Частная опера Мамонтова во многом была художественно выше Императорской. Из биографии Шаляпина известно, как Мамонтов его открыл и содействовал его образованию и сценическим успехам. Мамонтов обанкротился и попал в тюрьму. Я познакомилась с ним уже после этой катастрофы. Ему было в то время, вероятно, около шестидесяти лет.

Он с похвалой отозвался о моей картине на выставке и пригласил на следующий день вместе с несколькими художниками и писателями приехать к нему. Он жил за городом, а так как дело было на масленице, то мы, по русскому обычаю, наняли тройку лошадей с деревенскими санями-розвальнями. Простой деревянный дом состоял из одной единственной комнаты с камином, в котором, наверное, можно было изжарить быка. Вдоль всех доща-

тых стен шла скамья, покрытая дорогим ковром. В углу – стол, на нем приготовлена простая, но изысканная закуска. У Мамонтова жила восемнадцатилетняя девушка Таня, обладательница великолепного голоса. Она была гибка, как акробатка, и в этот вечер одета мальчиком Гензелем из сказки – так ей легче было показывать свои трюки. Она была так легка, что могла петь, стоя у Мамонтова на плечах, а он и не чувствовал ее тяжести. Он, казалось, очень гордился ею и ее пением. Она же, показывая мне маленькие скульптурки, которые он лепил в тюрьме, говорила о нем с величайшим благоговением. Некоторые утверждали, что Таня – внебрачная дочь Мамонтова, другие считали ее его возлюбленной. За ужином Мамонтов сел рядом со мной и начал меня «экзаменовать»: какие произведения искусства я видела, кто мой любимый художник и т. д. По-видимому, моими ответами он остался доволен. Картина Москвы была бы неполной, если бы я не упомянула об этой беглой встрече с человеком, сыгравшим столь заметную роль в русской культуре.

Прошло уже два года после смерти Владимира Соловьева, но его духовный облик осенял Москву – и не только в небольшом кругу его друзей и последователей, живших как раз в нашей местности между Пречистенкой и Арбатом и воспринимавших жизнь в апокалиптическом мифологизированном духе. Я тогда не знала этих людей, но во всей атмосфере города, на улицах, в небе – особенно в зорях заката, которые бирюзой и золотом говорили о бесконечном и пламенели, как алые крылья, за пожарной каланчой в конце нашей улицы – открывалась Близость. Что-то из другого мира вступало в нашу повседневность; я угадывала это, ощущая нечто, что совершалось между деревьями и заходящим солнцем, во вспышках света, во встречах людей. Я спрашивала себя – чувствуют ли другие то тайное, что совершается?

Однажды в Библиотеке иностранной литературы мне показали студента, молодого поэта, уже выпустившего первые книжки под псевдонимом Андрей Белый. Он был сыном профессора математики Бугаева, на несколько лет меня старше. Взглянув в его синие «херувимски тигриные» глаза за темными ресницами, я подумала: этот, как и я, мучается загадкой человеческого существования и знает о прозрачности вещей. Позднее я читала переписку, которая в те именно годы велась между ним и Александром Блоком, тогда тоже студентом. Лично они еще не были знакомы, но знали друг друга по стихам, выдававшим переживания, общие им обоим. «Какой видите Вы Ее?» – спрашивали они друг друга (подразумевалось Существо, именуемое в мистике «Софией»). Они говорили о

«Ней» конкретно философски, как могли бы говорить о сверхчувственном два схоласта. Первый сборник стихотворений Блока назывался «Стихи о Прекрасной Даме». В них – жажда встречи с тем духовным существом, присутствие которого поэт чувствует и в русских лесах, и в звездах, и в снежной пелене. Владимир Соловьев первым в наше время (после Данте, испытавшего и описавшего то же самое последним в Средневековье) имел зримую встречу с этой духовной реальностью. Он пишет:

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

Соловьев Ее не называет; Александр Блок же называл ее «Прекрасной Дамой» и позднее искал ее в эротически земном. И черты Ее исказились. Поэтому в его страстных стихах, всегда неизмеримо богатых ритмом и музыкой, овеванных снежными вихрями и дышащих неизмеримостью русских просторов, звучат отчаяние, одиночество, даже цинизм. Я не встречалась лично с Блоком в первом периоде, я знала его только в этой второй его фазе.

Как Андрей Белый нашел свой путь, я скажу позднее, так как на этом пути мы встретились. А тогда я имела только однажды случай обменяться с ним несколькими словами. Это было на ужине после доклада Бальмонта. Я сидела рядом с Андреем Белым и снова, как и при первом взгляде, почувствовала, что в своих странных восприятиях мира я не одинока. На том же вечере присутствовал и Валерий Брюсов. Он и Бальмонт – тогда уже люди зрелого возраста – были основателями школы символизма. Бальмонт жил в музыке слова, как в огненном искристом потоке, стихийно, но бездумно. В его самовлюбленности и эротизме было что-то наивное и потому невинное... Я понимаю, почему его жена Екатерина – характер очень самостоятельный и совсем не склонный к слепому поклонению, – несмотря на вечные жертвы, которые она должна была ему приносить, так безоглядно его любила и высоко ставила. В Брюсове я чувствовала много поэты. Черные густые брови, широкие скулы – московский купец, стилизующийся под Клингзора. Его стихи, тонко чеканные по форме, претендующие на монументальность, не интересовали меня, потому что я чувствовала в них нарочитость, о которой можно сказать словами Островского: «Моими жуткими делами я поверг мир в трепет, и мертвые радуются, что они уже мертвы». Брюсов для многих молодых людей того времени был

мэтром и черномагом. Между ним и молодым Белым разыгралась настоящая духовная битва. Их отношения Брюсов позднее изобразил в своем романе «Огненный ангел».

Закатный блеск культуры

Несмотря на обилие интересных впечатлений, я рвалась в широкий мир, где я могла бы учиться и работать. Но родители считали, что я прекрасно могу оставаться дома. В комнате, освободившейся после замужества моей старшей кузины, я устроила себе мастерскую и пыталась работать. Но совсем нелегко в буржуазном доме создать художественную атмосферу.

За картину «Убийство царевича Дмитрия» я получила двести рублей. Так как я тем временем достигла совершеннолетия, то я заявила, что хочу уехать в Париж. Объяснения с родителями дались нелегко. Но в конце концов я поехала в Париж под опекой тети Тани. Тетя сама была человек замкнутый и любила самостоятельность, она не стесняла моей свободы. Мы поселились в старом отеле против Одеона в Люксембургском саду. Каждое утро являлся Макс Волошин и водил меня в музеи, церкви, в мастерские художников и по окрестностям Парижа – в Версаль, Сен-Клу, Сен-Дени, Севр.

Полная радостных ожиданий, выходила я каждый день в серебро парижского утра, дышала парижским воздухом, пропитанным запахом фиалок, мимоз и каменного угля. С этим воздухом вдыхаешь столетиями создававшуюся атмосферу, она охватывает душу и влечет за собой. Можно почувствовать динамику истории, постоянное колебание противоположностей. Но во всех крайностях и эксцессах дух Франции остается сам себе верен, сохраняет свою меру и свой ритм, как будто эта динамика – только наполнение predetermined совершенной формы. В тонких вуалях тумана, в белых арках мостов над серебристой Сеной, в просторах улиц и площадей, в укромности церквей и садов – повсюду жива эта мера. Не подавляет человека грандиозность этого города, в котором все в то же время уютно интимно, создано людьми для людей. Также и новизна эпохи не ломает уюта, потому что традиционное участвует в настоящем. Щелканье бичей, колокольчики лошадей, стук копыт по асфальту, пронзительные и все же гармоничные зазывания рыночных торговки, возбужденные голоса продавцов газет, мелодичные гудки тогда еще редких автомобилей – все не такое, как в других городах, во всем открывается стиль Франции.

Но Париж – это не только Франция: через свои музеи и библиотеки он открывает двери на все четыре стороны света, во все страны и эпохи; чувствуешь себя в духе человечества, ощущаешь связь со всеми культурами мира. Какое счастье – расшифровать тайные письма эпох, чувствовать себя подхваченной их потоком, высвобождаться от своей отъединенности, включаясь в целое и тем самым утверждаясь в своем собственном бытии.

Нередко меня совершенно подавляла сила и загадочность впечатлений. Переход из одного зала Лувра в другой, например, из Египта в Грецию, мог действовать на меня подобно шоку. Но Макс прогонял подобные впечатления быстро найденными (может быть, слишком быстро!) меткими афоризмами. У него это было почти литературным спортом – подбирать такие формулировки; я же в этой его детски игровой манере находила защиту против пропастей, разверзавшихся передо мной в прошлом и в настоящем. Он был хорошим товарищем в этих скитаниях и неутомимо черпал из огромного богатства своих знаний – из мемуаров, хроник и исторических сочинений.

Также и современный Париж восхищал меня изобилием цветов на сером фоне города, дамскими платьями и шляпами. Дамские шляпки по моде того времени были фантастически красивы и разнообразны. Тетя купила мне большую шляпу с двумя букетами васильков по бокам и бархатной лентой василькового цвета. Через стихотворение Макса эта шляпка вошла в поэзию.

На Мольеровских спектаклях в Комеди Франсез, которые в своей зрелой законченности являлись совершенным произведением искусств, я встречалась с духом Франции. Этот же дух Франции я ощущала, слушая музыку Рамо и Гретри, исполняемую на старинных инструментах, а также и новую музыку на премьере Дебюсси «Пелеас и Мелисанда».

В мае и июне я работала в мастерской Люсьена Симона, серьезного бретонского художника, и писала этюды у Коларосси. По вечерам мы часто бывали в мастерской художницы-графика Кругликовой, где собирались художники чуть ли не из всех стран мира. Там можно было увидеть испанские и грузинские танцы и услышать современных поэтов разных национальностей, читающих свои стихи. Одно из самых захватывающих впечатлений моей жизни – первое выступление юной танцовщицы Айседоры Дункан; в ее искусстве действительно воскресала Греция. Все пространство вокруг нее казалось мне наполненным цветущими формами, и во мне с новой силой пробудилась моя любовь к танцу, присущая мне с детства. Мы, сестры, в наши школьные годы танцевали втроем

почти каждый вечер. Находили, что «русскую» я исполняю даже с некоторым «вдохновением». Дункан, казалось мне, открывает путь к новому искусству – танцу, заключающему в себе нечто божественное. Искусство Сары Бернар, своеобразно стилизованное, говорило мне больше, чем натурализм великой Элеоноры Дузе. А гениальная «disease»* Иветт Гильбер восхищала меня так, что мне больше всего хотелось самой стать певицей варьете. Позднее, прочитав мемуары этой артистки, я поняла, почему она могла так восхищать. Она была крупной индивидуальностью и в свою совершенно новую манеру декламации вносила железную силу воли и чистейшее воодушевление. Но, несмотря на всю свою оригинальность, эти отдельные гениальные художники являли собой лишь закатный блеск культуры.

Из этого мира меня вырвал вызов в Москву. Шел 1904 год. В опьянении парижскими впечатлениями я слишком мало интересовалась событиями на Дальнем Востоке. Мы были разбужены страшным известием о гибели русского флота. Мы все – московские друзья, жившие в то время в Париже, – были ошеломлены. По пути в Россию реальность предстала мне в потрясающих картинах. Нередко передние вагоны нашего поезда заполнялись новобранцами, слышался плач провожающих женщин. На станциях мы видели сцены, напоминающие сцены Кальварий на картинах старых мастеров: женщины в обмороке на руках у мужчин; лица, застывшие в горе, искаженные страданием. Как будто плуг вспахивал целину, вырывая корни. Я видела зияющую рану. Ах, этот народ не создан для войны; война ворвалась в жизнь как вражеская сила, насильственная, жестокая, противоестественная. Как беззащитны были эти люди, старые и молодые, во власти горя, безмолвного и безнадежного! Спереди доносились дикие крики пьяных солдат; смешиваясь со свистками локомотива, они заглушали голоса отчаяния, развеиваясь в российских далях.

Дома у нас была тяжелая, давящая атмосфера. Ньюша, работавшая сестрой милосердия в лазарете, в свойственной ей объективно образной манере рассказывала душераздирающие истории. Она и сама была грустна. Она всегда живо участвовала в моей жизни и работе, а во время моего долгого отсутствия страдала от одиночества. Новые впечатления не могли заполнить эту пустоту.

Отца удручали серьезные денежные заботы, мама же, как всегда, была занята своей многосторонней общественной деятельностью. Мне казалось, что этим она старается заглушить внутреннее

* Рассказчица (фр.).

беспокойство. Она страдала от моего отчуждения, но своим отрицательным отношением ко всему, что меня интересовало, только усугубляла его. В нашем доме было то же, что и во всей российской жизни – безнадежность и застой! Когда я, воодушевленная каким-либо впечатлением, возвращалась домой, я испытывала чувство, будто душа моя гаснет, как свеча в бескислородной атмосфере. В этой буржуазной обстановке жизнь шла по накатанным рельсам. Я ничего не могла изменить и рвалась из дома.

Вопросы к эпохе

Осенью мы с Нюшей поехали в Париж; она – учиться пению, я – живописи. В душе зарождались картины, которые я хотела выполнить. Но у меня не было никакого практического опыта, не было определенного плана работы. По желанию мамы мы жили в пансионе. В моем распоряжении была только крошечная мансарда с видом на бульвар Монпарнас, для собственной мастерской денег не хватало.

Макс, у которого сама жизнь и работа журналиста состояла как раз в том, чтобы повсюду находить интересное и интересно об этом писать, водил меня в мастерские художников и скульпторов, на выставки и во всевозможные другие места.

Так, однажды мы отправились на танцевальный вечер русских парижан; в большинстве это были потомки известных русских эмигрантов, прежних борцов за свободу, товарищей Гарибальди, Кавура, Гервега. Но мы встретили здесь только обычное, по-парижски элегантное общество. И я была разочарована, найдя очень поверхностными интересы тех лиц, с которыми я там беседовала.

Мы побывали и на собрании русских революционеров. В задних комнатах кафе собралась очень примитивная публика: нечесанные, небрежно одетые студенты и студентки; свежие краснощекие лица – в них угадывались новоприбывшие из русской провинции, – соседствовали с совершенно зелеными, выдававшими постоянную голодовку. Дух политической пропаганды в грубых и фанатичных речах меня отталкивал. Может ли от этих людей придти спасение России? Я смотрела на чисто выбритые, тонко вылепленные лица французов-кельнеров, иронически посматривавших на этих скифов, и мне было стыдно.

В ту осень я воспринимала Париж уже не как путешественник, только наслаждающийся его красотами; я видела ужаснувший меня

мир, в себе самом замкнутый и в своем ослеплении безудержно несшийся к пропасти.

Внутренне неокрепшая и почти без опоры, я была тогда беззащитна перед всеми этими впечатлениями, и они становились для меня кошмаром. Уже самый обычай устраивать выставки произведений искусства удручал меня, я воспринимала его как абсурд культуры. Я видела, что для живописи нет настоящего места в жизни, что она составляет некий самодовлеющий мир, интересующий только самих художников, некоторых коммерсантов и меценатов и немногих любителей. Художники Бенуа и Сомов несколько месяцев жили тогда в Париже. Я много бывала в их обществе, и они удивительнейшим образом ввели меня в атмосферу искусства и культуры XVIII века. Талантливый художник Сомов вдохновлялся именно этой эпохой. Ее призрачные образы, смесь поэзии и гротеска, утонченная развращенность жили в его эстетически безупречных картинах. Но как далек был этот мир от того, чего бессознательно искала моя душа! И все же красота этой эпохи меня восхищала.

У мадам Гольштейн, матерински дружившей с Максом, я познакомилась с Одилоном Рэдоном, а затем мы с Максом бывали у него дома. Как своеобразен был мир, услышанный его душой и изображенный без всякой заботы об успехе, свободный от подчинения и натурализму и импрессионизму! Он показывал нам целые папки пастелей – чудесные созвучия красок, по настроению своему напоминающие старые готические витражи; пестрые фантастические цветы, исполненные акварелью; тонкие рисунки углем, передающие иногда только один жест, одно таинственное впечатление. Рэдон был уже немолод, но лишь очень немногие чтили и понимали его; он лишь тихо улыбался про себя, как может улыбаться тот, кто с любовью подходит к вещам, желающим через него воплотиться в мире. Позднее он получил широкое признание. Особенно памятен мне один его рисунок углем: голова Сатаны, взгляд, полный сверхчеловеческой печали, устремлен в бесконечную пустоту.

Мадам Гольштейн, одна из немногих почитательниц Одилон Рэдона, была русская, но жила постоянно в Париже. В те годы она потеряла второго мужа, дочери были замужем; она жила на свои литературные заработки и собирала вокруг себя элиту французской и русской интеллигенции. Маленького роста, голова всегда поднята вверх; искривленный подбородок – следствие неудачной операции – придавал этому оживленному умному лицу задорное выражение. Создавалось иногда впечатление, что она скачет на маленькой бойкой лошадке. Все в мире разделялось у нее на две категории: то, что она одобряла и чему покровительствовала, и то, что она отвер-

гала и против чего воевала. Ее действительно никак нельзя было упрекнуть в «теплом» отношении к миру. На первой парижской выставке Ван Гога я спросила о ее впечатлении. Она ответила коротко: «Je hais le mouvement qui déplace les lignes»*. Мне она тогда покровительствовала; позднее, из-за моей дружбы с Вячеславом Ивановым, которого она не терпела, я попала в категорию отверженных. У нее я познакомилась с кругом французских поэтов – Рене Гилем, Садиа Леви и другими. Я поняла тогда, как трудно французам извлечь что-то новое из переутонченных форм своего языка, к каким трюкам им приходится прибегать, чтобы новое произведение не звучало банально.

Вместе с Максом я бывала и в различных варьете, в аристократических и в бедных кварталах. Макс повсюду чувствовал себя как рыба в воде – лишь бы было из чего смастерить парочку парадоксов. Его уравновешенность и веселость действовали на меня во всем этом хаосе успокаивающе. Я удивлялась его терпимости и видела в ней большую душевную зрелость. Развивая какую-нибудь оригинальную идею или рассказывая о чем-то интересном, он походил на грациозно-неуклюжего щенка сенбернара, теребящего попавшую ему в зубы тряпку.

Большие, неразрешимые вопросы жили в моей душе, но я уже не сомневалась в реальности духовного мира. Концерты Бланш Сельва, с огромной силой и объективностью исполнявшей в Скала Канториум цикл Баховских прелюдий и фуг, давали мне ощущение духовного мира как непосредственной реальности. Через Соловьева мне открылся сознательный путь к христианству. Но в его аскетических идеалах я не видела средства преображения современной культуры. В Коллеж де Франс я с интересом слушала лекции Бергсона о неоплатониках, но его собственная позиция по отношению к вопросам духа меня не удовлетворяла. Он утверждал, что человек путем интуиции может прийти к познанию духовных истин, и, казалось, был очень доволен этим тезисом и самим собой. Но он не указывал путей к этой интуиции и, по-видимому, сам ею не обладал. Я же все время думала: где же те знающие, которые выведут человечество из тупика?

Макс, изучавший различные оккультные учения времен Французской революции, описывал поразительный эпизод: на великосветском банкете один из участников предсказал каждому из присутствующих, а под конец и самому себе, все подробности

* Ненавижу движение, смещающее линии (фр.) – из стихотворения Бодлера «Красота» (сборник «Цветы зла»).

трагической гибели. Предсказание, документированное мемуарами современников, очень скоро оправдалось. Я думала: как же факт, доказывающий возможность предсказывать будущее, совмещается с человеческой свободой? Вопрос о свободе человека казался мне решающим, мне было ясно, что без этой свободы все вопросы о морали, о добре и зле – бессмысленны.

Эти вопросы занимали меня больше, чем живопись, и в то время я ничего не писала, кроме нескольких пейзажей и портрета Чуйко. У фонтана, обрамленного гроздьями синего винограда, на зеленом фоне парка с гирляндами плюща между вазами, я написала его с бледным лицом, похожим на молодого подслушивающего силена; он – в синей одежде; среди синих и зеленых теней листвы сверкает только карбункул в кольце. Позднее Московская картинная галерея купила эту картину. Чуйко приехал в Париж, привлеченный моими восторженными описаниями. Он был трогательно предан Нюше и мне и опекал нас, как хорошая нянюшка. Так, на вечерах у Кругликовой бывала иногда порядочная кутерьма. Видя, что скоро границы будут забыты, он шептал мне, что моя кузина устала и хочет домой, а ей шептал то же самое про меня, и шел нас провожать. Много позднее он нам в этом признался. Для него самого Париж стал роком. Он не мог освободиться от чар этого города, и его тонко восприимчивая душа стала жертвой яда, против которого сами французы защищены иммунитетом.

Тогда же я познакомилась с искусствоведам Трапезниковым. Он водил нас с Нюшей в Шантильи. Я чувствовала: в нем живут те же вопросы, что и у меня, и жалела, что наша встреча была такой беглой. В позднейшие годы мы снова встретились и нам пришлось вместе многое пережить и работать. Тогда в Париже он был такой же ищущий, как и я.

Весной Макс внезапно перестал приходить. Я удивлялась и огорчалась. Я не знала, что мое чисто дружеское отношение к нему заставляло его страдать. Нюша уехала в Россию. Так что я осталась в Париже в общем-то одинокой. В это время из Петербурга приехала приятельница Екатерины Алексеевны Бальмонт – Минцлова – и поселилась в том же пансионе, где и я жила. Я была немного знакома с ней еще в Москве в пору моих «внутренних дискуссий» с материализмом. На каком-то концерте она сказала: «У скрипки есть душа». Я позавидовала ей, что она может верить в подобные вещи, и в то же время рассердилась на нее за то, что она не захотела подробней обосновать и объяснить свое утверждение, чтобы и другие могли в этом убедиться. Теперь ей было 45 лет. Бесформенная фигура, чрезмерно большой лоб, подобный тем, которые можно видеть у

ангелов старогерманских художников, выпуклые голубые глаза, очень близорукие, — тем не менее они всегда как будто смотрели в необъятные дали. Ее рыжеватые волосы с прямым пробором, завитые волнами, всегда в беспорядке, пучок грозил распасться, постоянно вокруг нее сыпался дождь шпилек. Нос грубой формы, все лицо несколько одутловато. Своеобразнейшей ее чертой были руки — белые, мягкие, с длинными узкими пальцами. Здороваясь, она задерживала поданную руку дольше обычного, слегка ее покачивая. При нашей первой встрече в Москве именно эта привычка показалась мне особенно неприятной, равно как и ее манера говорить: голос, пониженный почти до шепота, как бы скрывающий сильное волнение, учащенное дыхание, отрывистые фразы, часто лишь отдельные, как бы выталкиваемые бессвязные слова. Большею частью на ней было поношенное черное шелковое платье, на пальце — аметист. В Петербурге она жила у отца, известного адвоката. Свои обширные познания она черпала, по ее словам, главным образом из хроник разных эпох и стран, которые она читала в подлинниках. Среди людей своего круга она чувствовала себя чужой и непонятой, потому что ее мистические наклонности считались здесь просто сумасшествием. Также и отец ее, человек, по-видимому, умный и одаренный, принадлежал к материалистам и скептикам. Но ее большие познания и способности в области хиромантии и графологии пользовались всеобщим признанием. Она говорила, что Екатерина Бальмонт была первым человеком, у кого она нашла более глубокое понимание. Один из ее предков — француз, и от него, вероятно, она унаследовала свой французский юмор. Я не встречала человека, который воспринимал бы других людей с такой же интенсивностью. Она вся отдавалась другому, видела в нем то самое высшее, чем он когда-нибудь, может быть, станет; в ее присутствии каждый чувствовал себя приподнятым над повседневностью. Позднее некоторые ее бывшие друзья склонны были упрекать ее в лъстивости и шарлатанстве, так как она к каждому в отдельности — в письмах и лично — обращалась как к своему ближайшему, самому любимому и дорогому человеку. В самых интимных желаниях, живущих в другой душе, она видела нечто предназначенное ей судьбой и поддерживала их; это сильнейшим образом и приковывало к ней людей. Она поддерживала даже противоречащие друг другу устремления различных людей, но каждый думал при этом, что она сочувствует только ему. Куда бы она ни приезжала, всегда вокруг нее возникал водоворот людей и событий; она появлялась то там, то здесь — внезапно, на несколько недель; после смерти отца у нее уже не было своего дома. Но в этом водовороте она не была точкой покоя,

а сама страстно вовлекалась в него. О ее страстности друзья позднее рассказывали мне совсем эксцентричные вещи. Ее большие духовные силы не были проработаны в духе объективности и самообладания, они действовали хаотически и непросветленно; хотя многие через нее, как через окошко, смогли увидеть иной мир, она вызывала вокруг себя всякие беды и сама погибла.

Но я забегаю вперед. В то время в Париже она явилась мне как некая фея, могущая ответить на вопросы, которые меня мучили. С полным доверием я отдавалась ее руководству. Ее расположение ко мне было моим счастьем, рядом с ней все, что во мне только тлело, как будто вспыхивало ярким пламенем. Она посмотрела мою руку и открыла множество великих вещей. В Париж она приехала ради одного теософского собрания, на которое ждали из Индии Анни Безант. Проездом в Берлине она посетила Германскую ветвь Теософского общества и говорила о ее руководителе таинственными намеками, не называя, однако, его имени.

Я познакомила ее с Чуйко и у нее же снова встретилась с Максом. Оба они сразу подпали ее чарам. Рассматривая их руки, она тоже вычитала в них великие судьбы; от этого мы все чувствовали себя высоко вознесенными в своих собственных глазах.

Снова бродили мы по Парижу, но как преобразился Париж в ее присутствии! Она описывала картины прошлого, встававшие перед ее глазами. Однажды в Пале Рояль она описывала нам группы людей из времен, предшествующих революции, так красочно, что я спросила ее, откуда она все это знает. Она назвала несколько писателей, в том числе Гонкуров; я прочитала эти книги, но ничего подобного в них не нашла. Однажды – это было вечером и ущербный месяц стоял на небе – мы проходили по тому месту, где были сожжены тамплиеры, и ее охватил такой ужас, что я испугалась за нее; но что она пережила – она так и не сказала.

Вообще она много рассказывала нам об оккультных течениях времен Французской революции и о средневековых процессах ведьм. Когда она говорила, мне казалось, будто весь воздух вокруг нее полон ужасов; она сама боялась тех состояний, когда она так сильно воспринимала прошлое. Так, в довольно странной атмосфере мы проводили с ней время. С ней вместе мы слушали лекцию Анни Безант; то, что она тогда говорила, казалось мне очень примитивным и безвкусным, а ее манера говорить была скорей манерой агитатора. Никакой мистической глубины не было заметно; «мистической» была только ее свободная белая одежда.

И снова – прелесть летнего Парижа; тенистые аллеи каштанов, повозки, полные цветов – красных роз, васильков. Посещение

выставки старых английских художников во дворце Багатель было последним впечатлением от этого периода моей парижской жизни. Легкий ветерок приносил лепестки роз через большие окна и двери залов и развеивал их перед картинами Гейнсборо и Рейнольдса.

В это блаженное время я получила письмо от матери из Цюриха. Алеша должен был там готовиться к экзамену по техническим наукам, и она хотела, чтобы я его «опекала»! Как не хотелось мне покидать Париж и друзей! Тяжеловесной и скучной показалась мне Швейцария, и я сначала чувствовала себя там очень несчастной.

В первом письме Макс писал:

И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю
Как птичку серую, согретую тобой.

А во втором: в Китае есть закон, что человек, спасший другому жизнь, принимает на себя ответственность за его судьбу; также и я не имею теперь права его оставить, но должна делить его судьбу. Этими строчками я была тронута и в то же время испугана. Значит, наша дружба – нечто большее, чем мне казалось. Я приняла это просто, как свой долг, не отдавая себе отчета – достаточно ли того, что я могу ему дать, для соединения нас на всю жизнь?

Встреча

В Цюрихе у меня не было никакой модели, и я начала писать свой автопортрет. Я видела свое лицо во втором из трех так расположенных зеркал, что стороны лица вследствие двойного отражения не менялись местами. Я писала себя с распущенными волосами, образующими пластическую золотисто-розовую массу по обеим сторонам лица. Эти плоскости, написанные по краскам и по форме в манере мозаики, напоминали перламутровую раковину; лицо – в голубоватых, холодно-розовых и тепло-розовых тонах; позади головы те же плоскости продолжались в той же манере, образуя архитектурный фон. Очень пристально, будто из вечности, смотрели глаза. Позднее эта картина была куплена Музейной комиссией в Москве; где она находится теперь, я в хаосе революции не могла узнать. Теперь меня больше всего удивляет, что архитектурная форма на заднем плане и трактовка плоскостей

совершенно походит на пластику Гётеанума, возникшего лишь двадцать лет спустя.

Как только мама уехала, «опекунша» отправилась в короткое путешествие по Южной Германии в сопровождении нашего друга Любимова, который всегда появлялся там, где были мы. Знойным днем, между двумя поездами, мы наскоро посмотрели музей в Штутгарте. Вспоминаю «Саломею» Луки Кранаха. Нюрнберг в то время был еще очень тихим, старомодным городком. Любимов умел художественно обставлять наши путешествия. Посещения церквей и музеев сменялись вечерними поездками по окрестностям. Все было мне чрезвычайно близко: архитектура, ландшафт, воздух; впервые я почувствовала существо Германии. В немецких музеях я ощущала динамику духа, взрывающую гармоничную форму. Как будто буря душевная проносится по скульптурам, по картинам; юная, обращенная к будущему, глубоко христианская сила этого духа захватила меня и поколебала мои прежние представления о красоте. Песнью херувима явилась мне «Дарохранительница» Рименшнейдера в Ротенбурге, где мы пробыли несколько часов. Также и в Вюрцбурге Рименшнейдер совершенно меня пленил. В его «Адаме» я впервые встретила скульптурное изображение не натуралистического, но поистине просветленного тела, какое только смутно угадывается в некоторых эскизах Врубеля.

В Цюрихе мы много занимались Рихардом Вагнером. В аудиториях Высшего технического училища я слушала лекции профессора Зайчика о «Кольце Нибелунгов». Хотя сам лектор оттолкнул меня полным отсутствием благоговения перед глубиной того, о чем он говорил, — он, казалось, просто играл этими мыслями, — но его идеи о мифах меня заинтересовали. Я только прикасалась ощупью, только улавливала, предчувствовала — неясно, неуверенно. Мир был такой загадочный и чужой! Я не находила своего пути, и, хотя для себя лично уже приняла реальную духовность мира, все-таки в основе оставалась неудовлетворенность. Брат в то время находился в состоянии глухого отчаяния, несмотря на счастливый флирт с хорошенькой американкой. Занятия техникой несколько его не интересовали, жизнь для него не имела цели. Как и многие молодые люди тех лет, он одно время увлекался Оскаром Уайльдом. Прочитав «De Profundis»*, написанную в тюрьме, он повторил путь поэта — начал читать Евангелие. Очень характерно для той эпохи то, что моя мать все это считала ненормальным. Она требовала, чтобы он обратился к психиатру Монакову, который в то время жил в

* Исповедь (фр.).

Цюрихе. Психиатр предостерег его от Евангелия как от «нездорового чтения». Очень типично для русских, что тот же самый доктор Монаков, тогда выступавший столь рьяным последователем атеизма, позднее написал книгу, содержащую чудесные мысли о существовании Христа.

В это время брат вместе с Максом пришли к мысли, что надо «выйти из себя», из своей ограниченной личности, чтобы ощутить духовность мира. В надежде «выйти из себя» они решили отправиться напрямик из Цюриха на Сен-Готардский перевал. Вернулись они в жалком виде – усталые и оборванные. Удалось ли им «выйти из себя» – не знаю; но духовность мира они, во всяком случае, не нашли. Я же тем временем углублялась в сочинения древних: читала в переводах «Веды», «Книгу Бытия» Фабра д’Оливе, «Зогар», сочинения Порфирия. Откровенно говоря, я ничего не понимала. Но одно мне стало ясно: существуют иные состояния сознания, когда мир познается иначе. Неужели мы, теперешние люди, их навсегда потеряли?

Я увидела – это было в конце лета – объявление о лекции в Теософском обществе. Тема говорила о пути познания духовного мира. Имя лектора – Рудольф Штейнер – было мне незнакомо. Мы решили послушать его, хотя в то время я свысока отвергала теософию, считая ее дилетантской попыткой компромисса между восточной мудростью и западным материализмом. В тот же день я получила сумбурное письмо от Минцловой. Она сообщала, что доктор Штейнер, председатель Германской секции Теософского общества, будет выступать в Цюрихе. Она не хочет влиять на мое решение послушать его и не дает мне никаких советов, но если меня это интересует... Удивительно: обычно в своих влияниях она совсем не была столь сдержанной!

Впереди меня в большой зале сидели две дамы, оживленно беседовавшие. У одной – ее тонкий профиль я время от времени видела – были золотые волосы и лицо такое цветущее и нежное, какое вообще можно видеть только у маленьких детей. Когда она обернулась к двери, я увидела невероятные глаза – синие и сияющие, как сапфиры; рот, очерченный нежно, но твердо, чеканный подбородок. Мне бросились в глаза также ее очень красивые маленькие руки. Она то смеялась от всего сердца, то, казалось, чем-то возмущалась, причем кровь то и дело окрашивала ее нежное лицо. Я наблюдала ее с интересом, потому что она так мало походила на остальных дам в зале. Пожилой господин с седой бородой, почтенной наружности стоял у кафедры. Это, наверное, и есть Рудольф Штейнер, подумала я, но, проследив взгляд дамы, увидела вошед-

шего в залу стройного человека в черном сюртуке. Совершенно черные волосы лежали наискось на его красивом выпуклом лбу, под ними – глубоко сидящие глаза. Что же меня больше всего поразило в этом облике? Это была какая-то энергия прямизны, которой, казалось, целиком был охвачен этот человек. Когда он упругими шагами пересекал аудиторию, его голова в этом движении оставалась в покое; шея была откинута назад, как у орла. «Как может человек так ошеломляюще походить на орла?» – думала я. «Посмотри, – сказала я брату, – это, должно быть, йог». Это был Рудольф Штейнер. Когда он начал лекцию, я порадовалась, что хорошо его понимаю, так как не была уверена в своем знании немецкого языка. Он подробно рассказывал о воспитании слепой и глухонемой Элен Келлер ее гениальной учительницей и заметил, что большинство людей в духовном мире слепы, глухи и немые, но можно путем определенного обучения образовать себе органы для восприятия этого объективно существующего духовного мира. Содержание этой первой лекции произвело на меня меньшее впечатление, чем сама личность лектора. В заключение пожилой господин объявил, что на следующий день в служебном помещении одного ресторана доктор Штейнер будет отвечать на вопросы.

Я обдумывала свой вопрос. Я тогда сделала открытие, что самые мучительные загадки – те, что остаются только в сфере чувства. А вопрос, думала я, это как сосуд: если его правильно сформулировать, то ответ должен его наполнить. Я же хотела узнать нечто совершенно определенное. Мне было понятно состояние души, когда как бы выходишь из самого себя и знаешь тогда больше, чем обычно, находишься в некотором роде экстаза. В осеннем пейзаже или в египетском музее я испытывала нечто подобное. Но после того во мне оставалось только смутное воспоминание о пережитом. Каким же образом можно прийти к познанию духовного мира, полностью владея дневным сознанием и не теряя почвы под ногами? Этот вопрос я записала на бумажке, чтобы иметь его перед глазами, так как опасалась, что от смущения не смогу его правильно сформулировать. Я боялась выходить вечером одна и просила брата проводить меня на собрание, но он, шутя, ответил: «Иди, иди, я останусь дома, полежу на диване и помолюсь за тебя, и ничего с тобой не случится». Как, должно быть, улыбался мой ангел-хранитель, видя, как в такой момент я была озабочена желанием принарядиться: я надела светло-серый полотняный костюм из Парижа и шляпу с маленькими розочками.

В небольшом зале сидели вдоль стен большей частью солидные почтенные мужчины. В углу комнаты я снова увидела вчерашних

дам, – по-видимому, они принадлежали к кругу Рудольфа Штейнера. В середине стоял длинный стол. Рудольф Штейнер подошел к столу, произнес короткое вступление и ждал вопросов. Все молчали. Я решила, встала со своего места и с бумажкой в руке подошла к нему, но не подала ее, а задала свой вопрос устно, страшно покраснев и с бьющимся сердцем. Он посмотрел на бумажку, на меня и сказал: «Это, правда, важный вопрос!» От смущения я не вернулась на свое место, а села рядом с ним у стола. Несмотря на свои двадцать три года, я очень легко смущалась. Доктор Штейнер ответил на мой вопрос приблизительно следующее.

Существуют мысли и ощущения, которые зависят от места, где мы в данное время находимся. В Москве у нас одни мысли и ощущения, в Париже – другие. Но есть также мысли и ощущения, не зависящие от места и времени. Взращивая в себе такого рода душевное содержание, мы даем пищу вечному в себе, мы его укрепляем, мы делаем его независимым от нашего физического тела. Рудольф Штейнер подробно говорил о медитации, благодаря которой в нашей душе образуются сверхчувственные органы, способные воспринимать объективный духовный мир; о проработке мышления, которое должно стать активнее и живее; о проработке чувств, которые, освобождаясь от субъективности, становятся органами духовного восприятия; о проработке воли, которой «Я» человека должно сознательно овладеть и управлять. Он говорил, что человек в нашу эпоху может прийти к восприятию реальности духовного мира, не приглушая сознания, а, напротив, укрепляя его, и что, благодаря такому обучению, человек становится более бодрственным и умелым также и в повседневности. Вкратце он описал три ступени сознания, достигаемые духовным учеником, – имажинацию, инспирацию и интуицию. Я впервые слышала о соответствующем нашей эпохе пути познания высших миров. Я видела совсем близко профиль Рудольфа Штейнера, слышала его теплый воодушевленный голос и каждое его слово воспринимала как радостную весть. Неужели действительно в наше время возможен такой человек – истинно знающий, подлинный вестник духа? Окончив, он обернулся ко мне и спросил: «Ответил ли я на Ваш вопрос? Вы это хотели узнать?»

Следующим был вопрос о животных. Его задала дама, говорившая с голландским акцентом, в котором для моего уха звучало что-то детское, свежее. Она сидела рядом с «Золотой» и, по-видимому, тоже принадлежала к кругу Штейнера. Очень высокого роста, с мягкими каштановыми волосами; все ее существо излучало теплоту и свежесть жизненных сил. В ответе Рудольф Штейнер развернул

грандиозную картину мировой эволюции. Он говорил, что эволюционное учение Геккеля – великое учение и оно правильно для чувственного мира; но человек первоначально был духовным существом и постепенно подготавливал для себя тело, формируя его извне до тех пор, пока он не смог войти в это тело, чтобы затем уже изнутри его одухотворить. Тела же, которые оказались слишком отвердевшими и неспособными к дальнейшей эволюции, не могли принять в себя духовную индивидуальность. Это и есть животные – существа, отставшие на пути, наши меньшие братья. Каждое животное в отдельности не может принять в себя Я. Но в духовном мире каждый животный вид имеет свое групповое Я, отдельные животные – члены этой групповой души. Он говорил также, что царство животных, равно как и другие царства природы, – это пройденные ступени на пути человека, жертвенно отставшие ради него, и что человек, достигнув определенной ступени развития, принесет им спасение.

Под конец встал плотный пожилой господин и сказал на немецко-швейцарском диалекте: «Я изучал Библию и ваши индусские книги и прочел одиннадцать толстых томов всеобщей истории и убедился, что все, о чем пророчествует Библия, действительно произошло, а все, о чем говорит индусская «мудрость» – ложно». На это Рудольф Штейнер ответил: «То, что духовная наука имеет сказать, черпается не из восточной мудрости. Всегда существовала христианская эзотерика. Она подтверждает великие истины, которым учили на Востоке. Но она может сказать гораздо больше». И он заговорил о событии Голгофы как о центральном, неповторимом событии мировой истории. Именно через духовную науку можно правильно понять Библию и каждое ее слово оценить на вес золота.

Услышав это, я поняла, что нашла то, чего искала: новый, сознательный, свободный путь к живому Христу.

Рудольф Штейнер несколькими словами закончил вечер. Он подал мне руку и сказал: «Вы не напрасно задали вопрос, не так ли? Если у Вас будут еще вопросы – напишите мне». Впервые я встрети-лась с ним взглядом; его глаза, окаймленные черными бровями и ресницами, лучились золотистым теплом. Мне казалось, что я уже всегда их знала, я была как бы вырвана из времени. Но Рудольф Штейнер продолжал: «Я хочу познакомить Вас с фрейлейн Сиверс, она тоже русская», – и он подвел меня к моей «Золотой» даме.

«Я знакома с фрейлейн Минцловой», – сказала я. «У Вас тоже есть психические задатки?» – спросила она иронически с сильным балтийским акцентом. Иронию я поняла лишь позднее. – «Нет,

никаких». – «Завтра мы едем в Базель. Доктор Штейнер будет там читать лекции», – сказала она, посмотрев на меня вопросительно. Но мне не пришло в голову, что я тоже могу поехать туда, хотя я вообще была очень легка на подъем.

На другой день я написала Минцловой в Берлин; желая узнать побольше о Рудольфе Штейнере, я просила ее прислать мне его фотографию и что-нибудь из его сочинений. Фотография, которую я тогда от нее получила, отвечала моему впечатлению от встречи с ним. Из бессвязных сообщений Минцловой я узнала некоторые сведения о личности Рудольфа Штейнера и о его помощнице – Марии Сиверс, дочери балтийского аристократа, генерала русской службы.

В последующие дни брат и я занимались исключительно сочинениями Рудольфа Штейнера, присланными Минцловой. Как и следовало ожидать, брат экзамена не выдержал. По правде говоря, мы об этом нисколько не горевали, но восприняли это событие как освобождение, потому что техника его тогда совсем не интересовала. Менее радостно отнеслись к этому родители. Пока обменивались письмами и принимали решения, мы с братом бродили по осенним окрестностям Цюриха.

Час пришел, человека еще нет

Было решено, что Алеша поедет в Лейпциг специализироваться по сельскому хозяйству. Меня же ждали в Москве. Поэтому в конце октября мы с ним поехали в Берлин. На вокзале нас встретила Минцлова. Уже в экипаже по дороге к пансиону я слушала ее отрывистые фразы: «...Древние мистерии живы... Со временем Вы все сами узнаете... сами будете при этом...». Я слушала с величайшим интересом, но чтобы я сама когда-нибудь смогла «быть при этом» – нет. Для этого я считала себя слишком «мирской». Наш пансион находился очень близко от квартиры на Мотцштрассе, где жили М. Я. Сиверс и Рудольф Штейнер. Там же помещалась Германская секция Теософского общества, общее собрание которой только что закончилось. Мы тотчас познакомились с фрейлейн Шолль и фрау фон Бредов. Фрейлейн Шолль, руководительница Кельнской группы, – высокая и плотная дама с круглым лицом, скромной гладкой прической и карими серьезными глазами, сразу же внушавшими, равно как и звук ее голоса, чувство покоя и доверия. Но за ее спокойствием угадывался холерический темпера-

мент – мне она представлялась рыцарем, все свои силы полагающим на служение истине, которая ему раз открылась; священный гнев против всяческой неправды мог ее охватывать. Думая о рано умершей фрау фон Бредов, я вспоминаю ее как бы овеянную нежным блеском, подобным блеску жемчужин, которые она носила на шее. «Прекрасная душа» светилась во всем ее тихом, благородном облике.

В пансионе меня ждало письмо от родителей: из-за революционных событий мне не следует возвращаться в Москву. Минцлова сообщила нам, что мы можем посещать лекции доктора Штейнера, которые он читал ежедневно для очень малого круга людей. В первые недели, кроме нас, в нем принимали участие еще девять человек, позднее нас стало двенадцать. Так мы попали прямо в «круг Зодиака», как позднее в шутку называли этот круг лиц, первых собравшихся вокруг Рудольфа Штейнера. К нему принадлежала также фрау фон Мольтке, супруга генерала, а впоследствии начальника генерального штаба Хельмута фон Мольтке. Царственная наружность – белые волосы, собранные по обеим сторонам прямого пробора, диадемой обвивали ее соколиную голову. Манеры решительные, бесцеремонные, почти грубые; железную силу, казалось, излучал весь этот облик.

Софи Штинде и ее приятельница графиня Калькрейт тоже принадлежали к «кругу Зодиака». Они руководили ветвью Общества в Мюнхене, где главная роль принадлежала Софи Штинде. Она была сестрой автора известного романа «Семейство Бухгольц» и обладала сухим юмором брата. Свое искусство – она была незаурядной пейзажисткой – она принесла в жертву духовной науке. Светло-голубые глаза, прикрытые веками, напоминали своей оживленностью глаза Фридриха Великого. За ее нордической чопорностью можно было почувствовать большую душевную теплоту. Я лично многим обязана Софи Штинде. Ее приятельница графиня Калькрейт, дочь известного пейзажиста, раньше была придворной дамой. Ее необычайно высокий рост заставлял ее, говоря с людьми, нагибаться к ним, и эта материнская смиренная поза полностью соответствовала ее милой приветливости, лучившейся из ее очень красивых глаз.

Но рядом со Штейнером, в центре круга, стояла Мария Яковлевна Сиверс, впоследствии жена Рудольфа Штейнера. Ее внешность я уже описала. Каждый раз при встрече с ней вас снова поражала ее красота. Ее сапфирные глаза и в глубокой старости до самой смерти сохраняли свой блеск. Только высоко в горах можно увидеть такую синеву. Вокруг нее веяло воздухом высокогорья. Холод и чистота

кристалла соединялись с пламенем воодушевления. Она была царственно недоступна, хотя сама вовсе не ставила себя выше других. В ней жила детская непосредственность и искрящийся юмор. Она была прежде всего художником. Получив образование в Германии и в Париже, она хотела стать актрисой. Сначала она принесла свое искусство в жертву теософской работе, но позднее, под руководством Рудольфа Штейнера, нашла путь к новому искусству речи, которое стремится вернуть слову его изначальную творческую жизнь.

Никто не сознавал величия Штейнера сильнее ее. И тем не менее, рядом с ним она оставалась свободной в своих суждениях и сохраняла полностью собственную инициативу в действиях. Поэтому, вероятно, она до конца оставалась единственным человеком, суждение которого он в отношении себя признавал внутренне компетентным.

Рудольф Штейнер стоял у черной доски; мы сидели полукругом перед ним. Пока он говорил, постепенно темнело, зажигались лампы. Он рассказывал о духовных ступенях в развитии Земли и человека. Нередко я задавала себе вопрос: благодаря какой способности, заложенной в нас самих, мы вообще можем воспринимать эти сообщения, поскольку те состояния Земли, те ступени сознания человека так мало походят на наши? Я непрестанно удивлялась, что существуют еще в нашем языке образы и слова для таких описаний. Не потому ли так сильно затрагивают нас эти сообщения, что от тех прошлых миров нечто еще остается в нас и вокруг нас, а слова только вызывают на свет сознания нечто извечно родное, извечно свое? И самого человека, изначально связанного со Вселенной и лишь постепенно высвобождающегося, – не следует ли и его расшифровать как некий иероглиф, в котором таинственно запечатлена вся Вселенная? Не является ли он плодом прошлого, в котором в то же время заложено зерно будущего? Становилось ясно, что я не случайный гость на этой земле, но могу стать соответчиком, участником дела спасения.

Образы мифов, в которые я с детства погружалась, открывались теперь как сущностная реальность. Древняя ступень сознания в образах своих грез запечатлевала действительность. Освобождающей была для меня мысль, что погружение человека в материю – вплоть до наших мертвых мыслительных понятий, которые я так ненавидела, которые я воспринимала как зло, от которых я хотела спастись бегством, – что это погружение было необходимой ступенью эволюции, без которой человек никогда не пришел бы к свободе.

Сердцу всякого русского особенно близок социальный вопрос. Основной принцип западных социальных учений – классовая борьба, продолжение дарвинской идеи борьбы за существование, в которой человек понимается только как природное, а не как моральное существо. Идеи же русских социалистов основываются на принципе братства и взаимопомощи. Кропоткин видел действие этого принципа даже в природе, что и описал в своем прекрасном естественнонаучном труде «Взаимопомощь в мире животных». Решение социального вопроса именно в этом направлении Штейнер характеризовал как будущую миссию славянства. Какого оборотня вместо того получила Россия через двенадцать лет! Но уже тогда Штейнер говорил о грядущих катастрофах, о войне всех против всех, о расщеплении атома и следующих за этим силах уничтожения, я слушала его без всякого понимания: что за катастрофы могли произойти в нашей, такой крепко слаженной, гуманной культуре?

Члены маленькой группы слушателей никакими особыми дарованиями не отличались. Это были просто скромные люди, но они сознавали значение совершающегося. Они шли путем медитаций, которые Штейнер давал каждому в отдельности в соответствии с существом его природы. «Выдающиеся личности», ораторы и «доктора наук» появились позднее. Единственным человеком, кто в силу своей экстатической природы и визионерских задатков, хотя и подвергался известной душевной опасности, но зато имел способность к большому подъему, – была Минцлова. К сожалению, в то время я находилась под ее влиянием. Макс смог на краткое время освободиться и приехал в Берлин, чтобы принять участие в наших занятиях. Сначала меня отпугивало, что Рудольф Штейнер, такой научный ум, руководил секцией Теософского общества. Теперь я поняла, почему он так поступал: только в этом кругу он мог найти людей, для которых проблемы конкретного духовного пути что-то значили. Им он и хотел указать путь, соответствующий нашей эпохе, – последовательное развитие естественнонаучных методов. Штейнер взял на себя руководство Германской секцией Теософского общества с условием, что он будет вести свою работу совершенно самостоятельно и давать духовноведение, проистекающее из его собственных духовных исследований. Из этого источника, а не из традиций, он черпал свою христологию. То, что давал тогда Штейнер, было для того времени совершенно ново. С тех пор многое, о чем он писал и говорил, оказало влияние на культуру – независимо от того, сознают это люди или нет. Даже те, кто считали своим долгом бороться с учением Рудольфа Штейнера, зачастую обязаны

ему более живым пониманием догматов, которые они сами отстаивают.

После лекции Штейнер оставался еще в зале и отвечал на вопросы. Меня он всякий раз спрашивал, не трудно ли мне было понимать его? Наряду с его глубокой серьезностью в его обращении с людьми сильней всего выступала эта излучающаяся от него теплота. Своей приветливостью и юмором он всегда старался перекинуть мост через пропасть, которую мы чувствовали между ним и собой. Мы собирались этим небольшим кругом ежедневно после полудня для занятий, а кроме этого мы слушали выступления Рудольфа Штейнера в рамках Теософского общества, хотя и не были его членами. Мы посещали также его открытые лекции в Архитектенхаусе и курс истории, который он вел в Общеобразовательной школе для рабочих, организованной Вильгельмом Либкнехтом.

К началу университетских занятий брат должен был уехать в Лейпциг. Но с тех пор он навсегда остался связанным с духовной наукой. Однажды Мария Яковлевна сказала мне: «На нашем этаже освобождается квартира. Не хотите ли Вы занять ее и работать под руководством доктора Штейнера?» – «Нет, мне надо в Париж», – ответила я.

Не прав ли был тот странник, который мне еще в детстве сказал: «Ты ищешь свое счастье вдали, а твое счастье возле тебя и страдает?»



КНИГА ТРЕТЬЯ

Пути и перепутья

Пути и перепутья

Зима 1905 года, когда мы с Нюшей жили в Париже, проходила под знаком революционных событий в России. Великий князь Сергей, генерал-губернатор Москвы, был убит социал-революционером Каляевым. В нашем пансионе жил старый эмигрант Натансон. В освещении этого фанатика революции события в России начали рисоваться мне иначе, чем до сих пор. Из Москвы мне писали, что великая княгиня Елизавета, вдова убитого, посетила убийцу в тюрьме, прося его разрешения ходатайствовать у царя о помиловании, но получила отказ. О христианском поступке великой княгини я рассказала Натансону. Он поднял ее на смех, заявляя, что эти преступники – великие князья – не заслуживают никакого сожаления. Радикальная логика этого, вообще столь почтенного и добродушного человека сбивала меня с толку. Я не могла не видеть, что положение народа в царской России невыносимо. Революционеры вели справедливую борьбу за народ. Террористические акты, совершаемые отдельными лицами, стоили им жизни. Это была жертва. И все же их революционную «тактику» мое непосредственное чувство не принимало.

Я все еще грезилa. Духовную науку я не могла еще связать с жизнью. Величественные перспективы мировой эволюции и мрачное настоящее оставались в моем сознании разрозненными.

Удручала меня также необходимость сообщить теперь родителям мое решение выйти замуж за Макса. Я боялась гнева моей матери. Я чувствовала свою внутреннюю зависимость от нее и, может быть, именно поэтому во многих случаях поступала ей наперекор, стремясь утвердить свою самостоятельность. Я находилась под влиянием Минцловой, которая внушала мне, что Макс и я предназначены друг другу. Было странно только, что я не чувствовала себя счастливой. Тем не менее, мое сообщение, посланное родителям, было так решительно, что мама не протестовала. Этому способствовало участие Екатерины Алексеевны Бальмонт; она всегда чрезвычайно любила и высоко ценила Макса. Письмо отца дышало любовью и доверием. Только наши три девушки – Маша, Поля и Акулина, узнав о моей помолвке, сели все вместе за стол и в голос «запричитали». Они мечтали для меня о другом женихе. Он должен был быть, по меньшей мере, принцем. Макс не отвечал их идеалу.

В апреле я уехала в Москву, Макс вскоре последовал за мной. Все это время я находилась в каком-то странном состоянии. Все вокруг было мне чуждо. Я как будто отсутствовала и даже церковное венчание, которое в православной церкви так красиво, воспринимала как сон, несколько меня не затрагивающий.

После свадебного торжества мы тотчас же уехали в Париж, куда Рудольф Штейнер должен был приехать в ближайшие дни. Минцлова ехала с нами в одном купе, что страшно возмутило мою тетю Александру; она ее терпеть не могла и называла «Анна-пророчица».

В Париже мы несколько дней прожили в мастерской Макса, пока не завели маленькую солнечную квартирку в Пасси – несколько диванов, покрытых коврами, и множество полок для библиотеки Макса. Лучшим украшением нашего жилища была копия в натуральную величину гигантской головы египетской царевны Таиах, изображенной в виде сфинкса. Мы еще не переехали, когда однажды утром пришла телеграмма, извещавшая нас о приезде Рудольфа Штейнера с друзьями. Так как он не хотел жить в отеле, мы нашли для него меблированную квартиру недалеко от нас. Дамы, приехавшие с ним, сами вели хозяйство, и Минцлова священнодействовала, вытирая посуду.

Рудольф Штейнер приехал тогда в Париж на Теософский конгресс. Полковник Олькотт тоже присутствовал. Мы слышали, что в этом кругу Штейнер не был понят. Он шел новым путем – путем точного ясновидческого познания, являющегося развитием естественных научных методов. Остальные же жили атавистическими, отчасти даже медиумическими способностями, в традициях – нередко

искаженных – восточной мудрости. Ему ставили в вину, что он рассматривал события Голгофы как центральное событие человеческой эволюции. В этом видели односторонность, нечто вроде пристрастия человека западной культуры к христианству.

Для небольшого круга Рудольф Штейнер тогда читал в своей квартире на Рю Ренуар цикл лекций, первоначально предназначенный для русских слушателей. Но в этих собраниях принял участие также Эдуард Шюре, автор «Великих Посвященных». Он тогда впервые встретился с Рудольфом Штейнером и в нем, как он сказал, «признал своего учителя». Благоговейное отношение к Штейнеру со стороны Шюре, старшего по возрасту и знаменитого, свидетельствовало о величии его души. Шюре принадлежал к кругу Рихарда Вагнера, к тем, кто принес с собой смутное прозрение в существо древних мистерий и выражал это в художественной форме. Мне лично произведения Шюре казались журналистски поверхностными, но многим они позволили впервые прикоснуться к тайнам мистерий.

Кроме Шюре постепенно и другие участники конгресса стали появляться на этих собраниях, так что слушателям приходилось сильно тесниться в гостиной и даже в спальне.

Мережковский со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус и с их другом Философовым тоже были в то время в Париже. Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Рудольфа Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала Рудольфа Штейнера как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Рудольфу Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. «Мы бедны, наги и жаждем, – восклицал он, – мы томимся по истине». Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, но, напротив, убеждены, что владеют истиной. «Скажите нам последнюю тайну», – кричал Мережковский, на что Рудольф Штейнер ответил: «Если Вы сначала скажете мне предпоследнюю». – «Можно ли спастись вне церкви?» – слышала я крик Мережковского. В ответ Рудольф Штейнер указал на одного известного средневекового мистика, осужденного церковью, как на пример человека, вне церкви нашедшего путь ко Христу. Я не могу сейчас восстановить все подробности этого вечера, помню только, что негодование Марии Яковлевны против Мережковского придало разговору полемический характер. Ру-

дольф Штейнер, считавший полемику бесплодной, подошел ко мне, не принимавшей участия в разгоравшейся битве. Рассматривая прекрасную репродукцию Роденовского «Кентавра», он сказал, что в образе кентавра имажинативно представлена определенная ступень эволюции человека. Человек тогда был еще связан с силами Земли и обладал инстинктивной мудростью. Потому-то кентаврам приписывалась мудрость врачей-врачевателей. Тогда я задала вопрос, всегда меня очень занимавший: что это значит, когда говорят о духе какого-либо ландшафта, о духе дерева и т. п.? Он объяснил мне это подробно и приветливо.

Рудольф Штейнер никогда не уставал отвечать на вопросы. Поэт Минский подошел к нам и, указывая на голову египетской царевны Таиах, спросил: «Что означает улыбка сфинкса?», на что Штейнер ответил: «Сфинкс смотрит в далекое будущее, когда трагедия будет побеждена». Лишь позднее я поняла, что он этим хотел сказать.

Вскоре Рудольф Штейнер ушел в сопровождении своих негодующих дам.

Из восемнадцати лекций, прочитанных в Париже, в которых Штейнер описывал нам мировую эволюцию, я приведу только один факт, могущий служить доказательством истинности духовноведческих исследований. Он сказал, что в кометах законы прежних эпох мирового развития, несколько модифицированные современными условиями, еще действуют и в наше время. Существа тех эпох нуждались в азотных соединениях, как теперешние земные существа нуждаются в кислороде.

В 1910 году в научных журналах появились сообщения, что в спектрах комет обнаружена синильная кислота. Таким образом, данные духовноведческих исследований через четыре года были подтверждены научным естествознанием.

Под впечатлением личности Рудольфа Штейнера мы решили поселиться близ него. Будучи корреспондентом журнала «Весы», Макс мог жить в Мюнхене. Мы передали нашу квартиру Бальмонтам и Ньюше, намереваясь зимой переехать в Мюнхен. Но прежде мы хотели съездить в Крым, где моя свекровь ждала нас. Я была тогда очень слабого здоровья, и Макс думал, что путешествие по реке будет для меня менее утомительно. Поэтому мы поехали из Линца вниз по Дунаю в Констанцу.

В пути мы внезапно решили сделать крюк и заехать в Бухарест на большую национальную выставку. Во всех отделах выставки главными экспонатами были чудесные румынские вышивки и портреты королевы Кармен Сильвы. Смесью Востока с Парижем показался нам этот небольшой город с бесчисленными кафе. Мужчины

носили цилиндры и белые, обшитые кружевами брюки. Превосходная еда была в этом городе – гуляш; посетители сами брали его из кипящей кастрюли.

Поздним вечером мы приехали в Констанцу и узнали, что моряки русского черноморского флота бастуют и пароходы не ходят. Полночи мы безуспешно просидели в душном матросском кабаке, где пировал экипаж взбунтовавшегося корабля. Некоторые лица производили жуткое впечатление, но самой жуткой фигурой была сумасшедшая цыганка, бродившая между ними. Когда выяснилось, что выехать из Констанцы в Ялту невозможно, мы сели на пароход, направлявшийся в Константинополь, решив там выждать дальнейших событий.

Заехав в Бухарест, мы потратили денег больше, чем могли, и попали теперь в неприятное положение. К счастью, в Константинополе мы, как русские, могли жить бесплатно в монастырской гостинице; там мы провели несколько дней в ожидании денежного перевода из Парижа. Это было в разгаре лета, стояла страшная жара. Монастырь находился в самой грязной части города – Галате, где в то время только собаки занимались очисткой улиц. Макс страдал от приступов астмы, мы не могли спать и ночи проводили, главным образом, на крыше. В первую ночь – с пятницы на субботу – мусульмане распевали на улице. Во вторую ночь – с субботы на воскресенье – евреи учинили неопикуемый галдеж. Но хуже всего были вопли христиан-левантийцев в третью ночь, с воскресенья на понедельник. В четвертую ночь мы, наконец, спали в роскошном отеле европейских дипломатов, но здесь нам пришлось прятаться от элегантной публики. Я носила тогда множество колец на пальцах, черную кружевную шаль и шляпку «либерти» с зеленой шелковой лентой, завязанной под подбородком. По-видимому, все это произвело странное впечатление на служащего отеля: взяв наши паспорта, он спросил: «Месье — парижанин, а мадемуазель, верно, константинопольская?»

Я благодарна судьбе, что, помимо нашей воли, мы попали в Константинополь. Роскошь бывшей владычицы мира Византии, убаюкивающая красота Востока, плещущие повсюду фонтаны, мечети, жужжащие молитвами подобно пчелиным ульям, надменная осанка турок рядом с необузданной алчностью и лукавством христиан-левантийцев – все это запечатлелось в памяти, дополняя картину мира. Во всем великолепии мы увидели царственный город с его мечетями и минаретами, когда после ночи, проведенной на палубе, отплывали на утренней заре. Но следующую ночь мы провели в трюме, так как из экономии ехали в третьем классе. Море

волновалось; татары, турки и многодетные евреи, среди которых мы лежали в трюме, страдали морской болезнью. Я хотела выйти на палубу, но капитан не пустил меня. Я видела наверху элегантную публику и впервые поняла чувства людей, обреченных навсегда оставаться в трюме «корабля жизни».

На восходе солнца я видела турка на коленях, с воздетыми руками на молитвенном коврике, и тут же раввина, в белом одеянии, молящегося с привязанной ко лбу торой.

Коктебель

Коктебельский залив славится прозрачными, отливающими всеми оттенками розового и фиолетового, отшлифованными морем камешками вулканического происхождения. Как настоящие драгоценные камни, блестят они на морском берегу под лучами южного солнца. Бухта замыкается потухшим вулканом Карадаг; его стрельчатые скалы, выступающие прямо из моря, напоминают формы готического собора. Через двадцать восемь лет на вершине этой горы Макса похоронили согласно его завещанию. Его душа глубочайшим образом связана с этим клочком земли. Он любил эти странные скалы, поднимающиеся из земли, похожие на мифических животных, отлитых из бронзы. Здесь нет растительности, кроме отдельных кустов терновника и чертополоха. Но он любил эту обнаженную, растрескавшуюся от сухости почву, своеобразно клубящиеся облака и бесконечную даль синего, окаймленного белой пеной моря. Его стихи, особенно прекрасный цикл «Киммерийские сумерки», свидетельствуют об этом.

Берег был почти не заселен. Вблизи от наших двух отдельных домиков, где росли лишь слабенькие акации, жила еще Поликсена, сестра философа Владимира Соловьева, со своей подругой. Престарелая мать тогда уже умершего Соловьева жила у нас. Нередко я видела ее, сидящую на своем балкончике, погруженную в молитву. Поликсена – поэтесса; ее большие серо-голубые глаза с черными ресницами и бровями походили на глаза брата, и смеялась она громко и от всей души, как и он. Этот «соловьевский смех» был даже знаменит. Вообще же она походила на негритенка, коротко стригла волосы и носила брюки, как и моя свекровь, – из-за колючей растительности, характерной для этой местности.

Моя свекровь была большая оригиналка. Внешность – как у «Гете в Италии» на картине Тишбейна. Высокие сапоги и широкие штаны она носила не только в деревне, но и в городе. Оригинально-

стью, думается мне, она возмещала недостаточную уверенность в себе. Она была очень красива и вместе с тем очень застенчива. Здесь, в Коктебельской бухте, на восточном побережье Крыма, она поселилась первая. Сначала она выстроила дом для себя, позднее – другой для Макса. В своем доме она во время сезона сдавала комнаты приезжим, чтобы дать сыну средства для занятий искусством. Между ними существовали странные отношения. С одной стороны, она его страстно любила, а с другой – что-то в его существовании ее сильно раздражало, так что жить с ней Макс было очень тяжело. Ко мне она питала искреннюю симпатию, устоявшую против всех испытаний.

В Коктебеле Макс ходил на ассирийского жреца: он носил длинную, ниже колен рубашку, а на своей Зевсовой гриве – венки из полыни. Таких экстравагантностей публика, приезжавшая из Феодосии собирать прозрачные камешки, им обоим не прощала.

Феодосия – красивый, старый город с культурными и художественными традициями. Из друзей Макса хочу особенно упомянуть художника Богаевского – тихого, серьезного человека большой душевной чистоты. Его неутомимые поиски души ландшафтов вокруг Феодосии стали для него крестным путем. Его живопись была космична и сакральна. Его краски звенели, как голоса различных металлов, и, когда они сияли вам навстречу, вы могли поверить, что художник каждое утро на восходе солнца просыпается, пробуждаемый звуками труб. Глубокое благоговение перед каждым человеком соединялось у него с сухим юмором. Работая над этими воспоминаниями, я узнала от бежавших из Крыма, что все его произведения погибли в бомбежке и его самого постигла ужасная смерть.

Всякий, кто приезжал в Феодосию из обеих столиц: писатели, художники, музыканты, философы – непременно посещали нашего друга Александру Михайловну Петрову. Вы проходили по двору, где росла гигантская белая акация; оттуда наружная лестница вела прямо в ее единственную, скромно обставленную комнату, в которой не было ничего, кроме рояля, узенького дивана, стола и нескольких стульев – и тем не менее, комната казалась бесконечно уютной. Когда она приготавливала свой неподражаемо вкусный кофе – это было почти священнодействием, в тайны которого она и меня посвятила. Но не из-за кофе шли к ней люди. Редко я встречала человека, который с таким горячим сердечным участием следил бы за всем существенным, что происходило в культурной жизни. Незабываемы ее черные огненные глаза, немного хриплый от постоянного курения голос, коротенький нервный смешок! Она пережи-

вала и старалась постичь всякую идею, всякое явление жизни всей силой души. Она добивалась понимания каждого человека и каждого явления культуры. Из-за болезни сердца она мало чем могла сама заниматься, но бесконечно много судеб несла в своей душе и с горячим участием откликалась на события современности. Сначала она протестовала против нашей новой «ереси», находя, что этих вещей нельзя касаться мыслью. Особенно же ее тревожило, что это может помешать моей работе в искусстве. Однажды она сказала: «Я все время сражаюсь с Рудольфом Штейнером и изучаю его, но должна сознаться, что не могу больше читать ничего другого, кроме его сочинений, – все другое кажется мне слишком жидким». Позднее она полностью примкнула к его учению. Судьба еврейского народа во всей ее трагичности была для нее до самой смерти мучительной проблемой.

Осенью мы поехали в Москву к родителям, а оттуда собирались переселиться в Мюнхен. Но все сложилось совсем иначе. Макс поехал в Петербург для переговоров со своим издателем. Там он познакомился с кругом поэтов, философов и художников, духовный уровень которого он сравнивал с обществом александрийской эпохи. Центром этого круга был Вячеслав Иванов. В угловой башне большого дома, высоко над Таврическим садом, в полукруглой мансарде велись значительнейшие беседы. Макс писал мне, что этажом ниже есть для нас две свободные маленькие комнатки, прилегающую большую комнату мы тоже сможем со временем занять. Он спрашивал меня – не поселиться ли нам на эту зиму в Петербурге, где он сможет по заказу своего издателя писать статьи по вопросам искусства.

Вячеслав Иванов в Петербурге! Его стихи давно уже открыли мне мир, в котором я находила свою духовную родину! Большинство его стихов я знала наизусть. Многим они не нравились из-за непривычных античных ритмов и архаичного, сакрального и в то же время философского содержания. Еще недавно я с восхищением читала его книгу «Религия страдающего бога», где он как научный исследователь, как религиозный философ и как поэт говорит о различных дионисических культах Греции. В мировоззрении Вячеслава Иванова соединяются греческое восприятие духовности в природе и христианство. В этом отношении он стоял в моих глазах выше Ницше, чье «Рождение трагедии из духа музыки» оказало на меня решающее влияние.

Вячеслав Иванов, много лет живший с семьей в Женеве, теперь в Петербурге и скоро я могу с ним познакомиться и даже жить в одном доме – от такой перспективы дух захватывало! Разумеется, я

хочу пожить некоторое время в Петербурге! И в восторге я телеграфировала: «Да».

А Мюнхен? А духовная наука? Тогда мне было достаточно знать, что она существует. Так прекрасно было жить в мощных образах мировой эволюции, знать, что все в мире имеет смысл и что существует путь к познанию духовных миров, на который и я, конечно, когда-нибудь вступлю. Странно, что я, почти с детства, усиленно и последовательно искавшая этот путь, внезапно успокоилась, узнав, что такой путь действительно существует и что у меня есть время на него вступить. Макс и я, мы шли по жизни, взявшись за руки, как играющие дети.

Хотя мне неприятно говорить о чисто личном, но я расскажу о последующем периоде моей жизни, потому что эти переживания я нахожу симптоматичными для предреволюционной России, для той «люциферической» культуры, которая, по моему мнению, в России достигла высшего расцвета – именно в России, в рамках косного самодержавного бюрократизма, в котором никто – если только он не избирал путь революционера – ничего не мог изменить. Оторванность от практической деятельности, парение в собственном, независимом от реальности мире идей и чувств, влюбленность в эту независимость от реальной действительности, переоценка собственной личности, чудачества всякого рода – все это в такой степени и с такой красочностью могло развиваться только в интеллектуальных кругах России.

В этот субъективный мир я была целиком и полностью погружена; мне казалось – хотя я и не признавалась в этом, – что я выше практической жизни, в которой я была до смешного беспомощна. Перевес мира чувств, перед которым я была беззащитна, неограниченного и не покоренного сознательной и целеустремленной волей, создавал сверхчувствительность, гипертрофию духовных переживаний, разрушавших тело. Макс в своей самоотверженности был далек от того, чтобы порицать мою отчужденность от мира, находил мою слабость трогательной и милой и относился ко мне с нежной заботой. Я страдала от этой отчужденности и часто сама себе казалась какой-то блуждающей тенью.

Башня

Холодным ноябрьским утром, когда сильный ветер с моря проносился над крепко замерзшей Невой, мы приехали в Петербург. Мы заняли две крохотные комнатки; большую, обе-

щанную нам, мы так никогда и не получили. В моей, похожей на коридор, комнатухе, где я спала на узенькой кушетке, оставалось место только для небольшого столика, на котором мы ели. Комната Макса была еще меньше – просто каюта с одним диваном. Письменным столом ему служил широкий подоконник. Через огромные окна открывалось серое петербургское небо. Но теснота меня не огорчала – что значит теснота, если прямо над нами боги справляют свои пиры!

Первыми посетителями, появившимися у нас сразу же после нашего приезда, были молодой поэт Дикс (настоящее имя – Борис Леман) и его белокурая, похожая на мальчика и на птичку кузина Ольга Анненкова. У Бориса – странная внешность: темноволосая, чрезвычайно узкая голова, оливковый цвет лица, гортанный голос. Что-то от древнего Египта соединялось в нем с ультрасовременной манерой держаться. В нем чувствовалось нечто таинственное, что можно, вероятно, объяснить врожденной способностью «второго зрения». Он служил в каком-то министерстве, где собственно ничем не был занят. Он и Ольга были экзальтированными почитателями Макса и немедленно принялись в один голос декламировать его «Stella Maria». Это звучало настоящей литанией, и я не могла удержаться от смеха.

На другой день мы были приглашены в театр-студию Веры Комиссаржевской. Артисты разучили хоры из драмы «Тантал» Вячеслава Иванова и хотели в этот вечер его поразить. Здесь я впервые услышала хорошую декламацию и была глубоко захвачена мощью этого вида художественного чтения. Произведение большого поэта приобретало в таком исполнении огромную силу. В перерыве я в первый раз увидела Вячеслава Иванова. Он благодарил артистов и Комиссаржевскую и был, казалось, очень тронут. Но я испугалась: не похож ли он на злого «жреца» из одного моего сна: согнувшись, он входил ко мне через маленькую дверцу в низенькую сводчатую комнату; я с тех пор не могла его забыть. Я не хотела верить, что человек, стоявший передо мной, – тот самый поэт, в мире поэзии которого я жила, как в своем собственном.

Вячеславу Иванову было тогда около сорока двух лет. Он был высоким, стройным, легкие рыжевато-белокурые волосы падали отдельными маленькими завитками по обеим сторонам высокого лба, образуя вокруг него некую орифламму. Лицо с остроконечной бородкой, окрашенное в теплые тона, казалось совершенно прозрачным; небольшие серые глаза смотрели хищно; его тонкая – слишком тонкая улыбка, а также высокий носовой тембр голоса показались мне тогда слишком женственными. Говоря, он всякий

слог сопровождал выдохом, что придавало его речи своеобразную торжественность, сакральность.

Ах, думала я в страхе, как бы мне пробудиться от того сна и в действительной жизни заново узнать настоящего Вячеслава Иванова! Но это был не сон... Его жену, Лидию Зиновьеву-Аннибал, мне когда-то описывали как «мощную женщину, с громким голосом, которая любого Диониса швырнет себе под ноги». Ее лицо походило на лицо «Сивиллы» Микеланджело. В посадке головы было что-то львиное; крепкая прямая шея, отважный взгляд, а также маленькие, плотно прилегающие уши усиливали сходство со львом. Но самым своеобразным в ней были ее краски: волосы белокурые с розовым отливом, а кожа смуглая, благодаря чему особенно выделялись блестящие белки ее серых глаз. Она происходила из рода абиссинца Аннибала, знаменитого «арапа Петра Великого», потомком которого был и Пушкин. Лидия и в повседневной жизни носила тунику, а свои сильные красивые руки драпировала тогой. Сочетания тонов всегда были очень смелыми. Так, в тот вечер белое с оранжевым производило впечатление большой торжественности. Макс, уже целиком находившийся под обаянием Вячеслава Иванова, был огорчен, что я с первого взгляда не пришла от него в восторг.

В первые же дни по приезде мы побывали у Алексея Ремизова с женой. Тогда он начинал писать стихи в своем, им впервые введенном стиле, пользуясь русским народным языком во всей его красочности, во всем своеобразии его мелодики и ритма. В его легендах и апокрифах, полуязыческих, полухристианских, впервые в современной поэзии появляются разнообразные стихийные духи, которыми так богата Россия, и целый мир небесных воинств. Для меня, в моих поисках русского стиля, уже его первые прозаические произведения были откровением.

Теперь мы встретились с ним самим. Он зябко кутается в вязанный дырявый платок. Голова, запавшая между высоко вздернутыми плечами, выглядывает из них, как цыпленок из гнезда. Очень близорукие глаза распахнуты, будто в испуге. Но рот при этом улыбается насмешливо и добродушно. У него нос Сократа, а лоб такой, какой можно видеть на изображениях китайских философов. Волосы пучком торчат вверх.

Дырявый платок и сутулые плечи – принадлежность его своеобразного стиля, равно как и преувеличенный московский говор, где все слова выговариваются медленно и внушительно. Однажды я спросила Ремизова, как может выглядеть кикимора – женский стихийный дух, которым пугают детей. Он ответил поучительно: «Вот как раз, как я, и выглядит кикимора».

Хотя ему было тогда только двадцать шесть лет, он показался мне много старше – древним мудрецом. Ремизов – москвич, родом из полубразованного, старого православного купечества, обитающего в Замоскворечье. Там царили еще патриархальные нравы, глава семьи пользовался подлинно деспотической властью над всеми домочадцами, особенно же над бедными родственниками, зависимыми от богачей; этот быт изображен Островским в его классических драмах. Из такой угнетенной и униженной семьи, жившей милостями богатых родственников, происходил и Ремизов. Во время Ходынской катастрофы в день коронации Николая II он был еще гимназистом и попал в давку; его вытеснили вверх и он пошел по головам толпы, пока не наткнулся на конного жандарма, за него он и уцепился. Тот обвинил его в «противоправительственном поведении». И Ремизов был арестован и исключен из гимназии как революционер и сослан в маленький северный городок. Так как ни к какой революционной партии он не принадлежал и никому из тамошних политических ссыльных не был известен, то они сочли его агентом полиции и всячески оскорбляли. А к тому же хозяйка, у которой он жил, обвинила его в краже серебряной ложки. Рассказывали даже, что его теперешняя жена, тогда молоденькая и гордая Серафима Довгелло, тоже сосланная как революционерка, дала ему однажды пощечину. Правда это или нет – я не знаю. Во всяком случае отношения между ними были несколько странны. Они не говорили друг другу «ты», а называли друг друга полным именем – «Серафима Павловна» и «Алексей Михайлович», что в интеллигентных кругах не было принято. Рядом с этой красивой женщиной из знатного литовского рода, «к дочерям которого сватались польские короли», как она однажды мимоходом заметила, Ремизов выглядел невзрачно. Он говорил с ней с величайшим почтением.

Серафима Павловна была высокого роста и с годами чрезмерно полна. Ее круглое, открытое лицо, обрамленное белокурыми локонами, выглядело цветущим; голос был громким и глубоким. Она не стеснялась говорить все напрямик, если дело касалось истины. Я очень полюбила ее за честность и открытость. Она знала, что хорошо и что плохо. Ремизовы были бедны, непрактичны, и длительное безденежье нередко доходило до размеров катастрофы. Поэтому их маленькая дочка воспитывалась в замке Довгелло. Из-за случая на Ходынке он не мог окончить гимназию и поэтому не получил и высшего образования, что закрывало для него путь к лучшему устройству. В то время, когда мы с ним познакомились, он зарабатывал на жизнь подсчетом собак в Петербурге. Он ходил по дворам и собирал статистический материал. Но это тоже шло к его

стилю. В 1906-1907 гг. Ремизов был восходящей звездой в литературном мире. Нередко он читал свои произведения в «башне» Вячеслава Иванова. Он читал в очень своеобразном, музыкально подвижном ритме. Для того, кто не слышал его самого, но только читал его стихи, они много теряют в своем очаровании.

Ремизовы приняли нас очень сердечно и после чая показали свои «сокровища» – фигурки из древесных корешков или сучков, искусственно сделанные или естественно получившиеся: всякие стихийные духи и чертики, висевшие над его письменным столом – пестрый, неприятный, живой мир. По-видимому, они были нужны ему для вдохновения в работе. Ремизов показывал их очень серьезно, называл по именам и рассказывал об их характерах и повадках. «Сокровища» же его жены состояли из различных старинных, вышитых жемчугом предметов из замка Довгелло. По-видимому, они были для нее не менее важны, чем ее мужу – его чертики.

Мне было понятно, что Ремизов стремился укрыть свою раненую и сверхчувствительную душу в спасительную оболочку своего особого «стиля», к которому принадлежал также его стилизованный вычурный почерк. В глубоком проникновении в существо русской народности, которую он знал как никто другой, ему открывались тайны духовных реальностей, и в этом направлении он угадывал до удивления много. В языке своих произведений он любил и разрабатывал прежде всего все народное, подвижное, оригинальное, классический же академический язык был ему ненавистен, как нечто бескровное, обедненное. В духе этого живого языка он воспитывал и молодых писателей, из которых Пришвин впоследствии получил большую известность.

Но Ремизову был знаком и ад в себе и в мире; несомненно, у него была некоторая склонность к извращенному, отвратительному, даже губительному. И в своем творчестве он постепенно впадал в манерность, а когда я его в последний раз видела в 1937 году в Париже, эта манерность выродилась в настоящий гротеск. Я так и не могла вызвать его на настоящую естественную беседу, а ведь мы были с ним очень хорошими друзьями. В Париже он жил на пенсию, предоставленную сербским королем шести известнейшим русским писателям-эмигрантам. Но Ремизов больше ничего не писал, потому что в эмиграции не мог ничего печатать. Он проводил много времени за изготовлением каких-то фантастических коробочек, вставляемых одна в другую, в них он хранил каллиграфически написанные почетные дипломы членов «Обезьяньей палаты», учрежденной им еще в Петербурге. Таким я увидела его через

грядущих лет после нашего первого знакомства, прошедшего через муки большевистской революции и эмиграции.

Однажды Макс и я были приглашены вечером к художнику Сомову, его мы знали еще в Париже. Комната, в которой он нас принял (здесь же он писал и свои картины), была убрана просто и с большим вкусом. Василькового цвета обои, немного старинной мебели красного дерева, хрустальная люстра в стиле бидермейер и, как единственное украшение, драгоценная фарфоровая статуэтка на комод: белый Дионис с гроздьём синего винограда среди неправдоподобно зеленой листвы. Художник был, как всегда, скромен и прост, во всем его существо чувствовалась какая-то задушевная покорность. Он любил старину и смотрел только назад, без всякой надежды на истинную культуру в будущем. Поздно вечером явился поэт Кузмин; и они, казалось, были просто счастливы встретить друг друга. Из каких эпох пришел к нам этот удивительный человек? Даже наружность его необычайна: маленькая фигурка, а лицо с огромными черными миндалевидными глазами напоминает фаянсовые портреты из саркофагов мумий; также и образы русских икон приходили на память при виде этого аскетического лица с темной бородкой. Однако святым он совсем не хотел ни быть, ни казаться, да и все его обхождение было крайне просто, непритязательно. С беспримерной откровенностью и невинностью он время от времени читал друзьям, к кругу которых и я впоследствии принадлежала, свои дневники без всяких сокращений, не стремясь ничего в своей жизни изобразить иначе, чем это было на самом деле. Страсти к друзьям он подчинялся как высшей силе и несказанно страдал при всяком разрыве. При этом он был искренне набожен, и эта набожность носила строго православный характер. К своим утонченным стихам он сам сочинял музыку и пел их, аккомпанируя себе на рояле. Я восхищалась его «Александрийскими песнями». Все в нем было свободно от всякой позы, естественно, даже по-детски безыскусно. В нем в удивительном смешении встретилась фривольность XVIII века, знатоком которого он был, как и Сомов, российское православие и александрийская Греция.

Когда мы с Максом ехали в ту холодную ночь в санках домой, мы говорили, что мы оба среди этих переутонченных людей – вроде варваров. Они смотрят назад, а мы ищем будущее.

На другой день, когда я одна сидела в максовой «каюте», пришел Вячеслав Иванов. Мы говорили о вечере в студии Комиссаржевской, и по этому поводу я сказала ему, как много значили для меня его стихи. Сборник «Кормчие звезды» я знала почти весь наизусть, особенно же любила «Дриады», так верно передающие сновидче-

скую космическую жизнь деревьев, их потустороннее чувство осязания земных пространств. Маленькие глазки Вячеслава Иванова широко открылись; я чувствовала, как его взгляд в меня впивается. Несколько минут он молчал. Наконец, сказал взволнованно: «Мои стихи серьезные, они очень трудны и даже если меня когда-нибудь станут чтить, они, собственно, встретят мало понимания, я поражен...».

Он пришел пригласить нас на ближайшую среду: философ Бердяев будет говорить об Эросе в виде вступления к общей беседе на эту тему. Во второй части вечера поэты, как обычно, будут читать свои новые произведения. Но сейчас он хочет немедленно повести меня наверх к Лидии.

Ивановы уже год жили в Петербурге. Их дети со своей воспитательницей оставались в Женеве, где они учились в школе. Их квартира представляла собой, как я уже говорила, «башню». Во всех комнатах стены были круглые или косые. В комнате Лидии, куда он меня ввел, обои были ярко оранжевые. Здесь стояли только два очень низеньких дивана и странный, высокий, пестро окрашенный деревянный сосуд, в котором она хранила в виде свитков свои рукописи. Комната Вячеслава была узка, с огненно-красными стенами, так что в нее входили, как в раскаленную печь. Быт их для тогдашней России был очень необычен. Все женщины нашего круга держали, по меньшей мере, кухарку. Лидия же, помимо своих литературных работ и приема множества посетителей, делала все сама, так как не терпела в своем жилище человека, не разделяющего полностью их жизни.

Придя к ним, я почувствовала себя зайчонком, попавшим в пещеру пары львов. Я видела, что Лидия по оригинальности и силе переживаний не уступает мужу. Они встретили меня с необычным интересом; этот интенсивный интерес к людям был свойствен им обоим. «Вячеслав и я, — сказала Лидия, — мы любим в лицах людей видеть сны». Казалось, что в моем лице они видят какой-то сон, который им нравится. И я только боялась, чтобы, проснувшись, они не были слишком разочарованы.

Вячеслав Иванов был тогда центром духовной жизни Петербурга. Легко вдохновляясь и обладая даром проникновения, он умел усиливать творчество других. Так, одному он подсказывал тему, других зажигал, хвалил или порицал, иногда чрезмерно; в людях он пробуждал им самим неведомый мир, еще дремлющий в них, и вел, как Дионис, жрецом которого он мне явился, хор не столько вакханок, сколько вакхантов.

И не только в творчестве — он был своего рода инспиратором и в

личной жизни окружавших его людей. В его огненную пещеру приходили с исповедью и за советом. Распорядок дня у него был необычен: около двух часов дня он только вставал, принимал посетителей и работал ночью. Но в ту зиму, честно говоря, он работал не слишком много.

При этом первом посещении я почувствовала только исключительно интенсивную, для меня еще загадочную жизнь их обоих. Из своего сообщества они вынесли что-то новое, своей жизнью хотели явить людям нечто новое – со страстью постигнутую идею. «Что же это?» – задавала я себе вопрос.

Заколдованный сад

Пришла ожидаемая среда. В большой полукруглой комнате «башни», днем освещавшейся только одним маленьким окошечком, горели в золотом канделябре свечи; в их свете блестели маленькие золотые лилии на серых обоях и золотые волосы хозяина. В этом обществе было больше мужчин, чем женщин, и среди них – кроме Лидии – ни одной сколько-нибудь выдающейся. Среди гостей я видела Сомова, Кузмина, художника Бакста, молодого поэта Городецкого; затем пришли Ремизовы, Борис Леман с кузиной, писатель Чулков, только что выступивший со своим «мистическим анархизмом», студент Гофман – автор книги «Соборный индивидуализм», несколько литераторов и режиссеров. Философа Бердяева я встретила здесь впервые, позднее я много с ним общалась в Москве. Высокий и широкоплечий, импозантная фигура, красивая наружность, черные волосы и остроконечная борода. Очень заметно проступало романское происхождение – его мать была француженкой. Но сначала меня оттолкнули и даже испугали нервные судороги, от которых его лицо то и дело подергивалось, а время от времени открывался рот и высовывался язык. Но это, казалось, ни ему, ни окружающим ничуть не мешало.

Из его вступительного реферата я теперь ничего не помню, равно как и из речей других собеседников. Знаю лишь, что мысли об Эросе явились для меня совершенно новыми и глубокими, восхищению моему не было границ.

На большом сером столе, отодвинутом к дверям, чтобы освободить место для многочисленных гостей, сидели Лидия, Сомов и Городецкий и представляли «галерку». Если оратор, по их мнению, говорил слишком абстрактно, они обстреливали его апельсинами. Городецкому было тогда около двадцати четырех лет; очень высокий

и худощавый, он своим птичьим лицом походил на египетского бога Анубиса. В его юношеской свежести и непосредственности, в его юморе было что-то очень привлекательное. Тогда он начинал свою поэтическую карьеру под крылом Вячеслава Иванова. Во второй части вечера поэты декламировали свои произведения. Иванов прочитал из своей новой книжки «Эрос» заклинание Диониса, представлявшего ему полуиюношей-полуптицей, и другие стихи, действовавшие на меня почти магически. Но эти стихи отличались от тех, которые я знала раньше. Это был цикл переживаний, говоривший о страсти, страдании, даже печали и смирении. С глубоким сочувствием размышляла я о причинах этой скорби, так как я ведь ощущала прекраснейшую гармонию между ним и Лидией. Затем Городецкий читал свои народные, такие оригинальные по ритму стихи. Мне показалось, что Вячеслав Иванов критикует его слишком резко, между учителем и учеником сгушалась натянутость; ее я истолковала так: Иванов глубоко разочарован в своем ученике, потому что тот не может идти с ним в ногу и отходит от него. Лишь много позднее я поняла очень личную причину этого расхождения. Ремизов прочел свою «Медвежью колыбельную», Кузмин – грациозную «Любовь этого лета». Рядом со всеми этими стихами стихи Макса казались слишком ювелирными, малолиричными, даже, может быть, несколько риторичными. Чувствовалось французское влияние. Когда гости группами разошлись по комнатам, Вячеслав Иванов подошел ко мне и мы обменялись впечатлениями. Я заметила, что мои простодушные отзывы опять его странно взволновали. Помолчав немного, он сказал: «Через Вас я чувствую себя за многое вознагражденным». Это было мне совсем непонятно.

Лидия работала тогда над книгой «Трагический зверинец», задуманной как сборник связанных между собой небольших рассказов; в каждом – воспоминание из ее детства, встречи с тем или иным животным. В это же время и я для журнала, издававшегося поэтессой Поликсеной Соловьевой, написала рассказ для детей. Лидия находила мою манеру более художественной, выразительной по форме и богатой оттенками, чем ее собственная, мне же ее стиль, хотя несколько запутанный и тяжелый из-за нагромождения вводных предложений, казался более динамичным. В этой книге открывалась ее сильная, жаждущая истины натура, ее буйный, неистовый темперамент, независимый, мятежный характер: «одним всецелым умирима и безусловной синевой» – сказано о ней в стихотворении Вячеслава Иванова. «Трагический зверинец» изображает путь из рая в земной мир к новому союзу с Божеством – путь каждого ребенка, повторяющего историю всего человечества. Рассказы пора-

жали силой чувственных восприятий: вы вдыхали ароматы земли и согретой солнцем листвы, ощупывали вещи, чувствовали жесты в своих собственных членах, воспринимали земное бытие во всей его полноте. Я вижу Лидию, сидящую с ногами на диване, она испускает маленькие отдельные листочки своим крупным, косым, немного дрожащим, но все же уверенным почерком. Как различны были эти два человека – можно было видеть уже по их почеркам. У Вячеслава Иванова – каждая буква жемчужно ясна и окрылена, строчки летели легкие, как все его движения. Говоря, он то поднимался на цыпочки, то делал шаг вперед, то назад, так что вся его фигура как бы танцевала перед слушателем; рука, сначала сжатая, затем открывалась, как цветок, поднималась вверх с той же брызжущей легкостью. В Лидии же, как я говорила, поражала микеланджеловская тяжеловесность; громким был голос – когда-то она готовилась стать певицей. Говорила она – сначала, как бы нащупывая, затем – неожиданно резко. У Вячеслава же, напротив, речь – совершенная по форме, мысли – чеканны; почти по-византийски запутанные фразы озарялись пламенем воодушевления или негодования. Творческое напряжение – как бы поединок – я всегда чувствовала между этими двумя крепко связанными людьми. Теперь я держусь того мнения, что именно она вносила в этот союз его духовную субстанцию, а он лишь давал ей форму – художественную и мыслительную. Там, где она следовала за ним на извилистых путях спекуляции, нередко состоявших на службе его страстей, она впадала в заблуждения; не только менее сильные духом, но и она, для которой так много значила истина, могли ослепляться многокрасочным сверканием его огней. И теперь еще слышу, как она сказала: «В конце концов, Вячеслав всегда прав»; это было сказано в момент, когда такое утверждение требовало от нее величайшей жертвы.

Ко мне оба выказали необычайный интерес. У нее это выражалось в бурной сердечности; его же обхождение переливалось разными красками: он то насмешливо провоцировал, любопытствовал, то, как я уже говорила, был охвачен волнением, которое меня пугало. Он напоминал мне иногда золотую пчелку, когда она осторожно, но настойчиво высасывает мед у цветка.

Макс был очень занят своей журналистской работой; он совсем погрузился в новые для него впечатления Петербурга. Так мы, Ивановы и я, часто оставались втроем. Оба охотно посвящали меня в историю своей жизни. Из рассказов о создании ранних стихотворений я много узнавала об их богатой бурями жизни в Англии, Париже, и, главным образом, в Италии. Для обоих этот брак был вторым. Он оставил любившую его жену и дочку, чтобы соединиться

: Лидией. Рассказывали они и о теперешних встречах с людьми, и о своей жизни после переезда в Петербург. Однако прошло много времени, пока я полностью поняла существо столь импониовавшего мне интереса, с каким мужчины этого круга относились друг к другу. О том, что мы здесь находимся среди людей, у которых жизнь чувств шла аномальными путями, мы – Макс и я – в своей наивности не имели ни малейшего представления. У Ивановых я видела прежде всего поиски новых живых отношений между людьми. Из новых человеческих созвучий должна, как они уповали, возрасти новая духовность и облечься в плоть и кровь будущей общины; для нее они искали людей. Так, Вячеслав устраивал вечера с участием только мужчин; Лидия же, со своей стороны, хотела собрать закрытый круг женщин, некую констелляцию, которая поможет каждой душе свободно раскрыть что-то исконно свое. Она пригласила и меня. На этих собраниях мы должны были называться другими именами, носить другие одежды, чтобы создать атмосферу, поднимающую нас над повседневностью. Лидия называлась Диотима, мне дали имя Примавера из-за предполагаемого сходства с фигурами Боттичелли. Кроме простодушной, безобидной жены писателя Чулкова и одной учительницы из народной школы, которая, превратно понимая суть дела, вела себя несколько вакхически, не нашлось женщин, которые бы пожелали принять участие в этих сборищах. Вечер протекал скучно и никакой новой духовности не родилось. Вскоре от этих опытов отказались.

В то время я начала писать портрет Лидии – в своей оранжевой комнате она лежит против меня, в позе сфинкса, опираясь на локти. Я писала ее *en face**. Но при петербургском декабрьском освещении работа шла медленно. Затем она тяжело заболела воспалением легких и ей пришлось лечь в больницу. Во время ее болезни у нас появилась Минцлова. Мы представили ей наших новых друзей, и в присутствии этой «сивиллы» наша жизнь, сама по себе уже достаточно фантастическая, стала еще фантастичней. Как всегда, вокруг нее возникали вихри, а при встречах с Вячеславом Ивановым раздражались настоящие духовные грозы. От нее он впервые узнал с пути в духовный мир. Он был захвачен жадной знания, тягой к нему и одновременно – протестом. Благоговая, наблюдала я эти духовные турниры и взрывы. Сама же «сивилла» была в восхищении от поэта, и это слово еще слишком слабо, чтобы выразить накал ее чувств.

Я тогда страдала непонятным для врачей упадком сил, и Макс

* Анфас (фр.).

повез меня на несколько недель в Финляндию. Пансион располагался среди засыпанных снегом лесов и озер, в двух часах езды от Петербурга. Через несколько дней Максу нужно было вернуться в город, а ко мне приехал наш старый друг Любимов. Среди сверкающих скрипящих снегов, испещренных синими тенями, мы дышали воздухом, в котором – не знаю почему – ощущался запах фиалок, катались на лыжах или в санках по окрестностям. В это время года на севере утренняя заря сразу следует за вечерней; небо окрашивалось аметистом, смарагдами, янтарем. Замерзшие озера лежали, как медные щиты, в еловых лесах, отливающих старинным серебром. Когда Любимов уехал, я начала писать. Макс подарил мне великолепную раковину: в смарагдово-зеленой глубине мерцали розовые, лиловые, синие огни. Краски, возникавшие в этом мерцании, были невероятно прекрасны, я видела в них целые ландшафты, населенные мифическими существами. Я хотела передать все это, но мои краски рядом с великолепием этих сияний оставались бледными, невыразительными. И я загрустила. От Макса письма приходили ежедневно. Он сообщил, что Ивановы собираются уехать в Женеву, где Лидия может лучше поправиться после воспаления легких; на это время они предлагают нам свою квартиру в «башне», но сейчас Лидия еще больна воспалением вен и должна лежать.

Я уже скучала по Максy, когда же узнала, что Ивановы скоро уедут, – ничто меня больше не удерживало; никого не предупредив, я сбежала в Петербург. Я думала застать Макса за ужином, но, когда я в радостном нетерпении пришла в нашу квартиру, там было темно и пусто. Я оставила Максy записку и поднялась этажом выше. Ивановых я застала как раз за столом, они встретили меня очень радостно. Лидия сидела, вытянув больные ноги, в кресле; на его высокой красной спинке, прямо над ее головой, очень декоративно восседала великолепная пестрая кошка. Как хорошо было мне опять очутиться в огненной стихии этих людей! Они сообщили, что Званцевой нужны наши комнаты и что мы можем уже теперь переселиться в «башню», заняв почти пустую мансарду. Вячеслав, как всегда, шутил со мной, поддразнивая, провоцировал; Лидия, которая во время своей тяжелой болезни побывала на пороге смерти, была теперь очень сердечна, но серьезна. Часы летели в оживленной беседе. Но я все время прислушивалась, ожидая Макса. Когда же он, наконец, очень поздно позвонил и Вячеслав пошел открыть дверь, я побежала за ним. И правда – это был Макс. Я бросилась к нему навстречу, но Вячеслав обернулся и преградил мне дорогу. Я прыгнула направо – он сделал то же, я – налево, и он снова

оказался между нами. Мы смеялись шутке, но она, как я позднее поняла, была совсем уж не такой безобидной.

Ночная скиталица

Совместная жизнь – мы жили теперь в одной квартире – для всех четверых была так увлекательна, что Ивановы совсем и не думали уезжать. Мать Макса приехала к нам из Коктебеля, жила внизу и была пятым членом нашего союза. Вячеславом она восторгалась с юношески наивным энтузиазмом. Большинство знакомых думали, что Ивановы уехали, так как собрания по средам прекратились; только самые близкие друзья бывали в «башне», так что мы жили очень уединенно.

Однажды Александр Блок читал у нас свои новые стихи «Кубок метелей». Уже внешность поэта говорила о большой внутренней значительности. Лицо – будто вырезано из мрамора, профиль средневекового рыцаря. Его большие светлые глаза смотрели вдаль; голос звучал как бы из сжатой гортани; в его несколько монотонной музыкальной манере декламации чувствовалась сдержанная страстность. Создавалось впечатление, что этот рыцарь заблудился в нашей эпохе, он не находит здесь того, что ищет – божественный женский образ, воспеваемый им в многообразнейших ритмах. В стихах звучало томление и отчаяние до цинизма. Для тех лет было вообще характерно, что в душах людей жило томление, не находившее удовлетворения в застое буржуазной культуры. Они жаждали осуществить свои грезы, а Люцифер морочил их иллюзорными переживаниями, имя которых – Эрос. И в жизни почти каждого художника, кого я тогда встречала, происходили драмы такого рода. Супружеская верность была большой редкостью, а когда встречались такие пары, другие их даже несколько презирали.

Один художественный журнал заказал мне портреты Ремизова и Кузмина. Я рисовала углем Ремизова – кутающегося в свой платок, с его висячими чертиками на заднем плане – в манере натуралистического гротеска; Кузмин стилизован под фаюмский портрет. Оба рисунка в натуральную величину удались, но Вячеслав Иванов слишком носился с ними, показывал всем, когда они еще не были закончены, и говорил такие громкие слова, что мне стало невозможно, и один рисунок я почти насильно у него отняла; в шутку рассердившись, я побежала в свою мансарду, чтобы спрятать рисунок; он побежал за мной, схватил за руку и, глубоко взволнованный, умолял: «Пожалуйста, будьте добры ко мне, не оставляйте

меня!» Что это могло значить? Я рассказала Макс, он не меньше меня был удивлен этой сценой. Вячеслав много времени уделял моему образованию. Он читал со мной «Цветочки» Франциска Ассизского в итальянском оригинале. Рассказ о том, как святой Франциск и святая Клара встретились в церкви св. Ангела за трапезой, за которой «меньше ели, а больше беседовали о святых вещах», как от этой беседы над всей той местностью разлился такой свет, что крестьяне Перуджии приняли его за зарево лесного пожара, и прибежали тушить, и увидели, что это духовный огонь, – этот рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Он отвечал моему интимнейшему идеалу любви. Истинной любовью, казалось мне, может быть только та, где в беседе любящих возникает нечто духовное, объективно значимое для мира.

За чтением Евангелия от Иоанна Иванов знакомил меня с греческим языком; также и вторую часть «Фауста» я впервые услышала в его прочтении. Помню, как при словах Самаритянки – «У колодца, к которому еще праотец Авраам пригонял свои стада, с ведром, из которого Спаситель освежил свои уста...» – он не совладал с волнением. Он закрыл лицо руками и заплакал. «И это о Гете говорят, как о холодном олимпийце! Да ведь здесь всякое слово прокалено, просветлено Христовой любовью, даже ведро просветлено!»

Интерес Иванова к моим стихотворным опытам, которые я до сих пор никогда особенно не ценила, внушил мне желание писать новые стихи. Сонет об осени, который я тогда написала, он заставлял меня читать на разных поэтических собраниях, что при моей застенчивости требовало от меня большой победы над собой. Но его взгляд принуждал, я была в его власти. Он хотел ввести меня в искусство поэтического слова, и из его объяснений вырос систематический курс; слушателями были только Макс, Лидия и я; позднее эти уроки легли в основу его публичного семинара. Эти занятия вдохновляли: он говорил как поэт и вместе с тем как ученый. Опираясь на свои обширные познания в области греческих мистерий и культов, он истолковывал существо различных метров и ритмов, приводя примеры из античных и новых классиков на языках оригиналов, потому что он в совершенстве владел и древними, и новыми языками. Эти занятия оплодотворяли и обогащали также и поэтику Макса.

Однажды ко мне пришел студент Штраух – сын одной умершей приятельницы Марии Сиверс. Он принес мне книжечку, принадлежавшую его матери, – сказку Гете «О Прекрасной Лилии и Зеленой Змее». Поля этой книжки на всех страницах были исписаны рукой Рудольфа Штейнера, замечаниями, открывающими су-

щество этой маленькой мистерии. Мы с увлечением читали «Сказку» и замечания Штейнера; ее события и персонажи стали в нашем кругу как бы знаками своеобразного шифра, нашим сокровенным языком.

Из этой «Сказки» я поняла, как события и персонажи такой истинно инспирированной сказки могут быть образами духовной действительности, как в этих образах можно узнавать силы, действующие в различных планах: в собственной душе, в истории человечества, в мировом свершении. Это совсем не аллегория.

Королевич любит Прекрасную Лилию. Но ее прикосновение убивает все живое. Есть два способа переправиться к ней через реку: утром и вечером Великан бросает на ее воды свою тень, а в полдень Змея, образуя арку, ложится мостом между ее берегами. Змея издавна являлась образом в самом себе замкнутого земного Я. Блуждающие Огни, называющие себя «владыками вертикали», – абстрактный интеллект; повсюду, где только можно, они вылизывают золото мудрости, отчеканивают из него монеты – наши абстрактные понятия – и разбрасывают вокруг. Змея проглатывает монеты, и золото превращается в ней во внутренний свет; она, терпеливо исследуя, освещает им предметы на своем пути; верная земле, не отрываясь от нее, она ощупью пробирается от узнания к узнанию. Так она освещает и подземный храм, где сидят три Короля – Золотой, Серебряный и Медный – три силы души; душа знает их в себе подсознательно (подземно) – мысль, чувство, воля. Четвертый Король – Смешанный, господствующий в нашей эпохе, в нем эти три элемента хаотически спутаны; он стоит, прислонясь к колонне.

В храме появляется Старик с лампой; свет ее преобразует предметы, на которые падает. Волнующе звучат таинственные слова, которыми они обмениваются. Золотой Король спрашивает Старика: «Сколько тайн знаешь ты?» – «Три», – отвечает тот. Серебряный Король спрашивает: «Какая из них важнейшая?» – «Открытая», – отвечает Старик. «Откроешь ли ты ее нам?» – спрашивает Медный Король. – «Как только узнаю четвертую». – «Какое мне дело!» – бормочет про себя Смешанный Король. (Как знаком нам этот голос!) «Я знаю четвертую», – говорит Змея, приближается к Старику и шепчет ему что-то на ухо. «Время настало!» – провозглашает Старик.

Четвертая тайна, тайна Змеи не произносится, но в том, о чем Змея шепчет, лежит разгадка «Сказки». Старик знает тайну трех прошлых ступеней развития мира. Четвертая тайна, тайна Змеи – земного Я, идущего через опыты земной жизни, есть свободное решение жертвенно отдать себя, собирая эти опыты не для себя, но

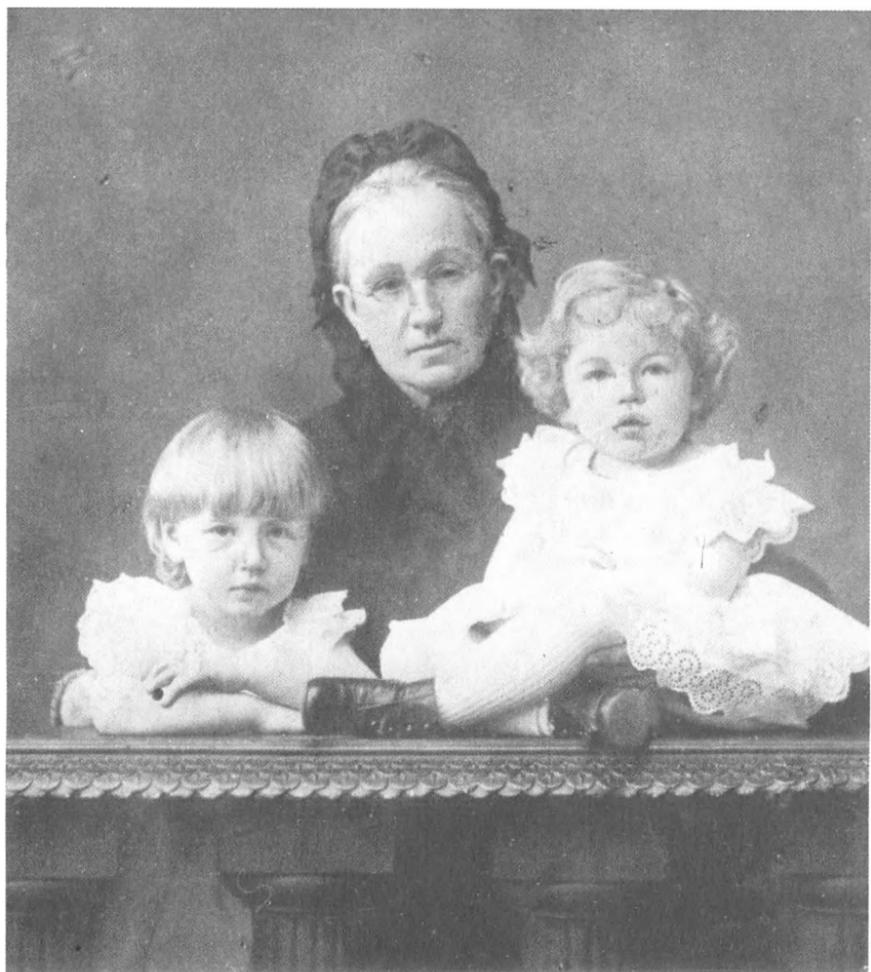
для того, чтобы из них построить мост между чувственным миром и миром духовным. Змея распадается на множество драгоценных камней, из них складывается постоянный мост; оба берега бытия соединяются теперь не только для отдельных путников, но для всеобщего пути человечества. И храм на другом берегу поднимается из глубин Земли, становится видим. Здесь совершается брак Юноши, прошедшего через смерть и воскресение, с Лилией – высочайшей Невестой. Хотя тогда эти образы жили во мне больше как настроение, но с тех пор они меня уже не покидали. То, что рождается из реальности, имеет существенное свойство: через года, может быть десятилетия, но оно приводит тоже к реальности. «Истинно только то, что приносит плоды».

Здесь я имею в виду не тот случай, когда позднее я однажды поставила эту «Сказку» на сцене кукольного театра. Сияние Зеленой Змеи, Блуждающих Огней, лампы и звезд, утренней и вечерней зари в этой миниатюрной мистерии производили волшебное впечатление. Представление имело большой успех; это было в Германии во времена «третьего рейха», когда все другое, что шло в духовном направлении, находилось под запретом. Мне кажется, что это было лучшее, что я когда-либо сделала в жизни.

В конце февраля мой милый отец приехал на несколько дней по делам в Петербург; я была совершенно счастлива. Я много времени проводила с ним в гостинице, и он несколько раз был приглашен на обед в «башню». Ивановы принимали его в высшей степени сердечно. Мы все были удивительно созвучны друг другу. «Твой отец разливает вокруг себя тихое волшебство», – сказал Вячеслав. Лидия тоже была очарована этим скромным, милым человеком, и добряк сиял свойственной ему тихой радостью, счастливый тем, что видит меня такой счастливой и так всеми любимой. Возвращаясь мысленно к этому времени, я вспоминаю, что, засыпая, я как будто погружалась в море света и просыпалась в потоках того же света, благодарная, что новый день несет мне новую встречу с друзьями. А то, что впереди, думала я, будет еще прекрасней!

Родители согласились, что лето мы проведем вместе с Ивановыми в нашем имении Богдановщина. Вячеслав увидит эти дорогие мне места, творчеством поэта он даст этой немой душе дар слова, освободит ее из заколдованного плена! Как много это для меня значило! Как будто все, чего жаждала душа, готовилось осуществиться!

Однажды, когда отец отлучился на несколько часов по делам и я ждала его в гостинице, на меня внезапно напала тоска по друзьям. Я взяла санки и поскорей поехала домой. Но в «башне» все было



Бабушка с Маргаритой (слева)
и Алешей.



*Родители
М.В. Сабашниковой.*



*Маргарита Сабашникова.
Первый автопортрет в возрасте 21 года (1903).*



Маргарита Сабашникова. Автопортрет 1905 года.



*Художник Чуйко.
Портрет работы М. Сабашниковой.*



*Екатерина Бальмонт.
Портрет работы М. Сабашниковой.*

*Максимилиан Александрович
Волошин.*

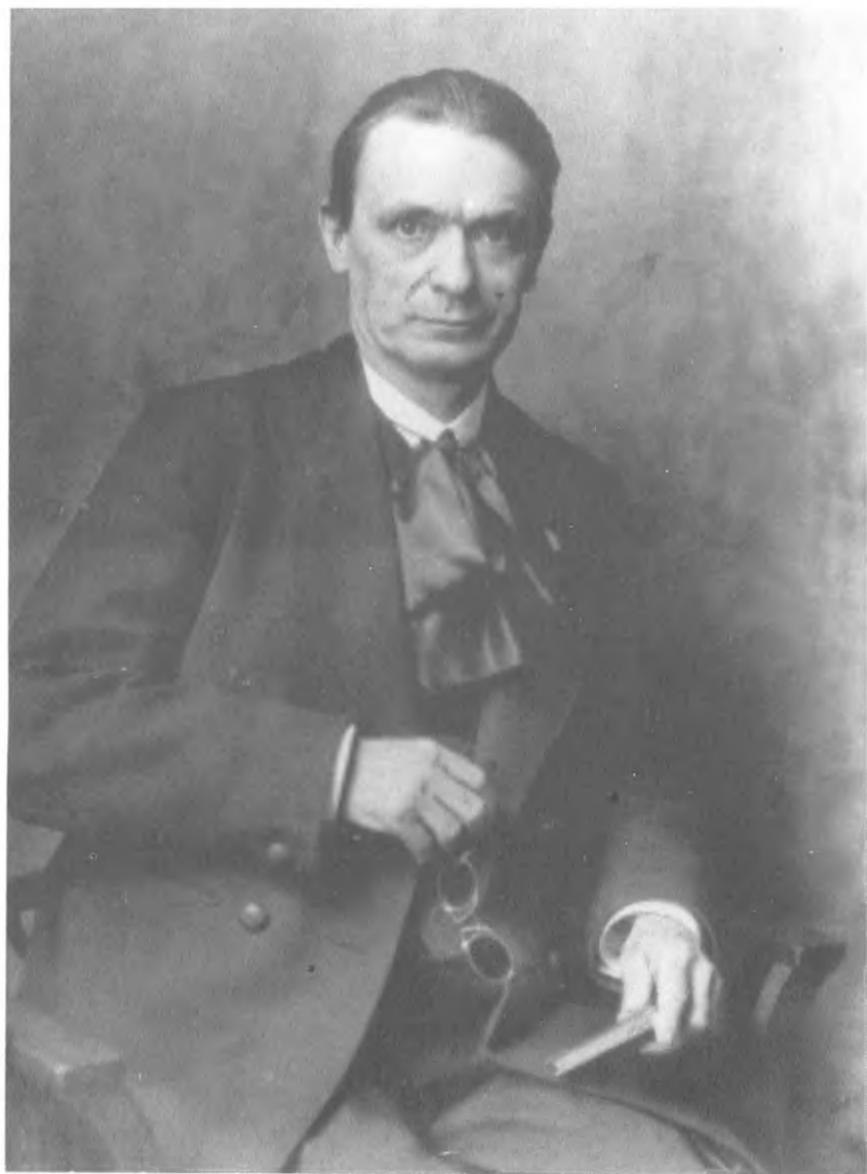


*Маргарита Сабашникова
в Коктебеле (1906).*





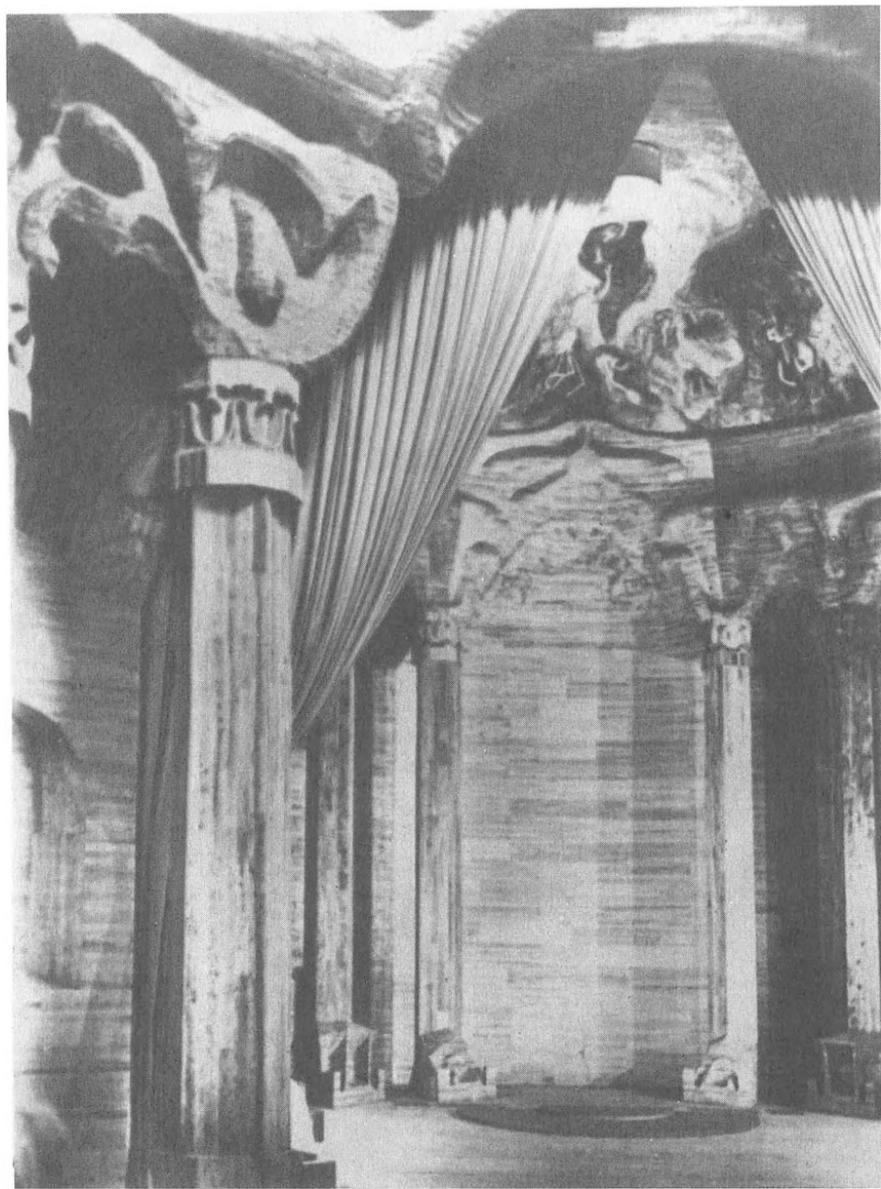
Мария Сиверс.



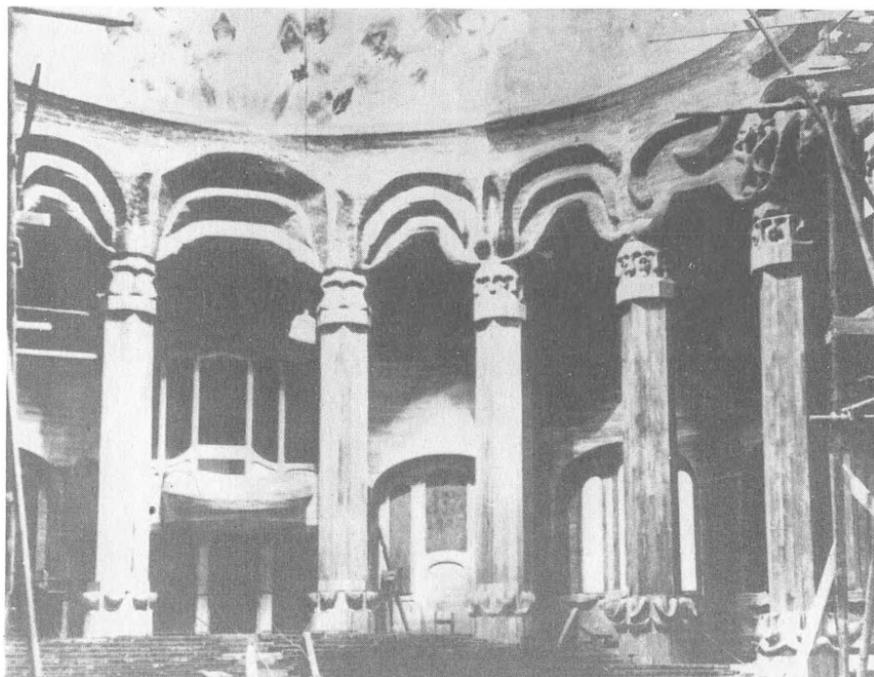
Рудольф Штейнер.



*Рудольф Штейнер
у модели здания первого Гётанума.*



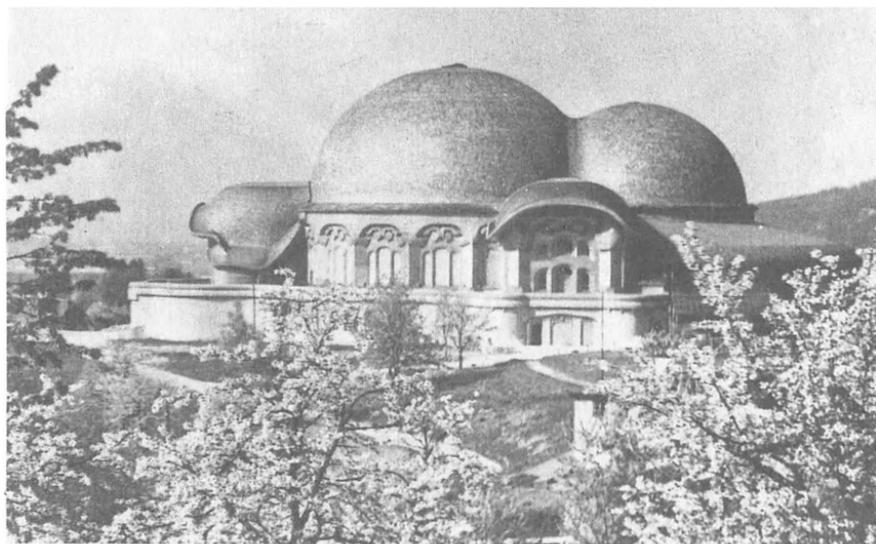
*Первый Гётеанум.
Пространство под малым куполом.*



*Первый Гётеанум.
Пространство под большим куполом.*

*Центральная фигура деревянной скульптуры -
"Представитель человечества" (справа).*





Первый Гётеанум.



Второй Гётеанум.



*Маргарита Васильевна и Алексей Васильевич
Сабашниковы (около 1950 г.).*

тихо и пусто. Я сидела одна в большой, при дневном свете сумрачной столовой и слушала тишину; она была полна таинственной жизнью. Я знала, что слышу само бытие. И я испугалась того, что здесь готовилось совершиться. Счастье исчезло, гонимое неотвратимой судьбой. В ознобе я вернулась к отцу, никого не встретив.

Однажды вечером Вячеслав сказал мне: «Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует». Этот ответ был мне понятен, я ведь знала, как Макс любил и чтит Вячеслава; он сказал чистую правду, он действительно так чувствовал. Но постепенно я стала замечать, что сам Вячеслав не терпит моей близости с Максом. Он все резче критиковал его сочинения, его мысли. Объективно я часто должна была соглашаться с Вячеславом: Макс слишком любил парадоксы, увлекался игрой мысли. Но душе было больно. Нередко, возражая мне, Вячеслав утверждал, что Макс и я – люди разной духовной породы, разных «вероисповеданий», по его выражению, и что брак между «киноверцами» недействителен. В глубине души у меня самой было это чувство, Вячеслав только облекал его в слова.

После доклада Макса об «Эросе», который имел успех скандала (он и был сделан «*pour épaier les bourgeois*»*) и с которым я в глубине души не могла согласиться, я открыла, что не могу больше о себе и Максе сказать «мы». Это было нелегкое узнание; оно стало выноСИМО, может быть, только потому, что меня наполняло и воодушевляло счастливое чувство дружбы с Лидией и Вячеславом; с ними-то я считала себя в полном единстве. Скоро мне стало ясно, что Вячеслав меня любит. Я сказала об этом Лидии, прибавив: «Я должна уехать». Но для нее это было уже давно ясно, и она ответила: «Ты вошла в нашу жизнь и принадлежишь нам. Если ты уйдешь, между нами навсегда останется нечто мертвое. Мы оба уже не можем без тебя». Потом мы говорили втроем. У них была странная идея: когда двое так слились воедино, как они, оба могут любить третьего. Это вроде маски: пригодная для двоих, она может подойти и третьему. Такая любовь есть начало новой человеческой общины, даже церкви, в которой Эрос воплощается в плоть и кровь. Так вот в чем их новое учение! «А Макс?» – спросила я. – «Нет, он не подходит». – «Но я ведь не могу его оставить». – «Ты должна выбрать, – сказала Лидия, – ты любишь Вячеслава, а не его». Да, я любила Вячеслава, но эта любовь была такова, что я не понимала – почему Макс должен быть из нее исключен. Я чувствовала себя такой по-детски беспомощной перед этими двумя сильными людьми, так боялась вызвать их

* Чтобы скандализировать мещан (фр.).

неудовольствие, что уже не могла себя чувствовать безмятежно счастливой, как раньше. То же было и с Максом.

Об этом я говорила с Минцловой. Она подняла меня на смех: «Они полагают, что из кратера вулкана потечет чистая водичка!» И в своем сивиллином стиле заговорила о «земном огне», через который я должна пройти. Я же думала о «*fuoco spirituale*» – «духовном огне», озарившем леса Перуджии. Должна ли я отказаться от этого идеала?

Весной мать Макса, горячо участвовавшая в нашей жизни, впала в меланхолию; подобные депрессивные состояния у нее время от времени бывали. Почувствовала ли она беду? Она решила вернуться в Коктебель, тем более, что в связи с началом сезона ее присутствие дома было необходимо. Макс не хотел отпустить ее в таком состоянии одну и поехал с ней. Может быть, он – фанатик свободы! – считал, что он должен предоставить мне полную свободу решений? Но была ли я свободна?

Вячеслав требовал от меня послушания, в правильности его идей я не должна была сомневаться. В одном из сонетов, написанных им в то время для меня, он предостерегает Психею, подносящую светильник к лицу возлюбленного:

Держа в руке свой пламенный опасный,
Зачем, дрожа, ты крадешься, Психея, -
Мой лик узнать? Запрет нарушить смея,
Несешь в опочивальню свет напрасный?

Желаньем и сомнением болея,
Почто не веришь сердца вести ясной, -
Лампаде тусклой веришь? Бог прекрасный -
Я пред тобой, и не похож на змея.

Но светлого единый миг супруга
Ты видела... Отныне страстью жадной
Пронзенная с неведомою силой,

Скитаться будешь по земле немилый,
Перстами заградив елей лампадный,
И близкого в разлуке клича друга.

А Лидия? Действительно ли она верила в возможность союза трех или она видела в этом единственный способ остаться спутницей мужа на всех его путях? И она, казалось, страдала, так как сказала

мне как-то: «Когда я тебя не вижу, во мне поднимается протест против тебя, но когда мы вместе – все опять хорошо и я спокойна».

Когда Макс уехал в Коктебель, я не хотела оставаться одна в «башне» и решила отдохнуть в Царском Селе – летней резиденции царей. Окна моей комнаты выходили в старинный парк, где прошли детство и юность Пушкина. И в доме, где я жила, он часто бывал, и вся обстановка, до мелочей, еще напоминала о нем. В старинном липовом парке я много гуляла одна. Стихи, там написанные, были напечатаны той же весной в альманахе «Цветник Ор». Была ранняя весна – время таяния снегов, с нежными зелено-голубыми красками неба, блестящими желто-зелеными прядями мха на стволах старых деревьев и тем удивительно живым воздухом, который на севере в это время года веет так маняще, зовет и вдохновляет. Единственная неприятная сторона царскосельской жизни – агенты тайной полиции, торчавшие на всех углах и сопровождавшие мало знакомых им посетителей, – господа, отличавшиеся старомодными усами, котелками и пальто горохового цвета. В давние времена им придумали такое одеяние, чтобы они не отличались по виду от обывателей. Но мода давно изменилась, а их «форма» оставалась прежней, так что теперь они всем бросались в глаза. Их так и называли – «гороховое пальто». Но они мне мало мешали, я была погружена в свою работу и радовалась, что могу показать свои достижения Макс и Ивановым. Так наивна я тогда была, что вовсе не осознавала всего значения конфликта, вошедшего в мою жизнь. Я думала: все опять наладится, когда мы четверо соберемся в нашем имении и будем вместе жить и работать.

Один раз ко мне приезжала Лидия, другой раз – Вячеслав. Мы бродили по парку, и он рассказывал о своем плане нового журнала; средства для этого издания предложила одна его почитательница, чтобы – по ее выражению – «его гений получил широкое поле деятельности». Его идея заключалась в том, чтобы в общей работе узкого круга писателей создать полное единство; тогда в этом кругу разных индивидуальностей может заговорить единый дух. Он напоминал о средневековых соборах, которые именно так и строились. Теперь эти идеи кажутся мне порядочно иллюзорными, но тогда они для меня были огонь и пламя! Как всегда в его присутствии, мне приходили удачные мысли и образы, так что он, взволнованный, сказал: «А ты на носу нашего корабля будешь крылатой Нике!» Бедная Нике! Как скоро были оборваны ее крылышки – что всегда и бывает с крыльями иллюзий!

На Пасху я собиралась поехать к родителям в Москву. Но до того провела некоторое время в «башне». В странном настроении прошли

эти дни! Весенние ночи светлы, и мы в «башне» бодрствовали до утренней зари. Между супругами происходили бурные объяснения, в которых каждый хотел привлечь меня на свою сторону. Из этих гроз оба выходили освеженными, я же чувствовала себя опустошенной, потому что не понимала настоящей причины. Но одно мне было ясно: Лидия упрекала мужа в бездеятельности. «Я не хочу больше видеть твою праздную жизнь, – кричала она. – Что создал ты за эту зиму? Книжечку стихов «Эрос» и двенадцать сонетов Маргарите – и это все. Я стосковалась по строгой трудовой жизни!»

Была Страстная неделя. Я ходила на все церковные службы, хотела причаститься, надеялась получить просветление и укрепление душевных сил. В эти дни Ремизов прочитал нам свою новую поэму «Страсти Господни». С огромной мощью в словах и ритмах этого произведения представлены демонические силы мира. И как будто сам автор, ликуя, отождествляется с силами зла. Заключительные слова: «Но у креста стояла Мать, Звезда Надзвездная...» не создавали достаточного противовеса. Ад торжествовал. Когда Ремизов кончил, Вячеслав встал и, негодуя, воскликнул: «Это кощунство, я протестую!» Ремизов, и без того уже согбенный и раненный жизнью, еще больше сгорбился и молча ушел вместе с женой.

Макс прислал новый цикл очень хороших стихов – «Киммерийские сумерки». Они написаны в редких античных размерах, взятых им у Вячеслава. Но Вячеслав очень резко раскритиковал стихи. Я удивлялась, что Макс мне не пишет, но думала, что он хочет предоставить мне полную свободу. К тому же ведь мы скоро должны встретиться! Однако позднее я узнала, что все его письма, посланные тогда в Петербург, переадресовывались на какой-то незнакомый адрес в Берлин; в этих трогательных письмах Макс звал меня приехать, он ужасно страдал, а письма через некоторое время возвращались к нему из Берлина! Что это было? Чья-то непостижимая ошибка, недосмотр? Или сознательная воля, хотевшая нас разлучить? Лишь много позднее пришел мне на ум этот второй вопрос, но я и теперь не могу на него ответить. Конечно, я бы поехала к Максиму! Но я поехала к родителям в Москву с тем, что вскоре мы все соберемся в нашем имении.

Когда ночная скиталица явилась в добропорядочный родительский дом, она почувствовала себя по чести обязанной объяснить матери обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама пришла в неопикуемый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через ее труп, и она была в таком состоянии, что можно было в это поверить. Я написала Ивановым, они немедленно

ответили, что при таких обстоятельствах они, само собой разумеется, в Богдановщину не поедут; они наймут помещение в имении в одной из западных губерний и там всегда будут рады меня видеть. Тем временем их дети вместе со своей воспитательницей вернулись из Женевы в Петербург.

Это время в Москве я вспоминаю с ужасом; я сама себя видела преступницей, всякое решение казалось мне невозможным, так как любой шаг, который я сделаю или не сделаю, причинит страдание кому-нибудь из моих близких или дорогих людей. Я совсем потеряла сон, так как решиться все же было необходимо. Бабушкин дом, старая патриархальная семейная мораль, отчаяние мамы – все давило на меня нестерпимо; часто мне становилось физически нехорошо от этого качания между решениями – едва приду к одному, тотчас же другое начинает представляться более правильным.

Чтобы положить конец этому ужасному состоянию, я решила уехать к Максусу в Коктебель, но по дороге, без ведома мамы, заехала к Ивановым; на это требовалось приблизительно два лишних дня.

Друзья встретили меня в просторных, солнечных, овеванных ароматами полей, комнатах деревенского дома. Я нашла, что они выглядят моложе и свежее, чем в «башне». Лидия – в серьезном, строгом состоянии духа. Окруженная детьми, она, казалось, покоилась в своей мощи. Она находилась в творческом настроении и работала над большим драматическим произведением. Вячеслав читал свои новые стихи; я рассказывала о своих открытиях: математические законы в молитве «Отче наш» – работа, спасавшая меня эти последние недели от полного отчаяния. Вячеслав был очень нежен, с оттенком отеческой любви, и это было мне так отрадно! Никогда еще не был он мне ближе, я чувствовала себя вернувшейся на родину. Этот день у Ивановых прошел, как блаженный сон, хотя я чувствовала недоброжелательное отношение к себе со стороны старшей дочери Лидии – Веры – и ее воспитательницы. Вера, восемнадцатилетняя красивая блондинка, была, казалось, теперь третьим членом союза. В здравомыслии Веры Ивановы находили глубокую мудрость и видели в ней «меру вещей». Лидия по отношению ко мне была сдержанней, чем раньше. Она не могла понять моей беспомощности. «Настоящая любовь не размышляет, это – категорический императив!» Но последние ее слова были: «Будем жить и доверять жизни!» Они обещали вскоре приехать в Коктебель.

Но они не приехали, и все мои письма оставались без ответа.

Трогательным вниманием встретил меня Макс, которому я заранее сообщила о своем заезде к Ивановым. Белые отштукатуренные

стены его дома к моему приезду были украшены гирляндами польни. Цветов в этой местности нет. Мы вместе бродили по окрестностям, так им любимым. Теперь только я ощутила их суровое величие. Но невыразимо печальны были наши встречи. Между ним и мной стоял фантом, державший меня в плену. Скоро в Коктебель приехали обе мои кузины и вместе с ними Минцлова.

В конце лета Минцловой пришла телеграмма от Вячеслава: «С Лидией сочетался браком через ее смерть». Она умерла в три дня от скарлатины. Моим первым движением было – немедленно ехать к нему! Но Минцлова, которой я безгранично верила, воспротивилась и поехала одна, обещав мне телеграфировать, как только понадобится мой приезд. Но никаких известий от нее я так и не получила. Лишь позднее я узнала, что она обещала моей матери помешать моему возвращению к Ивановым. А кроме того, она сама хотела выступить в роли утешительницы.

Нюше из-за осложнений после воспаления легких нужен был юг, я поехала с ней в Рим, там мы прожили всю зиму. Макс жил в Петербурге один. Его письма были полны заботой обо мне. С Вячеславом он больше не встречался. Письма же «сивиллы» – она жила в «башне» – оставляли меня в неизвестности.

В Риме я написала портрет Лидии в позе Моисея Микеланджело. Я начала его в красном – ее цвет при жизни. Но торжественная серьезность картины требовала темно-лиловых тонов.

Весной к нам приехал брат, все еще занимавшийся сельскохозяйственными науками в Лейпциге. Он стал очень рьяным учеником антропософии, но, как это часто бывает вначале, антропософия воспринималась им еще довольно абстрактно. Я рассказала ему о своих душевных муках, он же заявил презрительно: «Это все пустяки, мы должны развивать в себе Будхи. Только в Будхи любовь – реальность». Так он проповедовал в Колизее, а ниши в гигантских руинах, казалось, таращили на меня свои мертвые глазницы.

В середине Великого поста перед Пасхой я пошла в русскую церковь и, к своему изумлению, увидела, что она полна крестьян и крестьянок в национальных одеждах – со всех концов России. После обедни я разговаривала с ними во дворе церкви. Они меня окружили и наперебой рассказывали о себе. Они приехали из Палестины, были в Бари – поклониться мощам св. Николая, теперь приехали в Рим ко гробу апостола Петра и других святых. Ко дню Христова Воскресения они должны вернуться в Иерусалим. На мой вопрос – из каких они мест России – выступил высокий пожилой мужик в громадной меховой шапке и сказал: «Мы пришли сюда не из Сибири

или Урала, не с Белого или Черного моря, мы все пришли от Гроба Господня – вот наша родина». Я ходила с ними по Риму. Они шагали по римским улицам так же уверенно, как в своей родной деревне, и, покупая у итальянцев открытки с видами Рима, разговаривали с ними так, как будто те понимали по-русски – и все шло отлично! «Какая здесь чистота! Дай Бог за это здоровья нашему государю-императору», – крестилась старушка-богомолка, никогда не выдавшая большого города и, по-видимому, не очень ясно понимавшая, что она находится в чужой стране. «И кипяточек здесь дают бесплатно!»

Старик негодовал, что здесь в церковной живописи «грешную плоть оголенной показывают», а молоденькая монашенка с Урала с большими черными глазами и черными бровями, обрамленными черным платком, рассказала мне, что ей особенно хотелось увидеть Тиберия Августа, правившего во времена Христа, и она одна пробралась в Ватиканский музей. «И что же, милочка, – с ужасом говорила она, с каждым словом втягивая в себя воздух, – что ж ты думаешь – ведь он там стоит совсем голый!»

Ученик

Весной Ньюша, совсем выздоровевшая, поехала в свой любимый Париж к Бальмонтам. Теперь, наконец, я могла выехать в Петербург. По дороге, в Мюнхене, я зашла к Софи Штинде, руководительнице Мюнхенской антропософской группы. Она спросила, намерена ли я в Берлине посетить доктора Штейнера. «Нет, – ответила я, – мне надо сначала поехать в Россию, надо привести в ясность свою жизнь. В том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, я просто не имею права отнимать у него время». Она задумалась на минуту. «Все-таки я попрошу Вас, – сказала она, – зайти на Мотцштрассе и передать доктору Штейнеру лично мое письмо». По приезде в Берлин, на другой день утром я пошла на Мотцштрассе. Рудольф Штейнер меня тотчас же принял. Пробежав письмо, он обратился ко мне: «Как Вы себя чувствуете?» Я не могла не признаться, что мне совсем нехорошо. «Я не хочу вторгаться в Вашу жизнь, – сказал он, – я хотел бы лишь как старший брат помочь Вам, если Вы этого хотите». Я попыталась описать то состояние душевной путаницы, которое меня мучило. Он задал ряд вопросов. Особенно интересовало его, в чем, по моему мнению, заключается миссия Иванова в современной культуре. Я сказала, что он стремится соединить античное восприятие духовности в

природе и христианство. Я рассказала о его произведениях и о его способности пробуждать в людях, с которыми он общается, творческие силы. На это он возразил: «Когда я видел Вас в прошлый раз, Вы были творчески много богаче, чем сейчас». Поэтому он полагал, что сейчас я еще недостаточно сильна, чтобы соединиться с Ивановым. Я должна сначала снова найти себя, а пока совсем о нем не думать. «Вряд ли мне это удастся», — сказала я. Он написал на бумажке: «Человек может то, что он должен, а когда он говорит «не могу», это значит, что он не хочет». Он дал мне еще две медитации и объяснил, как их выполнять. Затем он спросил, чем я сейчас интересуюсь. Я пробормотала что-то о Греции, о том, как греческий дух воскресает в различных культурах, и об удивительной родственности России и Греции. Он рекомендовал мне прочесть несколько книг: «Микеланджело» Германа Гримма, Гете о Винкельмане, «Психею» Эрвина Роде, «Культуру Ренессанса в Италии» Якоба Буркхардта. — «Он хотя и филистер, но это ничего». Штейнер указал также и на свою брошюру «Гете как родоначальник новой эстетики». Большая теплота и сердечность, исходившие от него, действовали на меня как настоящая оживляющая сила. После этого разговора он сказал моему брату, который в то время был в Берлине: «Еще можно было схватить судьбу за хвост».

Я остановилась в Берлине и штудировала рекомендованные книги. Но перестать думать на определенную тему не так-то просто. Лев Толстой рассказывает, как в детстве они с братьями выдумали игру: надо было стать в углу и не думать о белом медведе. Это никому не удавалось.

Я решила пока остаться в Германии.

В мае этого, 1908, года мы с братом поехали в Гамбург, где Рудольф Штейнер намеревался прочитать курс лекций о Евангелии от Иоанна. Перед отъездом из Берлина на вокзале мы увидели его из окна нашего купе; он прошел мимо своей быстрой целеустремленной походкой и возвратился с двумя железнодорожниками; в присутствии Марии Сиверс он продиктовал какую-то запись в жалобную книгу. Позднее мне сказали, что один из служащих сказал Марии Яковлевне какую-то грубость. «Христианский Посвященный и жалобная книга!» — изумился во мне Восток.

Меня тогда многое изумляло. В том числе и люди, окружавшие Рудольфа Штейнера. Мужчины казались мне педантами и филистерами, женщины — прозаичными и вместе с тем сентиментальными. В прежние времена люди, следовавшие за посланцем Духа, были ведь совсем другие? Мне не приходило в голову, что, может быть, и эти люди такие же, но только измененные нашей бездуховной

эпохой. Не понимала я также и того, что духовная элита нашего времени еще питалась из источников прежних эпох и потому они не чувствовали еще себя «нищими духом». Я тогда, как легко можно себе представить, не имела ни малейшего представления о превосходящих качествах окружавших меня людей: их серьезности, прилежания, верности, их доброй воле и преданности делу – свойствам, на которых Рудольф Штейнер мог строить свою работу.

Лекции читались в маленькой белой зале буржуазного дома. Рудольф Штейнер стоял у столика перед желтой шелковой портьерой. В первый вечер он говорил о начальных словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...»; при этом он взял ландыш из букетика, стоявшего перед ним. Как ландыш произошел из семени – семя же скрыто в цветке, – так и мир, и человек произошли из Слова. Это был немой мир, и человек изначально был нем. Но Слово было в нем сокрыто, как семя сокрыто в цветке. И Слово начало звучать из человека: «Я есмь».

После лекции он подошел ко мне и спросил: «Смогли бы Вы это протанцевать?» Вопрос не удивил меня, потому что с детства я испытывала потребность «протанцевать» всякое глубокое переживание, а что Рудольф Штейнер «все знает», в этом я не сомневалась. Я ответила: «Я думаю, что можно протанцевать все, что чувствуешь». – «Но именно о чувствах и шла сегодня речь». Эту фразу он повторил и некоторое время постоял еще, смотря на меня, как будто чего-то ожидая. Но я ничего не спросила. Осенью того же года, после лекции о соответствии ритмов в космосе и в человеке, он подошел ко мне и сказал: «Танец – это самостоятельный ритм, это – движение, центр которого – вне человека. Ритм танцев ведет к пра-эпохам мира. Танцы нашего времени – вырождение древних храмовых танцев, через которые познавались глубочайшие мировые свершения». И он снова постоял около меня, как бы в ожидании, и снова я ничего не спросила. Я не понимала тогда, что слова Учителя – всегда только намек, не затрагивающий свободы ученика. Чего он ждал – я поняла позднее, через четыре года, когда на вопрос одной ученицы он изложил основы эвритмии – нового искусства движения. Вопрос должен быть задан, тогда только он отвечал.

Через Владимира Соловьева ощущение Христовой силы, жившее в моей душе, было мною осознанно мыслительно. Христорология же Рудольфа Штейнера показывала эту центральную мистерию в полнейшей конкретности, в соотношении с каждой ступенью мировой эволюции, с каждым явлением в истории и в природе. В этом свете отдаленное во времени и пространстве связывалось с интимным, глубочайшим в своем собственном существе.

В том душевном состоянии, в котором я тогда находилась, с сознанием виновности и вырванности из всех прежних жизненных связей, всё, что я получала тогда, действовало на меня как мощная восстанавливающая сила. Евангельские «Я есмь» созидало во мне нечто, что, излучаясь из некоего центра, поднимало меня над преходящим. А образ грешницы, оставшейся у ног Христа, — а Он пальцем писал на земле, вписывая в землю кармические последствия ее поступков, Он, Господин кармы... — этот образ действовал на меня исцеляюще, давал мне чувство свободы от людского поношения, внушал мужество и доверие к будущему.

По пути из Петербурга в Париж Макс заехал в Гамбург, чтобы повидаться со мной, и прослушал там несколько лекций. В одной из бесед после лекции он задал вопрос, который тогда как парадокс очень его занимал: не является ли Иуда, взявший на себя грех предательства, благодаря чему только и стала возможной Христова жертва, истинным спасителем мира? Рудольф Штейнер решительно отверг эту идею как совершенно «нездоровую». Иуда не понял самого существа того, что Христос принес миру, он ждал, что Христос одержит победу над врагами путем магии. Своим предательством он хотел добиться земного триумфа для Христа. Наша материалистическая культура живет под знаком Иуды. Как Иуда «пошел и удавился», так и наша культура сама себя уничтожит.

Никогда не видела я столько роз, как в то лето в Нюрнберге, куда мы приехали в июне слушать лекции Рудольфа Штейнера об Апокалипсисе. Мы наняли комнату на окраине города. Аромат цветущих лип и свежего хлеба носился в воздухе. В воде отражались позолоченные закатным солнцем остроконечные крыши домов, герани пламенели на фоне темных каменных стен.

При входе в большую старомодную залу гостиницы «У Орла» каждый получал в виде приветствия розу на длинном стебле. Председатель Нюрнбергской ветви, высокий человек с глубоко запавшими глазами, большими и сияющими, произнес краткое вступление. Редко встречала я человека более благородного облика: широкий лоб, тонкий, с маленькой горбинкой нос, борода, окаймляющая красивой формы рот. Сгорбленная фигура, равно как глухой, но очень приятный голос выдавали болезнь легких. Его франконский диалект, его юмор и его задушевность тотчас же пленили меня. Да, этот человек походил на духовного ученика, каким он рисовался моему воображению. Это был Михаил Бауэр, с которым я позднее очень подружилась. Он происходил из крестьянской семьи; отсюда, вероятно, его привязанность к земле, объективность и любовь к чувственно воспринимаемому, что в соединении с глубиной духов-

ных переживаний составляло своеобразие этой природы. Его друг Христиан Моргенштерн в то время писал о нем в эпиграмме:

Ты – чуткий из чутких,
Потому что в твоём существе
Соединились обитатели обоих миров.

Удивительное душевное здоровье, несмотря на усиливающуюся с годами болезнь, являлось примером того, как дух может стать независимым от тела. Благодаря своей книге о Христиане Моргенштерне, воспоминаниям Фридриха Риттельмейера о нем самом и биографии «Михаил Бауэр, гражданин двух миров», написанной Маргарет Моргенштерн, он получил широкую известность. Поэтому я здесь хочу упомянуть только о том, как влияли на людей его простые, но собственным переживанием согретые слова в лекциях и в интимных беседах. Многим, особенно молодым людям, он помог на их пути советом, а еще больше – своим примером. Для русских, подходивших к антропософии, он был другом и помощником благодаря своей способности с любовью вникать в своеобразие каждого человека, своему недогматическому свободному мышлению и многосторонности своих интересов.

Эти дни в Нюрнберге, городе Дюреровского «Апокалипсиса», захватили меня. В таинственных образах Откровения, данного Иисусом Христом ученику, открывались нам судьбы человечества в их неумолимой трагичности. Почти после каждой лекции Рудольф Штейнер здоровался со мной и говорил несколько слов.

После его замечания о Толстом как представителе идеи братства, которое осуществится только в будущей, славянской культуре, мы, русские (был еще мой брат и одна знакомая из Петербурга), спросили его, не является ли Достоевский в еще большей мере представителем этой идеи. Штейнер ответил: «У Толстого больше сила подъема; импульс, действующий через него, – импульс будущего. Мысли, им высказываемые, ограничены, зачастую нелепы, но именно его ошибки и слабости показывают, что в нем живет нечто, что слишком рано пришло в этот мир и потому еще незрело. У таких людей их недостатки – это тень их величия. Иногда одна фраза Толстого весит больше целой библиотеки». О Достоевском он сказал однажды приблизительно так: «В покаянной рубахе он стоит перед Христом за все человечество».

В начале июля, в Норвегии, в дачном поселке Льян близ Христиании (теперь Осло) Штейнер читал лекции о Евангелии от Иоанна. Первый раз в жизни я путешествовала одна в чужой стране и

порядочно растерялась, когда накануне объявленного курса вышла на маленькой станции и никто не понимал моих вопросов. Голубоглазые железнодорожники, путевые рабочие казались глухонемыми, потому что на мои обращения никак не реагировали. Наконец встретился немец, он взял мой чемоданчик и провел в поселок, который располагался высоко в лесу между двумя фьордами. Несмотря на поздний час, было светло, как днем. Я нашла комнату в гостеприимном доме пастора.

На другой день я бродила в огромном древнем лесу. Деревца шиповника, густо усыпанные бледно-розовыми цветами, росли вперемежку с серыми, заросшими мхом березами и строгими соснами. Воздух – легкий и прозрачный, как высоко в горах. Вечером я пошла к школьному зданию. Деревянные стены помещения, где сидели молчаливые голубоглазые норвежцы, были украшены еловыми ветками и красными флажками. В половине десятого вечера солнце еще ярко светило и через большие окна освещало букет лесных колокольчиков, стоявший на кафедре. А снаружи были видны серебряные воды фьордов и птички примешивали свою песню к словам лектора.

В эти светлые ночи я не могла спать. Я бродила по окрестностям. Каждый цветок был ясно виден, даже окраска различима. Небо нежного серебристо-голубого цвета. Облака, в которых просвечивал и лунный свет, и одновременно и утренняя, и вечерняя заря, казались одухотворенными, а строгие деревья – размышляющими. Все кругом было легко и прозрачно. Вес собственного тела едва ощущался, и вы странствовали здесь, как дух среди духов. И все время меня не покидало чувство, что в этих лесах рядом со мной ступает божество, я ощущала себя пронизанной его силой. Глаза людей, даже детей, которых я встречала ночью на лесных дорожках, были до прозрачности светлы и бодрственны. Внизу в лунном свете лежали фьорды, как бледные лепестки роз, серебристые, по краям чуть розоватые. Бесшумно скользили рыбацьи лодки между черными островами. Незаметно наступал день. «Вы должны ночью не разгуливать, а спать», – сказал доктор Штейнер, когда я встретила его в лесу с Марией Сиверс.

Одну из лекций цикла Рудольф Штейнер читал на острове. При переезде через фьорд я случайно оказалась в одной лодке с ним и Марией Яковлевной. Мальчик сидел за рулем. Мне бросилось в глаза, что лицо Рудольфа Штейнера в этом ясном свете было совсем иным, чем окружающая природа. Оно заставляло вспоминать об угле и алмазе. Лицо же Марии Яковлевны, напротив, в своей райской детской свежести казалось сотканным из чистейших сти-

хий окружающей природы. Золото солнца, синева небес и воды, нежность северной розы, которую она как раз держала в руке, сочетались здесь в образе женской красоты. Когда я видела их обоих вместе, у меня всегда было чувство, что в этом едином созвучии встретились два совсем разных мира.

Во время собеседований, на которые меня часто приглашали, Штейнеру задавали вопросы. На вопрос о задачах еврейского народа, всегда меня занимавший, он ответил приблизительно следующее: «Трудно говорить на тему, возбуждающую сильные страсти. Истины духовной науки, если вы хотите их правильно понять, не допускают симпатий и антипатий. Иудейство развивало интеллектуальное комбинаторное мышление, которое делает человека самостоятельной личностью. И тот же народ подготавливал из поколения в поколение тело, способное стать носителем Иисуса Христа. Воплотившийся в человеке Христос принес спасение от мертвящей обособленности человека от божественного. Но так как еврейский народ не принял этот новый импульс, развитие в нем свойства превратились в силы, задерживающие его дальнейшее развитие. И эти силы, отвердевающие в старом, — связи кровного родства, с одной стороны, и укрепившийся в себе интеллектуализм, с другой — действуют как препятствие на пути развития. Но при определенных условиях еврейский народ может действовать так же, как некая закваска, как фермент. Но это не касается отдельных людей, ибо каждая душа проходит свой путь развития и пользуется инкарнацией в определенном народе только как нужной ей ступенью».

Мне очень нужно было еще раз поговорить с Рудольфом Штейнером. Ряд вопросов жил в моей душе, но, главное, я ждала от него дальнейших указаний для медитаций. Но я хотела подождать, что он мне скажет.

В 12 часов я пришла в «белый дом», где жил Штейнер. Он провел меня на веранду, откуда сквозь сосны виден был солнечный фьорд. «Вам приятно будет посидеть здесь? Как Вам здесь нравится?» Я рассказала, как воодушевляет меня эта природа. На это он ответил: «Здесь можно еще, особенно к вечеру, увидеть облики древних богов; материалистические мысли людей и техника еще не спугнули их отсюда». В ходе беседы он заметил: «Вам нелегко будет с духовноведением, потому что Вы не остаетесь на поверхности вещей. Теперь Вы должны решить: или совсем отойти, или пойти вглубь, чтобы всюду, куда бы Вы ни пришли, что-то принести с собой». Я ответила, что никак не могу отойти, потому что это и есть моя настоящая жизнь.

Он спросил между прочим, рисую ли я здесь. У меня не было

никакой потребности рисовать с натуры, и я описала ему, какой мне представляется моя живопись – в виде кристально-прозрачных, взаимно проникающих друг в друга поверхностей. Краски надо освободить от вещей, но не в безразличном хаотическом смешении, как это часто встречается в современной живописи. Штейнер сказал: «Я понимаю Вас, это верно». Он посоветовал мне поработать мозаикой. От старинной мозаики разговор перешел к русским иконам, о которых я в то время, как большинство современников, очень мало знала. В иконах, в этих потемневших от лака и закрытых золотыми или серебряными ризами изображениях святых, видели тогда только предметы культа, не подозревая, какие произведения искусства в них сокрыты. Только немногие любители и собиратели икон – особенно среди староверов – знали об их художественной ценности. Для художников она открылась лишь через несколько лет и особенно во время революции, когда почитаемые чудотворные иконы переместились из церквей в музеи, а реставраторы, сняв тяжелые металлические оклады, освободили живопись от темного лака и позднейших искажений. Штейнер сказал: «Если изучить их подлинники, – это слово он произнес по-русски с некоторым усилением, – то можно прийти к истинным имажинациям, так как эти композиции и краски основаны на действительно увиденных реальностях». («Подлинником» называется образец для композиций определенных сюжетов икон с указаниями относительно цветов). Я тогда думала, что ясновидение может повредить искусству. «Побуждение к художественному творчеству, – сказала я, – не родится ли из неосознанного предчувствия некой реальности и желания сформировать ее, сделать чувственно воспринимаемой? А все, что исходит от сознания, – уже не искусство». Рудольф Штейнер объяснил, что пока духовноведение охватывает только поверхностные слои сознания – интеллект, само собой разумеется, художественное творчество невозможно. Но на этом нельзя останавливаться. В творчестве надо погрузиться в определенное настроение. «Я тоже, – сказал Штейнер, – готовясь к лекции, не определяю заранее, что буду говорить. Я погружаюсь в определенное настроенное и из него затем говорю».

Не все мои вопросы были мною высказаны, но, когда я дома рассматривала листок, на котором он кое-что нарисовал и записал, я увидела, что на все отдельные вопросы, которые я еще хотела ему задать, ответы были даны как бы «одним дыханием», как будто он проник во мне до самого их источника.

Брат и Любимов ждали меня в Шварцвальде. Алешу, который тем временем закончил курс, я нашла душевно укрепленным и

радостным. Он собирался вернуться в Москву и преподавать в Университете в качестве приват-доцента.

Душевное равновесие, которое, как мне казалось, я до некоторой степени обрела в Норвегии, подверглось испытанию известиями из Москвы. Вячеслав с детьми и Минцловой собирался провести лето в Крыму, недалеко от Коктебеля. Проездом в Москве он имел беседу с моей матерью по ее приглашению. Она требовала от него обещания отказаться от всяческих встреч со мной; такого обещания он, однако, не дал. Меня же она звала к этому времени приехать в Москву, чтобы увидеться с ним в последний раз.

Это вмешательство в мою жизнь, этот разговор с ним обо мне в то время, когда он еще был полностью во власти горя после смерти Лидии, глубоко меня возмутили и оскорбили. В то же время Макс писал, что, по его мнению, мне надо встретиться с Вячеславом, чтобы постепенно внести ясность в наши отношения. Так трогательно Макс всегда заботился только обо мне. «Ты ведь можешь, никого не спрашивая, приехать в Коктебель в свой дом. Я же могу, если ты думаешь, что так будет лучше, уехать на время». Но я не могла принять этого приглашения и осталась в Германии.

Тем временем Вячеслав уже в Крыму получил написанный мною портрет Лидии. Минцлова мне писала, что при виде его он в первый раз заплакал. Он велел через нее передать мне, что он «преклоняется перед художницей, создавшей это великое произведение». От официальности и преувеличенности этого ответа мне было невыразимо больно.

В сентябре, после одной лекции в Лейпциге из цикла «Египетские мифы и мистерии», Мария Сиверс передала мне письмо. У меня в руках была еще не завинченная авторучка, которой я только что записывала свои заметки. Я узнала почерк Вячеслава, вскрыла конверт и прочла письмо с обращением на «Вы» – первое после смерти Лидии. Так неестественно вычурны были эти строки, что я, оглушенная болью, стояла, не замечая, что чернила из ручки капаят на руку. Но я почувствовала, что кто-то, не обращая внимания на чернила, крепко сжимает мне обе руки и говорит слова, полные любви и сердечной теплоты. Это был Рудольф Штейнер.

Из Лейпцига я съездила в Веймар. Дом Гете и парк остались в памяти, как «тот» дом и «тот» парк – неизменное место, откуда можно все снова и снова наблюдать сменяющиеся впечатления жизни.

В пурпурных лесах Гарца мы слушали рев сражающихся и раненых оленей и в ясном лунном свете видели их увенчанные

рогами таинственные головы, выглядывающие из лесной чащи. Между древними дубами и камнями, испещренными рунами, встречал меня могучий, для меня совершенно новый и вместе с тем такой родной германский стихийный мир, полный совершенно иных формообразующих сил, чем мир светоструйных стихий моей родины.

Всю зиму я провела в Берлине, слушая лекции Рудольфа Штейнера. Однако среди окружавших его людей я не чувствовала себя родной. Но когда в январе приехал брат и мы вместе с ним поехали в Мюнхен, где Рудольф Штейнер принял нас в более узкий эзотерический круг, для меня открылся источник сил, заново ожививших мою душу. Это были часы, когда духовные истины давались в культовой символической форме. Рудольф Штейнер должен был примкнуть к существующей исторической традиции, чтобы получить формальное полномочие «совершать действия». Но содержанием этих «действий» в образной ритуальной форме было только то, что он сам черпал из своих духовных исследований и что в соответствии с духом нашей эпохи должно восприниматься с полным сохранением способности размышлять.

Экскурс

Весной 1909 года Минцлова приехала прямо из «башни» в Берлин. Она говорила исключительно о Вячеславе: «Он думает только о Вас, он говорит только о Вас. Теперь Вы должны с ним встретиться». Я испугалась и усилием души отстранила от себя эти слова.

На Пасху я была в Кельне, где Рудольф Штейнер в течение нескольких дней раскрывал свое учение в форме тех символических культовых действий, о которых я говорила. Душевное настроение, создаваемое этой работой, дало мне с необычайной интенсивностью почувствовать Кельн в эпоху Альберта Великого и его учеников. Впервые я тогда узнала Мейстера Экхарта; через несколько лет я перевела его сочинения со средневерхненемецкого на русский.

Ездил я также в Дюссельдорф на цикл «Действие духовных иерархий в небесных телах».

По окончании цикла появилась Ньюша, приглашая меня погостить в Париже, где она тогда жила с Бальмонтами. Перспектива побыть с этими мне близкими людьми в любимом городе была слишком соблазнительна, чтобы отказаться от приглашения. К антропософии, верней к антропософскому обществу, Ньюша относилась отрицательно, насколько это позволяла ей флегма. «Они все

хотят объяснить», – говорила она со свойственной ей медлительностью. Сентиментальность в паре с интеллектуализмом, отпугивавшие многих иностранцев от немцев вообще, особенно же в антропологическом обществе, отталкивали также художественную натуру Ньюши. Кроме того, она находилась полностью под влиянием Константина Бальмонта, которого она преданно любила. Эта любовь была так самоотверженна, что для Екатерины Бальмонт, с которой Ньюшу связывала глубокая сердечная дружба, ее присутствие в доме было большой поддержкой. Как тяжело было Екатерине, я увидела в этот свой приезд в Париж.

Мы с Ньюшей приехали вечером и наняли фиакр. При приближении к квартире Бальмонтов в Пасси моя кузина становилась все беспокойней и присматривалась к посетителям всех кафе, которые по случаю теплой погоды сидели за столиками на открытом воздухе, – не видно ли где-нибудь Бальмонта? Она предвидела, что в этот вечер он опять исчезнет из дома. Каждый раз по окончании какой-нибудь художественной поэтической работы, после большого внутреннего напряжения он находился в возбужденном состоянии – и тогда начинался запой. Он не мог уже удовлетворяться повседневностью. Большей частью начиналось с того, что свет в лампах представлялся ему слишком слабым. Во всех комнатах он подкручивал фитили – в Париже квартиры тогда освещались керосином – и не замечал, что лампы начинают коптить. Стоило не доглядеть – и внезапно на всех вещах оказывался густой слой копоти. В возбуждении он стремился уйти из дома, заходил в кафе и уже один запах алкоголя опьянял его. Он пил совсем немного, но тотчас же пьянел, искал ссоры; если Екатерине или Ньюше не удавалось увести его домой, то дальнейшие события большей частью развивались так: его выбрасывали по очереди из всех кафе и под конец он оказывался в ночном извозчике кабачке или в каком-нибудь совсем уж подозрительном притоне. На другой день его искали во всех полицейских участках Парижа.

Пока в его жизни не появилась Елена, его жене удавалось до некоторой степени бороться с этой бедой.

Это «лунное существо» – Елену – я еще раньше видела в обществе Бальмонта. Как тень она всегда следовала за ним – невзрачная, всегда в одном и том же черном платье со шлейфом, что тогда не было в моде, окутанная зеленой вуалью. Говорила она, как он, – изысканно поэтично. Она в совершенстве, до неразличимости усвоила также его почерк. Живописно я находила очень интересным сочетание зеленоватого цвета лица с темно-синими глазами. Полуоткрытые сухие губы – выражение рыбы, ловащей ртом воздух. В

парижских ресторанах, где мы вместе бывали, она заказывала только черный кофе и сардины. Дома она жила всегда со спущенными шторами. Эта женщина была одержима манией величия Бальмонта не менее, чем он сам.

Очень далекая от какой бы то ни было борьбы с его болезнью, она странствовала с ним ночи напролет из одного кабака в другой и уверяла его, что во всех состояниях он божествен. Он же делил свою жизнь между квартирой жены в Пасси, в упорядоченной атмосфере которой он только и мог работать, и Еленой, у которой был от него ребенок. Такова была ситуация, которую я у них застала. Екатерина Бальмонт страдала невыразимо, но сама считала свои страдания эгоизмом и никогда не жаловалась. Для своей дочки Нины, в то время восьмилетней, она хотела сохранить отца, а для него — возможность работать.

Сам Бальмонт вполне наивно считал, что у его жены так много жизненных сил и так много хороших друзей, что ей совсем не трудно примириться с такой жизнью, тогда как Елена не может и одного дня просуществовать без него и в случае разрыва покончит с собой. Екатерине в то время был 41 год. Ее царственная красота, просветленная страданием, которое она прикрывала юмором, стала еще лучезарней.

Предчувствие Ньюши сбылось: Бальмонт в тот вечер не пришел домой. Они жили в маленьком домике с садом. Я наслаждалась, засыпая наконец снова «дома»: в маленькой, со светлыми обоями комнатке, где все вещи были мне знакомы, под одной крышей с близкими мне людьми.

Утром я проснулась, услышав, что дверь отворилась. Никто не вошел, но кто-то потихоньку прополз вдоль кровати, вскочил ко мне, и я вдруг увидела совсем близко продолговатое детское личико, сияющие кошачьи глазки и смеющийся большой красивый рот. «Что такое, что такое, Маргариточка, что с тобой? У тебя оранжевые брови и орехового цвета глаза! Тебя надо отправить в музей. И таких золотисто-розовых волос тоже ни у кого нет. В музей тебя, в музей!» Это была Нина.

Мы скоро очень подружились, я писала ее портрет. Этот ребенок был одарен богатой фантазией и особым лукавым очарованием. Мать воспитывала ее строго и разумно, и это воспитание принесло хорошие плоды. Позднее, уже во время революции, я встретила Нину двадцатилетней молодой женой и матерью и, таким образом, могла дальше проследить развитие этой богато одаренной, сильной и человечески сердечной натуры.

Бальмонт вернулся только на другой день вечером. И весь

следующий день он пролежал с завязанными глазами в своей затененной рабочей комнате. Он много расспрашивал о Рудольфе Штейнере, о его христологии и затем вдруг сказал: «Почему Христос отослал Иуду от своего пресветлого лица? Почему Он отослал его от Себя?» И он заплакал. Через какие бездны должна была пройти эта душа?

Если мне удавалось полностью войти в его субъективный мир, мы могли с ним хорошо разговаривать. Это был своеобразный мир грез, как бы упадочная реминисценция солнечного культа древнейших эпох.

Почему так много женщин могли его всю жизнь так преданно любить? И такой самостоятельный, здравый человек, как Екатерина? И такая тонко чувствующая душа, как Ньюша? Не потому ли, что во всех жизненных ситуациях сохранялась в нем его детская честность и невинность?

В его библиотеке я нашла много редких и ценных книг о русской народности. Их я больше всего штудировала во время этого моего пребывания в Париже. Теперь я могла понимать этот мир благодаря новым знаниям, и он действительно выступил тогда перед моей душой в новом свете. Собственно говоря, не существует русской мифологии, подобной, например, греческой или германской. Однако русскому народу знаком очень богатый и дифференцированный мир природных духов – в лесу, в поле, в доме, в конюшне – все эти лешие, домовые, русалки. Духовный принцип представлен божеством неба и солнца. Мать-земля в народных верованиях отождествляется с Богородицей, с Софией. Молебен перед севом, который я как-то видела у нас в деревне, когда мальчик нес перед священником икону Божьей Матери, был выражением этого верования. В Древней Руси был обычай: клянясь, человек клал себе на голову дерн; позднее этот кусок земли заменила икона Божьей Матери. Земля была – а в деревне, может быть, и теперь осталась – живым существом. «В земле живет Дух Святой», – говорили в народе. Или: «Не лги – земля слышит», «Питай – как земля питает, учи – как земля учит, люби – как земля любит». Человек, отвергнутый церковью, мог исповедаться земле. Это созвучно евангельскому рассказу о грешнице, приведенной ко Христу: Он пальцем пишет на земле – вписывает в землю карму ее грехов. И я понимала теперь, почему землю называли раньше «вдовой», а после мистерии Голгофы она стала «Христовой Невестой».

В этой связи я думала о возможности новой пейзажной живописи, которая могла бы действовать так же целительно, как в древнем Египте образ Изиды с Горусом, а в России в средние века и вплоть

до моего времени – образ Девы Марии с Младенцем. Теперь все это стало для меня не просто мистическими образами, но явлением космических реальностей.

У Бальмонтов бывали художники и эмигранты из разных стран, среди них – польский писатель Пшибышевский, автор нашумевшего романа «Номо sapiens». Познакомилась я также с одним евреем. В России он, как террорист, был приговорен к смертной казни, но бежал за границу. Все тяжелое, что пришлось ему перенести, можно было прочесть в его ласковом и печальном взгляде. Он бедствовал, работал на фабрике в Шарантоне и жил одной жизнью с тамошними пролетариями, у которых, как мне рассказывали, он пользовался большим уважением. Он тоже, как и многие, расспрашивал о духовной науке и восхищался непредвзятостью простых рабочих по отношению к духовным вопросам. «Они подходят с открытой душой, без всякой предвзятости, они ищут». Я была у него в Шарантоне в рабочем поселке, где застала его в окружении множества детишек. Я не уставала рассказывать ему все, что только знала, и давала книги – я уже видела в близком будущем, как не только он, но и весь шарантонский пролетариат вступает на путь духовной науки!

Через десять лет, во время революции, я прочитала его имя в советской газете. Товарищ Р. вернулся в Россию, был принят с почетом и получил значительный пост.

Финал

Мне теперь смешно вспоминать себя, какой я была во время моего тогдашнего пребывания в Париже. С одной стороны, я была преисполнена сознанием величия воспринятых истин и вполне наивно считала себя их провозвестником, а с другой – я наслаждалась, вдыхала полной грудью волшебное очарование Парижа. Была весна, все цвело. Я страстно интересовалась модами, они тогда чем-то напоминали времена Империи. Я вертела шеей, рассматривая проезжавших элегантных дам. Сейчас еще помню свою шляпку и прозрачную, затканную жемчугом шаль, которую я тогда носила. Сдерживаемая до сих пор радость жизни юного существа вырвалась на свободу. Собственно, я жила теперь ожиданием встречи с Вячеславом. «Он думает только о Вас, говорит только о Вас... Летом он хочет с Вами встретиться!..» – ведь все это я от Минцловой слышала?

«Ну-ну, Вы совсем «огрѣзились», – поддразнила меня Мария

Яковлевна, производя это слово от имени французского художника Грёза, когда в Касселе я явилась к ней в кафе в моем новом уборе. Рудольф Штейнер, против обыкновения, не сделал по этому поводу никаких иронических замечаний. На этот раз у меня было впечатление, что он пришел к нам из каких-то невероятных далей. Черные зрачки его глаз, казалось, расширились так, что захватили всю радужную оболочку. Так же и голос его, когда он благодарил Марию Яковлевну, принимая чашку, звучал отчужденно. Таким я его никогда не видела – ни раньше, ни позже. Он скоро ушел, ничего не спросив и не сказав. Это противоречило его привычкам: в повседневном общении он всегда был полностью обращен к окружающей жизни и к людям.

В Кассель я приехала слушать лекции Штейнера «Евангелие от Иоанна в сравнении с другими Евангелиями». Между кассельскими лекциями и предстоящим летним Антропософским конгрессом в Мюнхене я собиралась заняться у рекомендованного мне художника техникой живописи, грунтовки, приготовления красок и т. п. Но перед тем у меня был еще один разговор с Рудольфом Штейнером. Теперь я стыжусь развязности своих вопросов.

«Я не могу понять, почему о великих тайнах, например о небесных иерархиях, Вы говорите в присутствии людей, которые превращают их в застольную болтовню? Разве этим не причиняется какой-то ущерб духовному миру? В русской церкви имена небесных иерархий произносятся только раз в год за особой службой, причем все склоняют головы и становятся на колени». Рудольф Штейнер с величайшей серьезностью ответил приблизительно так: «Только в будущей культурной эпохе обнаружится, какое действие оказали в душах людей истины, воспринятые теперь. Оккультист должен в своем творчестве уподобляться природе. Природа расточительна. Из миллионов икринок только немногие становятся рыбами, остальные погибают. Это – мистерия. Если только полчеловека воспримет то, что я могу дать, я буду считать свою миссию выполненной». Он повторил: «Только полчеловека». Я была потрясена болью, с которой он это сказал.

Затем я спросила его, зачем он разрешил поставить в Мюнхене драму Эдуарда Шюре. «Я нахожу, что она нехудожественна, как скверная олеография». – «Я рад, что Вы находите ее нехудожественной, я – тоже. Но ведь не могу же я ставить натуралистические драмы Герхарта Гауптмана!» Он считал Гауптмана очень талантливым драматургом, но это было не то, что в данном случае нужно людям. «Но разве нельзя было поставить Эсхила, Софокла?» – взялась я поучать Рудольфа Штейнера. – «С такими актерами? О,

нет! Я слишком высоко чту этих авторов, чтобы осмелиться играть их с теми силами, которыми мы располагаем. Видите ли, – продолжал он, – Вы – натура созерцательная, я – должен действовать. И я должен работать с тем материалом, который у меня под рукой». Он посмотрел на меня: «Вам это не нравится?» – «Да», – призналась я и подумала со страхом: может быть, он вообще дает нам вещи такими, какие они нам нужны, а не абсолютное?

Лил дождь, когда я шла по улицам Касселя, и дождевые капли мешались с моими слезами. Что меня так испугало? Разве Рудольф Штейнер требовал когда-либо веры в его авторитет? Разве истины, которые он нам давал, не были сами по себе убедительны и плодотворны?

Мы большей частью склонны считать верным только одно какое-нибудь суждение о предмете. И мы тотчас же обвиняем в противоречии того, кто, находясь в разных ситуациях, высказывает об одном и том же предмете по видимости противоречивые суждения. «По меньшей мере с двенадцати точек зрения надо рассматривать предмет, чтобы судить о нем, исходя из реальности», – так приблизительно сказал мне однажды Рудольф Штейнер. Как должен был он страдать, когда, вместо того чтобы принимать его слова как помощь на пути к собственному переживанию реальности, люди их фиксировали, превращали в догму, в схему. Особенно разрушительно действие таких схем, когда слова, сказанные им десятилетия назад о каком-нибудь явлении или человеке, используются теперь как оружие в борьбе мнений. Когда я услышала от него отзыв об Эдуарде Шюре, противоречащий, как мне тогда казалось, его собственным недавним похвалам, у меня почва заколебалась под ногами.

Потребность в твердых догмах лишила меня устойчивости. Мне нужна была немедленно «последняя истина».

Я судила только с одной – эстетической – точки зрения, педагогического подхода я не знала.

В гостинице меня ждала телеграмма: «Приедете ли Вы? Вячеслав». И одновременно – по случайному совпадению – денежный перевод от Ньюши. Все планы полетели за борт.

В ночном поезде из Касселя в Берлин я снова встретила Штейнера и Марию Яковлевну. Они пригласили меня провести день до отхода поезда в Россию у них на Мотцштрассе. Из Парижа я везла революционную литературу; я еще не читала ее, но теперь решила использовать для этого день в Берлине, так как, разумеется, я не могла провезти такие книги через границу. Там были последние письма казненных террористов, в том числе Каляева – убийцы великого князя Сергея. Среди книг был портрет известного прово-

катора и террориста Азефа. За ужином Рудольф Штейнер с большим интересом его рассматривал и даже попросил разрешения оставить его себе. «Как понимаете Вы этого человека?» – спросил он. «Я не могу его понять, – сказала я, – он для всех загадка. Революционеры обожали его за бесстрашие. Он с величайшим искусством подготовлял покушения и выдавал затем заговорщиков полиции. Когда же его товарищи были повешены – он плакал. А в других случаях он давал покушению совершиться. Очень долго никто и не подозревал о его двойной роли». – «Посмотрите на это лицо, на этот лоб, – сказал Штейнер, – он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица: она показывает непреодолимую, бычью силу действия – без участия собственной воли. Он должен наперекор всем препятствиям выполнить действие, которое хочет другой. Поэтому он и является людям таким бесстрашным. Но он только выполнял то, чего хотела полиция, или то, чего хотели революционеры; и он был искренен, когда плакал об их гибели». Немного спустя Рудольф Штейнер спросил меня через стол: «Могли бы Вы любить человека, за которым стоит чужая воля? Всем он казался бы сильным, но за ним всегда стоял бы кто-то другой?» В испуге я пролепетала: «Да, я думаю, что могла бы». Что он хотел этим сказать? Кого подразумевал?

«Только бы Вам вернуться в добром здравьи!» – сказал он мне, прощаясь.

В Петербурге на вокзале меня встретила Минцлова и передала письмо от Вячеслава. Как вычурны и ненатуральны были эти строчки! Я поехала прямо в «башню». Был полдень, но мне пришлось ждать, пока Вячеслав встанет. В комнатах, которые прежде так мне нравились простотой обстановки, было теперь много лишней мебели, привезенной из Женевы. Всюду пыль и духота. Среди всего этого нагромождения, как серая мышь, сновала женевская приятельница, воспитательница детей. Ко мне она была явно нерасположена. Повсюду, куда ни посмотри, взгляд падал на увеличенные фотографии Лидии; только ее свободного духа я здесь не чувствовала.

Приехала Вера, старшая дочь Лидии, вызванная телеграммой из деревни, где она гостила у друзей. «Я чувствую Лидию через Веру», – сказал мне Вячеслав.

Час за часом вспоминаю я три дня, проведенные мною тогда в Петербурге. Думая об этом времени, я прихожу к поразительному для себя открытию: ничто не исчезает! Счастье и горе опять здесь – такие же интенсивные, как и тогда. Разница только в том, что

можно быстро захлопнуть дверь в ту обитель памяти, откуда поднимается боль.

Отношение Вячеслава ко мне не изменилось. Так он сказал, когда мы вдвоем стояли у портрета Лидии. На дощечке, которая как раз там лежала, он мелом нарисовал дерево. Одна его половина сухая, другая – покрыта цветами. «Это – моя душа».

В этот момент Вера прошла мимо двери, он ее позвал и спросил: «Вера, я люблю Маргариту, что мне делать?» Она ответила: «Быть верным Лидии».

Я сама уже не была прежним ребенком, беспомощным, неустойчивым. Всем существом своим я чувствовала в наших отношениях веление судьбы и ощущала в себе мужество принять на себя эту судьбу. Также ясно я понимала, что нездоровая, душно мистическая атмосфера, в которой жил Вячеслав, для него губительна. «Венок сонетов» к Лидии, который он мне прочел, – совершенный по форме – показался мне мумификацией живого. Духа Лидии я в этих стихах не находила. Вся жизнь в «башне» была вознесена в потусторонние сферы, в которых естественные чувства должны увянуть, и в то же время потусторонность совлекалась вниз, в сферу личных желаний. Чтобы остаться вблизи Вячеслава, я решила поселиться в Петербурге. Борис Леман нашел для нас с Минцловой на Васильевском острове квартиру с мастерской.

Конец лета я провела в нашем имении. Никогда еще мощь этой земли, великолепие и сияние огромных деревьев, поля, жужжащие пчелами, не являлись мне такими торжественными, величавыми. А леса, казалось, в благоговейном ожидании прислушивались к небесам.

Вернувшись в Петербург, я нашла Вячеслава для меня недоступным. Он был как будто в чьей-то чужой власти. Я отошла. Минцлова жила со мной, но все дни до позднего вечера проводила в «башне». Возвращаясь, она со все большим отчаянием восклицала: «Он – не он, он уже больше не он!» – это стало ее постоянным припевом. Но и она казалась мне не совсем собой. Вскоре Вячеслав женился на своей падчерице Вере.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Между двумя ответами

Колокола невидимого града Китежа

Я жила уединенно в своей мастерской. За большими окнами видны были мачты проходивших по Неве кораблей. Но писать я не могла.

Большой поддержкой была для меня работа над переводом сочинений Мейстера Экхарта. Вместе с тем я изучала Новалиса и написала несколько стихотворений.

Мне представилась возможность поступить на обучение к знаменитому иконописцу Тюлину. Тюлины столетиями были известны как мастера иконописи. Они принадлежали к «староверам» – так в православной церкви называют тех, кто в XVII веке не признал церковной реформы патриарха Никона. В своих верованиях, а также в нравах и обычаях они придерживались строгих форм Древней Руси. Они сохраняли традиции древнерусского искусства и были большими знатоками и собирателями икон.

В своей мастерской Тюлин показал мне несколько прекраснейших образцов этого высокого искусства. Он сам был еще не стар. Правильные черты лица, миндалевидные глаза, узкий нос, завитки волос у лба и в бороде, морщины вокруг глаз – все казалось создано по образцу древних икон, как будто ремесло поколений его предков запечатлелось в жизнетворных силах его тела и соответственно сформировало его.

Мастерская состояла из двух солнечных, очень чистых комнат. Его ученики – в большинстве простые крестьяне, приехавшие из различных, часто отдаленных, местностей: из Киева, с Белого и Черного моря, с Урала, из Смоленска. В мастерской господствовало настроение благоговейной сосредоточенности. С шести часов утра до вечера сидели эти люди, склонившись над своей работой.

У Тюлина была очень красивая жена, которая, однако, никогда не появлялась в мастерской. Я видела ее только один раз, когда они вместе отправлялись смотреть первые полеты авиатора Уточкина.

В этом сочетании средневековья с новейшей техникой в памяти воскресала мастерская Леонардо.

Среди икон мне надо было выбрать образец для копирования. В полном неведении я выбрала сразу три. Тюлин улыбнулся и предложил мне заказать три доски соответствующей величины у знакомого ему столяра. Доски должны были быть из старой ольхи с повышением по краям и со вставкой на обратной стороне, чтобы дерево не коробилось. Материалы я должна была купить у определенных торговцев, указанных Тюлиным. Восемь лакированных липовых ложек с отрезанными ручками служили горшочками для красок. Такой горшочек держали в левой руке, а большим пальцем правой растирали в нем краску. В качестве связующего вещества употребляли яичный желток, смешанный в равных долях с квасом. В мастерской всегда немного пахло тухлыми яйцами.

Каждая новая фаза работы отмечалась торжественно крестным знаменем. Приготавливался ли самый первый меловой грунт – его четыре раза наносили на доску, оклеенную марлей, и затем каждый раз скоблили ножом, так что, в конце концов, доска становилась как зеркало, втирали ли в доску золото с гуммиарабиком или павлиньим перышком наносили на грунт тонкие листочки настоящего золота – перед каждым из этих действий мастер торжественно объявлял: «Теперь приступим к этому», – и все – мастер и ученики – крестились.

Это было священное ремесло; и Тюлин, во всех своих действиях такой положительный и уверенный, был настоящим мастером. Он показывал, как надо штриховать розово-красные крылья ангелов особой тонкой кисточкой; эти кисточки можно было купить только у него самого. Это – трудное искусство, но он владел им в совершенстве. Отдельные штрихи были незаметны, но перышки крыльев мерцали неземным, золотисто-розовым светом. Штриховка затем полировалась коровьим зубом.

Читателю, теперь немножко меня узнавшему, нет надобности говорить, что я не сидела в мастерской с шести утра до вечера.

Работа была чрезвычайно трудоемкая, так что за всю зиму я не закончила даже одной иконы.

Икона, которую я писала, называется «Спас Благое Молчание» и парная к ней – «Спас Ангел Великого Совета». На обеих иконах Христос изображается в виде крылатого ангела; на первой – Он в розовой одежде, с красными крыльями и со скрещенными на груди руками; на второй – в синей одежде, с белыми крыльями и с жестом провозвестия. Молчащий удерживает в красном цвете внутри себя активность, жизнь, тепло; Возвещающий – излучает ее наружу, отдает от себя тепло, отдает себя в отрешенности синего цвета. Позднее, когда я изучала «чувственно-нравственное действие красок» по Гете – а это и стало моим путем в живописи, – я всегда вспоминала об этих прообразах, об этих древних имагинациях, открывавшихся в иконах.

В то время я жила, замкнувшись в себе, только Борис регулярно посещал меня, знакомя с учением о числах, как оно дается в Каббале; это было его духовным путем. Или писатель Пришвин водил меня в староверческие молельни, где я впервые увидела действительно великие, космически величественные иконы. Он же свел меня на собрание приверженцев «брatца Ивана».

Этот «братец» из простого народа, едва умевший читать и писать, имел дар силой молитвы вылечивать людей от пьянства, этой столь распространенной в русском народе болезни. Для тысяч людей это было великим благодеянием; вокруг него образовалась целая община исцеленных мужчин и их жен, ему благодарных и глубоко его почитавших. В огромном фабричном помещении они сидели, тесно сгрудившись. На женщинах – белые головные платки. «Братец Иван» в белой русской рубашке читал Евангелие. Он читал запинаясь и очень невнятно. Время от времени он прерывал чтение и обращался к слушателям с вопросом, на который следовал многоголосый спонтанный ответ. Например, в том месте, где в рассказе о трех святых царях сказано: «Звезда остановилась», он вдруг спросил: «Стоит ли еще звезда?» И все сказали: «Да, звезда еще стоит». Прочитав же: «Христос проходил по земле языческой», – спросил: «Наша земля христианская или языческая?» – «Языческая», – ответило собрание. Так Евангелие входило в современность. Это была живая, вовсе не сектантская, не фанатичная атмосфера.

Вскоре эти собрания были запрещены и «братец Иван» посажен в тюрьму. Я спросила Владимира Джунковского, московского генерал-губернатора, друга нашей семьи: «Почему он сидит в тюрьме? Ведь он делал так много добра». – «Но ведь он сектант, он отвращает народ от церкви». – «А если церковь ничего не дает народу?» – «Если

мы дадим сектантам беспрепятственно действовать – куда же мы придем?» – сказал он в своей наивно-уверенной манере. Потом мы увидели, куда мы в России пришли...

На Рождество я поехала в Москву, и там мы с братом несколько раз бывали в чайной, где по воскресеньям после обедни собирались крестьяне и рабочие разнообразнейших мировоззрений и вели беседы на духовные темы. Там можно было увидеть чеканные лица, апостольские головы. Большая Библия, на которую ссылались говорившие, переходила из рук в руки. Очень здоровый, толстый мужик утверждал, что человек, действительно верящий в Бога, вовсе не должен умереть. Он понимал это совершенно буквально, физически. Мучеников убивали, иначе они не умерли бы. Мы же недостаточно верим в Него, потому и умираем. Он надеялся, по-видимому, в своем живом теле остаться на земле вечно. «А зачем нам, – сказал мужичок в дырявых валенках, – зачем нам вечно жить в этом теле? Нет, мы должны время от времени снимать его, а потом опять приходить на землю и дальше учиться». И внезапно заговорили о возможности перевоплощения. Среди говоривших был рыжий мужик, удивительно похожий на Сократа. Спорить с ним – так нам сказали – православным проповедникам запрещалось, так как своей логикой он всех побеждал. У него было удивительно умное, насмешливое лицо. Из того, что он говорил, я мало помню; запомнились его слова: «Я могу верить только тому, что нахожу в самом себе. Вне себя я не найду Бога, если я не нашел Его в себе. Если бы не было солнца во мне, я не мог бы его видеть. Подобное можно постичь только подобным, как я только своей телесной рукой могу схватить телесную вещь». Говорили о свободе и о грехопадении. «Грехопадение должно было произойти, – сказал один. – Если бы человек жил только творением Божьим и не имел бы свободы, он не мог бы любить Бога так, как Бог хочет, чтобы Его любили. Вот, положим, твой пес тебя любит. Довольно ли тебе этой любви? Нет, ты хочешь, чтобы тебя любило существо, подобное тебе. Так и Бог: Он хочет, чтобы Его любило богоподобное существо, которое свободно к Нему приходит. Поэтому Он и позволяет человеку идти своим путем, заблуждаться и познавать. Блудный сын Ему милей того, кто всегда оставался с Ним».

Хозяин чайной шепнул что-то некоторым из посетителей. Библия исчезла. Каждый попивал чаек, будто ему нет никакого дела до соседей. Позднее я узнала, что как раз в тот день эти беседы были запрещены полицией.

По дороге домой я разговаривала с мужичком в дырявых валенках. Меня интересовало, как он представляет себе повторные жизни

на земле. Я дала ему свой адрес: «Напишите мне об этом». Он сказал: «Вложите в Ваше письмо почтовую марку для ответа». Но его письма были так безграмотны, что их нельзя было прочесть. Я поняла только, что он ссылался на Апокалипсис.

В те времена каждый год в праздник Троицы народ со всей России стекался к «невидимому граду Китежу» на берегу озера Светлояр. Здесь тоже велись духовные беседы. Легенда рассказывает, что город Китеж по молитве девы Февронии стал невидим во спасенье от татарского разорения. На месте города теперь озеро. Но знающим людям известно, где находятся церкви града Китежа; и богомольцы, прикрепляя свечки к дощечкам, посылали их плыть по озеру к образам святых угодников. Все озеро заполнялось плывущими огоньками. Чистые сердцем могли слышать колокола невидимых церквей града Китежа. Ночи напролет вокруг озера слышались голоса людей, беседующих по вопросам веры: православных, староверов, сектантов, толстовцев и многих других; также и из кругов интеллигенции приходили сюда искатели духовных путей.

Родной город

Однажды, ранней весной, к нам явились гости из Москвы – они хотели видеть Минцлову. Это были Николай Метнер, известный композитор, приехавший в Петербург с авторским концертом, и его брат Эмиль, издатель «Мусагета», с женой. Я видела их впервые. Уже наружность обоих братьев производила большое впечатление. Николай удивительно похож на Парацельса. Голова его несколько тяжела по сравнению с туловищем. Доминирует лоб – между двумя клоками волос на висках. Метнеры унаследовали германскую и испанскую кровь, и у обоих братьев это сочетание создавало своеобразную смесь сдержанной страстности, серьезности и положительности.

Музыку Николая Метнера можно сравнить с музыкой Шумана, но она более стихийна, демонична. В его «Сказках» чувствуется что-то магическое, будто каким-то заклинанием он вызывает духов земли и, насладившись их красотой, возвращает неосвобожденными в их пещерный плен. Он был одержим своей музыкой, как художники прежних времен. Так, он мог среди улицы вдруг остановить своего извозчика и сорвать со стены клочок афиши, чтобы записать на нем только что пришедшую ему в голову музыкальную тему. Когда он хотел отдохнуть от музыки, он занимался астроно-

мией и ботаникой и рассматривал изображение Мадонн; их у него было целое собрание в репродукциях.

Эмиль был выше ростом и стройнее младшего брата. Темные волосы и смуглый цвет лица своеобразно сочетались у него с синими, почти с лиловым отливом глазами. Он тоже мечтал о профессии музыканта и хотел стать дирижером. Но вместо того изучил юриспруденцию и поступил на государственную службу, чтобы Николай мог целиком посвятить себя музыке. Он писал статьи о музыке и о философии под псевдонимом Вольфинг. И все же в нем жила глубокая неудовлетворенность. Никогда я не встречала человека, который, несмотря на свою философскую тренировку, с такой субъективной страстностью жил в людях и фактах истории культур. Он мог как безумный метаться по комнате, преисполняясь ненавистью к какому-нибудь историческому лицу, жившему двести лет назад. Когда он воодушевлялся, его синие-лиловые глаза сияли еще более теплым блеском и нередко в них сверкали слезы. Трогательно было видеть, как этот мужественный и сам богато одаренный человек самоотверженно прославлял гениальность других. Как раз в это время он получил от немецких друзей средства, чтобы основать собственное издательство; он назвал его «Мусает» по имени Аполлона – предводителя муз.

Поэт Андрей Белый (Бугаев) тоже приехал из Москвы на Метнеровский концерт. На следующий день вечером они все были у нас. Когда Белый в свойственной ему имагинативной и действительно гениальной манере развивал свою идею, Эмиль Метнер, улыбаясь, обратился ко мне и сказал тихо, указывая глазами на поэта: «От меня требуют лозунга для издательства; гений Белого – вот мой лозунг, мое знамя; я не хочу никаких программ».

Прощаясь, я спросила Эмиля Метнера, нельзя ли мне написать его. Для этого он остался на несколько дней в Петербурге, а жена его вместе с Николаем, который ни одного дня не мог обойтись без ее забот и помощи, вернулись в Москву. Вообще же эти трое были неразлучны. Мне приоткрылась трагичность этой связи троих, и это ощущение проявилось в портрете Эмиля Метнера. Странное розово-красное облако громоздится позади его головы. Я писала Метнера в характерной для него позе: левой рукой он охватывает локоть правой; а правую, слегка отведя назад, держит сжатой перед грудью. На плечи наброшен скунсовый мех. Бледно-смуглое лицо и черные волосы создают напряженность в сочетании светлого и темного. Я не знаю, где теперь находится этот портрет, позднее купленный Музейной комиссией.

Благодаря тому, что я без слов сказала ему что-то о его судьбе,

внутренняя судорога души, сжимавшая ее в годы молчания, отступила. Он мог выговориться, и мы стали очень хорошими друзьями.

Мой перевод сочинений Мейстера Экхарта, над которым я тогда работала, не думая сначала о его опубликовании, должен был теперь появиться в издательстве «Мусагет». Там же и в то же время вышел перевод «Авроры» Якоба Бёме. В отличие от издательства «Весы», представлявшего, главным образом, направление французского символизма, и славянофильской религиозной группы вокруг журнала «Путь», издававшегося Маргаритой Морозовой, «Мусагет» больше ориентировался на Германию, что соответствовало любви его издателя к Гете, Канту, Ницше и Вагнеру. Но в издательстве не было заранее установленной программы, все издавалось сплоченным кругом друзей, творчеством каждого участника.

Минцлова уехала из Петербурга, никому не сказав, куда и надолго ли она уезжает. Поэтому я передала свою петербургскую квартиру знакомым, а сама уехала временно в Москву к родителям. Летом Метнер собирался вместе со мной поехать в Норвегию, где Рудольф Штейнер должен был читать цикл лекций о миссии различных народов в связи с германской мифологией. Но тяжелая болезнь бабушки не дала этому намерению осуществиться. Она лежала на своей даче под Москвой.

Интимная нежная связь, существовавшая раньше между нами, после моего замужества ослабела. Она не могла понять моей бесформенной, бродячей жизни. Никогда больше она не спрашивала меня о моей жизни, и я в ее присутствии чувствовала себя стесненной; так возникло взаимное отчуждение. Тетя Саша окружила ее всеми возможными величайшими заботами и ухаживала за ней до самой ее смерти в августе 1910 года. Бабушка сама во всех подробностях распорядилась об устройстве своих похорон: назначила священников, которые должны служить заупокойные обедни, указала, в каком садоводстве заказать пальмы для украшения церкви, составила меню поминального обеда в одной из московских гостиниц и т. д. Похоронная процессия по улицам от заставы до церкви растянулась на километр. У всех домов, где у бабушки были деловые связи, шествие останавливалось и служилась панихида. Присутвовали представители всех заведений, ею основанных. Лишь по этому случаю я узнала, что ею построено здание Народного университета, психиатрическая больница, школа и отремонтировано много церквей. «Кто вы и кого хороните с такой помпой?» – спросил прохожий моего дядю, дипломата, ехавшего со мной в одном экипаже. Он ответил, не задумываясь: «Хороним сапожницу (бабушка

унаследовала от отца крупное кожевенно-обувное предприятие), а мы – ее дети».

На меня, живущую большей частью за границей, это похоронное торжество, носившее почти официальный характер, произвело сильное и странное впечатление. Восемь священников служили заупокойную обедню. Гроб поставили в семейном склепе. За поминальным обедом со множеством приглашенных тетя Саша сказала мне без малейшей сентиментальности: «Я думаю, мамаша была бы довольна: все свершилось, как она хотела». После похорон я жила с ней в ее комнате на даче. «Да, – сказала она задумчиво, заплетая на ночь свою тоненькую косичку, – это была сильная, умная и нежная женщина». О нежности этой женщины знали только мы двое. Ко всем бабушка была строга, особенно к своим собственным детям, кроме Александры. В этой сильной личности было что-то старозаветное. Она очень много молилась – и у себя дома, перед иконами в своей комнате, и в церкви, куда она ездила регулярно. Но то, как она молилась, ужасало меня в детстве. Страстно, с жаром повторяла она слова молитвы, и слезы, не переставая, текли по ее лицу. Было ли здесь требование, счеты с Богом или сокрушение, покаяние? Лицо, поднятое вверх, в напряжении, а пальцы, сложенные в крестное знамение, с силой вдавливаются в лоб, в грудь, в плечи. Тяжелейшим ее горем были неудачные сыновья. Она, всемогущая, была бессильна против их слабостей и пороков. Но это горе она таила в душе.

В комнате на даче, где она умерла, две монашенки сорок дней и ночей, сменяя друг друга, читали, стоя перед аналоем, псалмы и молитвы. Не переставая, звучали в ушах эти монотонные ритмы.

«Мамаша, – сказала мне тетя Саша через несколько дней, – оставила парочку миллиончиков. Сестры получили свою часть при замужестве, так что я оказываюсь главной наследницей. Но я не хочу, чтобы вы ждали своего наследства до самой моей смерти; всем племянникам и племянницам я буду давать ежемесячно определенную сумму». Я лично никогда еще не имела в своем распоряжении столько денег. Дела моего отца шли все хуже; я жила на то, что время от времени зарабатывала и что мне давала Нюша, с которой мы жили совершенно по-сестрински. Обходиться с деньгами я совсем не умела.

Благодаря большей свободе передвижения мой образ жизни стал еще более бродячим. Так, например, только что наняв мастерскую в Париже, я вдруг решила провести зиму в Риме и отослала туда все свои пожитки, а потом осталась в Мюнхене. В другой раз на обратном пути из Праги (где Рудольф Штейнер читал лекции об

оккультной физиологии) в Париж я остановилась в Штутгарте; я хотела в городской библиотеке прочитать одну книгу о средневековых мистиках, нужную мне для предисловия к моему переводу Экхарта. Но этот город – тогда он еще был поэтической княжеской резиденцией – так мне понравился, что я несколько месяцев прожила в одиночестве в гостинице «Серебряная», где мне хорошо работалось. А по вечерам я часто посещала оперу, дававшую тогда свои спектакли в Интерим-театре. Не была ли эта симпатия предчувствием того, что этот город станет некогда моей второй родиной?

Но мой беспокойный образ жизни был, по существу, лишь выражением моего внутреннего состояния. Мне было уже двадцать восемь лет, я получила признание и в живописи, и в поэзии. И все же я еще не знала своего пути. Духовная наука все еще оставалась для меня теорией, хотя, конечно, тогда я протестовала бы против такого утверждения. Духовные познания, хотя и принимались с энтузиазмом, оставались в сфере души, но не становились сознательным духовным путем.

«Очерк тайноведения» тогда только что вышел, но я не знала, как к нему подступиться. Я не понимала, как можно о таких вещах говорить так трезво. Я не понимала, что Штейнер как раз и ставил себе задачей воздерживаться в своих книгах от собственных чувств. Величайшая самоотверженность нужна тому, кто, подобно ему, истины, почерпнутые из глубочайших духовных переживаний, выражает в форме сухого описания фактов. Душа воспринимающего должна сама, из своего собственного существа, дать этим истинам тепло и жизнь. Тем самым Рудольф Штейнер оставляет читателя в высшем смысле свободным. Это – зерна. Без собственной активности в проработке духовных познаний, которые только путем концентрации и медитации обретают истинную жизнь, они остаются мертвыми. Как мертвые я их и воспринимала тогда. Я чувствовала себя во всем стесненной этими познаниями и потому жаждала оживить свою душу, обращаясь к источникам, проистекающим из древности.

Пастух Макарий

В таком состоянии я находилась, когда летом 1910 года в Париже на бульваре св. Мишеля Алексей Ремизов рассказал мне о пастухе, виденном им на Урале близ Верхотурья. «Когда этот пастух на восходе солнца молится на коленях, обративши лицо к утренней заре, или вечером, повернувшись к заходящему

солнцу, то все его стадо – коровы, овцы и козы – стоит неподвижно, голова к голове, повернувшись туда же».

Эту картину я должна видеть, подумала я. Три дня спустя я приехала в Москву, и мой отец, желавший немного отдохнуть, предложил мне поехать с ним на пароходе по Волге и Каме; он был родом сибиряк, путешествия были его страстью. Я попросила его продлить намеченный маршрут до Верхотурья, и на другой день мы отправились. Ночь нам понадобилась, чтобы по железной дороге доехать до Нижнего Новгорода; там мы сели на пароход и пять дней плыли по Волге и Каме. На всем этом пути в ландшафтах, собственно, мало разнообразия: широкая река, высокое небо с хаотическим нагромождением облаков, немногие, Богом забытые, деревни на берегах – все лежит, как во сне, и смотрит на тебя, ожидая спасения. Это чувство вновь и вновь охватывало меня всякий раз, когда мне случалось ездить по России. Сойдя на последней пристани на Каме, мы еще целый день ехали по железной дороге через Уральские горы. Из окон вагона видны высокие стройные ели; их острые вершины гнутся под ветром, подобно кипарисам; лесные лужайки красны от цветущего шиповника; горный воздух прозрачен и бодрящ. До города Верхотурье железная дорога не доходит, так что нам пришлось еще несколько часов ехать ночью по лесным дорогам на лошадях. В Верхотурье мы приехали перед рассветом. Звезды еще светились на зеленом холодном небе, когда между черными соснами показались большие белые соборы города. В самом же городе были только деревянные постройки. Кучер въехал во двор белокаменного монастыря, похожего на крепость. По коридорам колоссальной ширины монах провел нас в белую келью. Стены монастыря – толщиной не менее метра. Отец лег на кровать, я устроилась на жесткой лавке под окном и заснула, овеянная воспоминаниями старины. Утром я пошла к обедне в монастырскую церковь. Монахи, все высокие и крепкие, с обильной шевелюрой; казалось, им совсем не подходят их черные рясы. Также и грубая сила, и страстность их хорового пения произвели на меня отталкивающее впечатление. Я не выдержала и ушла. Много позднее, уже в Германии, я узнала, что Верхотурский монастырь служил местом ссылки, куда отправляли на покаяние монахов и сектантов, погрешивших против церкви. Они и здесь тайно продолжали свое дело. Здесь же и Распутин встретился с оргиастической сектой «хлыстов». Я спрашивала о пастухе, но никто ничего о нем не знал. Я дала срочную телеграмму в Париж: «Как зовут пастуха?» – и получила ответ: «Макарий». – «А, Макарий? Он давно уже не пастух, он живет в скиту, отсюда восемь верст». Мы наняли телегу и поехали дальше лесом. Крестьянин,

который нас вез, спросил: «Этот Макарий – не тот ли, что устроил себе гнездо на дереве и живет в нем, как птица? Или, может быть, это тот, что носит вериги и так страшно всех ругает?»

В России «Христа ради юродивые» – очень распространенное явление. Нескольких я знала. Истинных христовых подвижников среди них мало, большинство только выдает себя за таковых. Под именем «Христа ради юродивых» действуют шарлатаны, проходимцы или психически больные. Поэтому я продолжала свое путешествие, ничего уже не ожидая от встречи с Макарием. Скит был расположен в лесу, в истинно райском местечке, на берегу тихого, совершенно прозрачного озера. Монах показал мне хижину: «Там он живет с курами». Отец сел на бревнышко, а я довольно робко подошла к хижине. Дверь была открыта, но загорожена несколькими жердями. В пустом помещении, с маленькими запертыми окнами, среди кудахтающих и взлетающих кур стоял человек высокого роста, несколько сгорбленный. Руки с открытыми ладонями он держал поднятыми вверх, как будто силился ими уловить какие-то невидимые потоки. Лицо его было вне возраста. Глубокие морщины говорили о заботах, но заботах не о себе. Его глаза, казалось, не знали сна. Одет он был по-крестьянски, только на голове монашеская скуфейка. Иногда он повертывался то в одну, то в другую сторону и смотрел кругом и наверх, как будто всматриваясь во что-то. То и дело он обращался к курам и говорил с ними. Он был очень серьезен и строг. Нечто захватывающее было во всем его существе, чувствовалось какое-то настоящее присутствие, как будто прямой взор от лица к лицу. «Он, должно быть, старец», – подумала я и стала у двери на колени, потому что знала, что к старцу обращаются на коленях.

Но он посмотрел на меня через плечо и тихо сказал: «Не надо становиться на колени». Затем он прикрикнул на ссорившихся кур и подошел ко мне, все еще с поднятыми руками. «Чего Вы хотите от меня?» – спросил он. «Благословите меня», – ответила я в смущении, так как совсем не готовилась к беседе. – «Мы не попы и не монахи, чтобы давать благословения». И он посмотрел поверх стен, как будто в какие-то дали. Затем опять спросил меня: «Может быть, Вы хотите о чем-то спросить меня?» – «Я, собственно, только хотела видеть Вас». И вдруг я высказала то, что меня последнее время так мучило. «Зачем спрашивать?» – сказала я. – Мне уже было дано многое знать о духовных вещах... Но мое сердце последнее время – как мертвое, все для меня мертво, я больше ничего не люблю...».

Он спросил – с кем я здесь и вообще о моей семье. Затем, внезапно, обращаясь на «ты»: «Чем ты занимаешься?» – «Живо-

писью». Его лицо озарилось неопишуемой радостью: «Ах, как это хорошо, как хорошо! – сказал он. – Бог на всех вещах напечатлел Свой Лик. Я мало понимаю, у меня мало слов, но те слова, которые Бог вложил мне в сердце, их я скажу». Он начал говорить, все еще как будто всматриваясь в какие-то дали. Как будто он силился увидеть что-то над моей головой. Руки он держал все еще поднятыми и иногда скрещивал их на груди. Казалось, ему было трудно говорить. Речь его была неясной, иногда слишком тихой. Больше половины я не понимала. Я схватывала только отрывки:

«Христос хочет дать Свой Лик. Он пришел, чтобы дать Свой Лик, а не отнять Его. Только туркам и татарам можно простить, если они этого не знают. Но мы, христиане, должны знать, что с тех пор, как Он жил на земле, все: камень, облако, цветок – это Его Лик. И если евангелист Лука написал Младенца с Матерью, то этого хотел Младенец. Он хотел дать людям Свой Лик. Да и та женщина – она ведь только расстелила полотенце, простой кусок холста, – и Макарий показал руками это движение, – Лик же Свой дал Он. Так и ты должна расстелить свою душу... надо жаждать... работать и иметь терпение. Вставай ночью и молись, чтобы Бог в твоих картинах узнал Свой Лик, свою работу к Его работе причисли, своими творениями Его творения делай, потому что Он взыскует Своего Лица... молись о благодати. Иона Пророк был святой, но и он ведь три дня был во тьме. Как же мы, грешники, можем быть без тьмы? Даже в то время, когда Христос жил на земле, ангел Господень только раз в году сходил, чтобы оживотворить воду. Ты об этом читала? А мы – чего же мы хотим? Повсюду настроили церквей, но Бога в них нет. Также и целителей у нас много... без Целителя; так далеко зашли мы в своей учености». Помолчав немного, он сказал: «Какой великий дар тебе дан! Какую же тебе еще надо любовь? Тем даром ты ведь и познаешь. Теперь я все сказал, что имел сказать». Он проводил меня и посоветовал: «Пойди в скит, попей чайку».

Ожидая меня, отец мой вспомнил, что на днях в Москве истекает срок его банковских платежей. Бедный отец! Денежные заботы всегда преследовали его, как фурии. У нас оставалось совсем мало времени, чтобы выпить чаю в скиту и поспеть в Верхотурье к вечернему поезду в Москву.

Монах, подавший нам самовар, спросил, смотрел ли Макарий в разговоре со мной вниз или вверх. «Когда он смотрит вниз – это плохой знак». Он рассказал о себе, что был зажиточным мужиком. «Но знаете, в миру мужики слишком много ругаются, я этого не терплю. И однажды я все бросил и ушел. Жена и до сих пор не знает, что со мной случилось. Я с ней и не попрощался». – «Вы, значит, не

любили жену?» – «Напротив, мы с ней очень хорошо жили. Но, знаете, там везде ругань. А здесь тишина, и мир, и душе спасенье. Мне так больше нравится».

Вечером в вагоне мы разговорились с одним купцом из Верхотурья. Он спросил, откуда мы и зачем приехали. Я ответила несколько смущенно, что мы приехали из Москвы, чтобы видеть Макария. Я боялась, что это покажется ему какой-то причудой. Но он нисколько не удивился. «Да, Макарий знаменитый человек. В прошлом году сам царь вызывал его в Царское Село. А когда на другое утро царь позвал его к себе и спросил, как он спал ночь? – Макарий ответил: Плохо я спал. – Почему же плохо? – Твои дела лежат у меня на сердце. – Как же обстоят мои дела? – Так, что плохо с тобой. — Царь так был к нему милостив, что подарил нашей монастырской церкви облачение для причта из серебряной парчи и отписал в дар монастырю большое поместье». Через семь лет царь и вся его семья были убиты.

Спустя несколько недель в разговоре с Рудольфом Штейнером я заметила, что вся эта история ему известна. – «Когда Вы спросили монаха, следует ли Вам заниматься живописью...» – «Но я не спрашивала его, следует ли мне заниматься живописью», – возразила я. – «Но вопрос этот жил у Вас в сердце, и, когда он говорил о святой Веронике, он ответил Вам на него из сердца. (Доктор Штейнер нарисовал стрелки, исходящие из одной точки.) Я же отвечаю Вам из космоса. (Он нарисовал стрелки, направленные от периферии к центру.) А Вы стоите между ними и не можете еще соединить оба ответа». И он советовал мне активной работать в медитации.

Филадельфия

На исходе лета, в густых уже сумерках, вы бродите по саду и слышите время от времени, как то там, то сям падает с дерева в траву спелое яблоко. И возникает странное чувство: вы ощущаете исполнение времен. Вы ощущаете действие таинственных законов, по которым нечто во времени зреет и затем в определенный момент и, по-видимому, совершенно внезапно совершается. Когда яблоко падает с ветки, солнечный мир касается Земли, вверяет себя ей.

То же бывает и в жизни людей. Годами в душе что-то зреет, но почему оно в какой-то определенный момент выступает наружу – мы сначала не можем понять. Так и я не могу сказать, почему

именно в этом, 1911 году, прослушав в Карлсруэ цикл «От Иисуса ко Христу», я внезапно и безошибочно поняла, что должна связать свою жизнь с духовной работой Рудольфа Штейнера. Личные желания – как то желание жить в России с близкими по духу людьми – должны были отступить.

Своим местом жительства я выбрала Мюнхен, город художников. Желая усилить художественный элемент в антропософском обществе, Штейнер ежегодно во время летнего съезда устраивал здесь представления «Мистерий». Осуществлялись эти представления благодаря тому полному пониманию, преданности делу и энергии, с которыми Софи Штинде и ее подруга графиня Паулина Калькрейт шли навстречу его начинаниям.

Софи Штинде вела антропософскую работу с величайшей серьезностью. Идея построить здание, могущее дать представлениям «Мистерий» достойное обрамление, возникла сначала тоже здесь. И Рудольф Штейнер часто бывал в Мюнхене для лекций и собраний.

Я столовалась у фрау фон Вакано, которая содержала вегетарианский ресторан под названием «Фруктовая корзинка» и при нем небольшой пансион. Позднее получили широкую известность ее превосходные переводы сочинений Владимира Соловьева, вышедшие под псевдонимом Гарри Келлер. Она воспитывалась в России и была сильной индивидуальностью, способной к большим взлетам и воодушевлению. Но эти свойства у нее соединялись со склонностью к фантастике, и в ее «Фруктовой корзинке» созревали иногда плоды псевдомистического сорта. Я задавала себе вопрос: «Разве Рудольф Штейнер этого не видит? Почему он не вмешивается?» Лишь спустя годы, когда все это дошло до абсурда и было осознано, сказал также и он, как тягостно ему было, например, во всех городах и на всех лекциях оказываться в окружении дам в лиловом. Одевались в лиловое потому, что он однажды сказал, что этот цвет оказывает моральное действие духовного характера. Это, конечно, мелочи. Но и в серьезных вещах Рудольф Штейнер оставлял людям свободу. Закон истинной эзотерики, соответствующий нашей эпохе, гласит: «Учитель не должен влиять на волю ученика. Он дает ему знания, доверяя его высшему существу и водительству судьбы, которая укажет ему истинный путь».

В той же «Фруктовой корзинке» я познакомилась с графом Отто фон Лерхенфельдом. Он жил с семьей в своем родовом поместье Кеферинг и на все антропософские мероприятия приезжал в Мюнхен. Он обладал унаследованным от предков, обаянием истинного аристократа. Он был еще крепко связан с традициями семьи, страстно любил охоту и прекрасно рассказывал шуточные истории.

Главное в нем – и это очень скоро можно было заметить – заключалось не в образе жизни и не в идеях, а в самой судьбе. Судьба принадлежит личности, и судьба Отто фон Лерхенфельда постоянно давала ему возможность в самые решающие минуты не только желать прийти на помощь своему учителю Рудольфу Штейнеру, которому он был целиком предан, но и действительно эту помощь оказывать. Так, для здания, которое первоначально предполагалось построить в Мюнхене, он подарил Обществу большое земельное владение. Он же в 1916 году в Берлине в момент катастрофического положения, в котором очутилась Германия, задал Рудольфу Штейнеру вопрос: «Что же должно произойти? Дальше так не может продолжаться». На это Штейнер пригласил его к себе и две недели ежедневно развивал ему идеи «трехчленности социального организма». «Возражайте мне, – говорил он графу, – надо, чтобы ничего не осталось неясного». Пользуясь своими связями с влиятельными государственными деятелями, Отто фон Лерхенфельд пытался ознакомить их с этими идеями. Но одним было некогда этим заняться, а другие видели несовместимость этих идей с фактически существующим монархическим строем. Они были слишком пристрастны к этому строю и слепы, чтобы принять идеи социального устройства, которых требует наша эпоха и которые могли бы спасти человечество от дальнейших катастроф. Позднее, когда Рудольф Штейнер дал так называемые «био-динамические методы сельского хозяйства», именно Отто фон Лерхенфельд предоставил свои крупные поместья для применения этих методов. Ко всем начинаниям Общества он относился с живейшим интересом и помогал везде, где только мог.

Более близкие дружеские отношения завязались у меня с художницей-француженкой и со скульпторшей из Польши. Первой было тогда уже шестьдесят лет: маленькая худенькая фигурка, короткие черные локоны, полульвиное, полуорлиное лицо. Она носила всегда узкие, наподобие рубашки, платья песочного цвета. На когтистых пальцах сверкали крупные смарагды и топазы, привезенные ею из Индии. Зимой она куталась в широкую и длинную меховую шаль тоже песочного цвета. Во всем она была правдива и неподдельна и шла своим одиноким художественным и эзотерическим путем, большинству людей непонятным. Мне она казалась самой судьбой предназначенной к отшельнической жизни. Двадцатипятилетняя польская художница-скульптор всеми повадками напоминала оруженосца рыцарских времен. Это была душа, целиком преисполненная огненного энтузиазма. Голос ее вибрировал от эмоций. Как и все ее соотечественники, она была страстной патриоткой и позднее, после первой мировой войны, послужила отечеству, будучи членом

Польского сейма и руководительницей антропософского движения. Но она очень рано умерла. Через нее и ее друзей я познакомилась с мистическими учениями Вронского и Мицкевича.

Христиана Моргенштерна мы в России уже знали как превосходного переводчика Ибсена. Его удивительные лучистые глаза поражали меня, когда я раньше встречала его на антропософских собраниях, не зная, кто это. Теперь он уже месяцами жил в санатории члена Общества д-ра Пейперса, но я об этом не знала. Не знала я также, что молодой швейцарец, регулярно посещавший занятия у Софи Штинде, – поэт Альберт Штеффен. Тогда мне запомнился только его Дантовский профиль и необычайно серьезные глаза. Прозрачный покров кротости лежал на его лице, но резкие, будто вырезанные, черты этого лица напоминали о скалах его родины. Только через десять лет я снова встретила его в Дорнахе.

Люди, с которыми я познакомилась весной 1910 года в Москве, принадлежали к кругу, находившемуся под влиянием идей Владимира Соловьева. Сам он умер десять лет назад, но дух его был жив в различных кругах Москвы. Среди этих моих новых друзей были сильны апокалиптические настроения и искание нового Откровения, духовного знания, конкретного эзотерического христианского пути. Интересно, что у некоторых из них мистика Соловьева сочеталась с гётеанизмом. Естествознание, по их мнению, должно было стать христианской наукой, а духовноведение – приобрести точность природоведения. Большинство людей этого круга было разносторонне образованными учеными. Вскоре большая часть из них пришла к антропософии и образовался круг, к которому принадлежали также друзья моей ранней юности; с ними мы когда-то на лыжных прогулках горячо спорили, обсуждая духовные проблемы. Лично для меня этот круг стал как бы родиной на родине, так как появилась возможность настоящего духовного общения. И если, живя в Германии, я продолжала узнавать духовноведческие истины, я узнавала их не только для себя, но могла через письма, записи лекций и книги передавать их друзьям. Также и в личных беседах с Рудольфом Штейнером я нередко выступала посредником между ним и теми или иными лицами в Москве.

Один знакомый, который тогда еще не признавал антропософии, написал мне, что он верит, что «Дева Радужных Ворот» – образ Соловьева, символ России – охранит себя от всего ей чужого – он подразумевал антропософию. Я перевела Штейнеру это письмо. Он, смотря прямо перед собой, – никогда не забуду потрясающей серьезности этого взгляда и звука его голоса, – сказал: «Да охранит эта